ГЕОРГИЙ ШТОРМ

Потаённый Радищев



ГЕОРГИЙ ШТОРМ

Потаённый Радищев

Вторая жизнь „Путешествия из Петербурга в Москву“

СОВЕТСКИЙ ПИСАТЕЛЬ
МОСКВА · 1965

Георгий Шторм, автор широко известных исторических повестей и романов, раскрыл тайну великого русского писателя-революционера А. Н. Радищева, о которой никто не подозревал. В результате многолетних разысканий в архивах Георгий Шторм установил, что А. Н. Радищев, написавший и напечатавший в 1790 году знаменитое «Путешествие из Петербурга в Москву», спустя годы после своего ареста и ссылки продолжил работу над текстом этой уничтоженной и запрещенной книги, расширил и усилил ее революционное содержание и поручил близким ему людям организовать ее тайную переписку в отдаленном монастыре.

Так оказалась опровергнутой легенда о Радищеве, якобы сломленном жестокими преследованиями царизма. Со страниц книги Георгия Шторма встает, созданный на строго документальной основе, живой образ Радищева — отважного борца и опытного конспиратора, сумевшего обмануть своих преследователей и оставившего потомкам новый текст «Путешествия» «во всей его зрелой силе и полноте».

История этого нового текста дана Георгием Штормом на фоне общественного движения разных эпох и повествует о преемственности русских революционных традиций. «Потаённый Радищев» — обстоятельное историко-литературное исследование и одновременно увлекательный роман о предпринятых автором поисках и о людях, с которыми он встречался на этом пути.

Книга представляет большой интерес для самого широкого читателя.

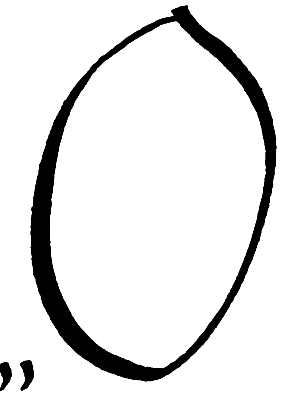
Приношу сердечную признательность сотрудникам государственных архивов и библиотек, помогавшим мне в этой работе.

Автор

Радищев, рабства враг, цензуры избежал.

ПУШКИН





„Ошибочно мнение, будто легендарна только древнейшая история: в новейшей легенд не меньше» — так утверждала редакция «Красного архива», одного из старейших советских исторических журналов, в первой его книге, вышедшей в 1922 году.

Немало легенд, сложившихся в дореволюционное время о нашей истории, общественном движении и литературе, оказалось развеяно русской исследовательской мыслью за последние сорок с лишним лет. Но легенды еще живут. Некоторые из них, утвердившись в литературоведении, подчас закрывают от нас главное в жизни тех отечественных литературных деятелей, которых мы так ценим и чтим, как их никогда не ценили и не чтили в старой России.

Эта работа имеет своей целью покончить с одною из таких легенд.

Суть ее заключается в том, что автор «Путешествия из Петербурга в Москву», первый русский писатель-революционер А. Н. Радищев в

конце героически прожитой им жизни якобы изменил своим убеждениям и, разочаровавшись в революции, стал либералом; такой традиционной точки зрения придерживаются некоторые советские историки и литературоведы, и об этом же усиленно твердят современные исследователи за рубежом.

Посвященное тайной творческой истории «Путешествия» Радищева, это исследование не ограничивается переоценкой уже известного — в основе его лежат новые документальные материалы, добытые автором в результате длительных разысканий и просмотра большого количества архивных дел.

Чем кропотливее, чем шире и глубже труд исследователя, тем больше он дает удовлетворения.

Однажды редактор-издатель «Русского архива» П. И. Бартенев, опубликовавший массу документов, записок и мемуаров XVIII—XIX столетий, рассказал молодому Валерию Брюсову свой давнишний сон: когда Бартенев занимался XVIII веком, приснилась ему как-то императрица Екатерина II; удивленная и разгневанная его публикациями, она, погрозив ему пальцем, спросила: «И откуда ты это мог узнать?!»[1]

Что говорить, сон подобного рода очень лестен для историка и архивиста. Но тот же Бартенев, имевший большие литературные связи, не стремился узнать, а тем более — напечатать что-либо особо «острое» о Радищеве; отнюдь не отличаясь передовыми взглядами, он попросту страстно и без разбора любил отечественную старину. Яркие страницы прошлого даже заставляли его не раз спорить с цензурой. Тем не менее, узнав весной 1872 года, что известный библиофил и библиограф П. А. Ефремов задумал издать «все, какие печатались», сочинения А. Н. Радищева, да еще с добавлением нового текста к оде «Вольность», Бартенев изумился и послал смельчаку письмо.

Оно хранится в Центральном государственном архиве литературы и искусства (ЦГАЛИ), в личном фонде Ефремова.

«...неужели,— спрашивал своего адресата Бартенев,— и оду Радищева вы надеялись провести? Как любопытно, что она написана еще за три года до 21 генваря 1793! (то есть до казни французского короля Людовика XVI.— *Г. Ш.*) Видно, русский человек, как скоро исполнится какою-либо идеею, то развивает ее последовательнее иностранцев и уже не остановится...»[2]

С этой бартеневской мыслью нельзя не связать вопрос, крайне важный, хотя и несколько необычный: известно ли нам, где и когда остановился Радищев как автор «Путешествия из Петербурга в Москву»?

Иначе говоря, можно ли утверждать, что творческая история «Путешествия» закончилась с его изданием? Не имела ли она еще какого-то продолжения?

Для постановки такого вопроса есть основания: среди рукописных копий или списков «Путешествия» известны такие, текст которых значительно дополняет первое издание 1790 года; исследователи отнесли эти дополнения к ранней, допечатной редакции, но доказательств своему утверждению не привели никаких.

А не мог ли Радищев — после ареста и ссылки — вернуться к работе над своей уничтоженной книгой и попытаться ее восстановить и дополнить? «Конечно, нет! — скажут литературоведы. — Во всех трудах, посвященных Радищеву, во всех изданиях его сочинений, в том числе и в академическом, датой завершения авторской работы над «Путешествием» считается 1790-й год».

В этом году Радищев напечатал книгу, ставшую знаменитой. Как известно, он призывал в ней русское крепостное крестьянство расправиться со своими поработителями и «царям грозил плахою»; за это он был арестован, судим и сослан в Сибирь.

Сын богатого помещика, бывший паж, получивший по воле императрицы высшее образование в Лейпцигском университете, Радищев пренебрег служебным положением, благополучием и карьерой, явно не оправдав надежд, которые возлагал на него двор.

Прослужив недолго в Сенате, затем — в годы восстания Пугачева — в штабе Финляндской дивизии и выйдя в 1775 году в отставку, он задумался над основным вопросом тогдашней русской действительности — над бедственным положением закрепощенного народа — и, видимо, обдумывая какой-то план действий, стал замкнут и молчалив.

Секретарь Саксонского посольства в Петербурге Г. Гельбиг, наблюдавший Радищева в 80-х годах XVIII века, когда он уже был советником таможни, рисует его человеком самоуглубленным, сдержанным и скупым на слова.

О замкнутости Радищева, надо думать занятого в эти годы вынашиванием какого-то плана, говорит в интереснейшем неопубликованном письме и А. Р. Воронцов.

Как президент Коммерц-коллегии будучи шефом Радищева по работе его в Петербургской таможне и, кроме того, лицом, весьма к нему расположенным, А. Р. Воронцов в письме к брату Семену, русскому посланнику в Лондоне, с грустью писал:

«...Я не знаю ничего более тяжелого, как потеря друзей, в особенности, когда не распространяешь широко свои связи... Я только что потерял, правда, в гражданском смысле, человека, пользовавшегося уважением двора и обладавшего наилучшими способностями для государственной службы. Его предполагалось назначить вместо г-на Даля*, и на

* А. И. Даль — директор Петербургской таможни.

этом поприще его помощь мне была велика. Это — г-н Радищев; Вы* несколько раз видели его у меня, но я не уверен, что вы хорошо знали друг друга. Кроме того, он исключительно замкнут последние семь или восемь лет (разрядка моя.— *Г. Ш.*). Я не думаю, чтобы его можно было заменить; это очень печально. Не был ли он вовлечен в какую-то организацию? Но что меня, однако, более всего удивило, когда случившееся с ним событие стало широко известно, это то, что я в течение долгого времени считал его умеренным, трезвым и абсолютно ни в чем не заинтересованным, хорошим сыном, отцом и превосходным гражданином... Он только что выпустил книгу под названием «Путешествие из Петербурга в Москву». Это произведение якобы имело тон Мирабо и всех бешеных Франции...»[3].

Из текста приведенной выдержки следует, что замкнутость и сосредоточенность Радищева на какой-то идее овладели им приблизительно в 1783 году. Это был год смерти его жены, Анны Васильевны. Личное горе заставило его замкнуться и в полной отрешенности от всего задуматься над главным вопросом... Очевидно, около этого времени (кстати, именно в этом году было разрешено частным лицам заводить «вольные» типографии) у него зародилась мысль написать и напечатать дерзновенную, вольнолюбивую и человечную книгу; он решил, что в этом должна состоять его жизненная миссия и что он ее выполнит даже при условии, если ценой его подвигу будет жизнь.

Никто, кажется, до сих пор не обратил внимания на строки в конце второй главы «Путешествия». «Отче всеблагий,— неизвестно по какой причине восклицает Путешественник,— неужели отвратишь взоры свои от скончевающего бедственное житие свое мужественно. Тебе, источнику всех благ, приносится сия жертва...» (разрядка моя.— *Г. Ш.*) [4]. Почему о мужественном конце жизни и о какой жертве идет здесь речь?

Путешественника нельзя отождествлять с автором, тем не менее им обоим иногда оказываются свойственны одни и те же биографические черты. В данном случае Радищев, вне всякого сомнения, имел в виду свою книгу и те последствия — вплоть до собственной физической гибели,— которые издание ее могло ему принести...

30 июня 1790 года, по ордеру петербургского «главнокомандующего», то есть генерал-губернатора Брюса, Радищев был арестован и препровожден в Петропавловскую крепость. Поводом для ареста послужила напечатанная им в собственной, домашней типографии книга «Путешествие из Петербурга в Москву».

По словам автора, она была издана в количестве 640 или 650 экзем-

---

* «Вы» — обычная форма обращения друг к другу в переписке братьев Воронцовых.

пляров. Процесс печати длился около полугода и был завершен, скорее всего, в конце мая; в нем приняли участие сослуживцы Радищева по Петербургской таможне и крепостные из саратовского имения его отца.

За какие-нибудь две-три недели о книге заговорили в столице, хотя широкого распространения она получить не успела: Радищев роздал несколько экземпляров знакомым, и, видимо, около семидесяти пяти было продано в книжной лавке Зотова, причем двадцать шесть из них поступило в нее от автора, остальные же принесены его дворовыми людьми.

Экземпляр «Путешествия» не замедлили доставить императрице. 26 июня Екатерина приступила к внимательному изучению книги Радищева, делая к особо острым местам замечания, сообразуясь с которыми его следовало допросить.

Последняя (453-я) страница вызвала ее резонное соображение: «...обещает сочинитель продолжение той книги (разрядка моя.— *Г. Ш.).* Где ето сочинение, начато ли оно и где находится?»

Автор, узнав о предстоящем ему аресте, принял заблаговременно меры: по его распоряжению весь оставшийся дома тираж «Путешествия» был уничтожен — его сжег дворовый человек Радищева Давыд Фролов.

Не привыкший к грубому обращению, душевно мягкий, с тонким, чуть горбоносым лицом и взглядом темных проницательных глаз под удивленно выгнутыми бровями, Радищев был отдан в полную власть обер-секретаря Тайной экспедиции Шешковского, мозглявого старика с женственной головой на тонкой шее и пустыми глазами, одетого в серый, с медными пуговицами сюртук.

Екатерина говорила, что Шешковский «имеет дар с простым народом». Этот дар, очевидно, выражался в том, что он мог ловким ударом полена сразу выбить допрашиваемому все зубы. Когда он умер, его могилу на Лазаревском кладбище в Петербурге украсил скромный памятник с эпитафией: «Служил отечеству 56 лет...»

В Петропавловской крепости между обер-следователем и Радищевым начался поединок, продолжавшийся с июля по начало сентября — два месяца и восемь дней.

24 июля Палата Уголовного суда вынесла автору «Путешествия» приговор: «казнить смертию, а экземпляры книги, сколько их отобрано будет, истребить».

8 августа Сенат утвердил этот приговор, а 19-го Государственный (Непременный) совет утвердил решение Сената.

Только 4 сентября последовал указ о замене Радищеву смертной казни ссылкой в Сибирь, в Илимский острог, на десять лет.

В день объявления ему приговора волосы его стали белыми; сорок три дня провел он в крепости, ожидая казни, и в минуты отчаянья грыз свою серебряную ложку — на ней остались следы зубов...[5]

Закованного в кандалы, его увезли 8 сентября из Петербурга. По ходатайству А. Р. Воронцова, кандалы были сняты с него в Новгороде. 20 декабря он прибыл в Тобольск.

Там он прожил до конца июля 1791 года, пока не пришло приказание — ехать дальше. В январе 1792 года он уже был в Илимске, где провел пять с половиною трудных лет.

Как человек деятельный, он занимался в Илимске многим: сельским хозяйством, краеведением, минералогией, лечил местных жителей — делал им прививки от оспы, писал философский трактат, составлял записку о выгодах торговли с Китаем и предлагал назначить его начальником экспедиции для открытия Северного морского пути.

В феврале 1797 года ему разрешили покинуть Сибирь и поселиться в Малоярославецком уезде, Калужской губернии, в его «сельце» Немцове. Потеряв по дороге вторую жену и друга, мать троих своих детей — Е. В. Рубановскую, физически и душевно измученный, он прибыл в июле 1797 года на место своей второй ссылки, и за ним был учрежден тайный надзор.

Такова канва жизни Радищева с момента его ареста до возвращения из Сибири. Она общеизвестна, но напомнить ее читателю было необходимо, чтобы приступить к тому, что менее известно, а затем — к тому, что неизвестно совсем...

В 1798 году на стр. 11-й июльской книжки гамбургского журнала «Минерва» появилось известие, что Радищев, находясь в Тобольске, якобы «снова приготовил сочинение, подобное первому» и за такой «проступок» был услан еще дальше. Как утверждает историк В. А. Бильбасов, автором этого сообщения был Г. Гельбиг, повторивший его в своей книге «Русские избранники», вышедшей в Тюбингене в 1809 году[6].

Гамбургский слух, повторенный спустя одиннадцать лет Гельбигом, до сих пор не подтвердился и, очевидно, был вызван обещанием Радищева в «Путешествии» — встретиться «на возвратном пути» с читателем. Такова была сила волнующей умы и сердца книги, выношенной в результате длительного раздумья, что она вполне могла породить такой слух.

Сам же Радищев, возвратившись из ссылки, писал своему покровителю А. Р. Воронцову, что ничто прежнее его уже не волнует и что он более всего расположен к созерцанию лесов и полей.

«Что касается моих занятий,— признавался он в письме от 21 сентября 1797 года,— то я читаю мало, не пишу совсем ничего, эта мания уже давно прошла..., я брожу в лесу, но не для того, чтобы размыш-

лять... Я видел, как убирали рожь и яровые, видел сенокос. Я наблюдал, но я запретил себе размышления» [7].

И далее — в письме от 8 марта 1799 года:

«Возвращенный на родину из самых недр Сибири, присмиревший во всех отношениях, я начал толстеть, дни мои проходили похожие один на другой...» [8]

Кроме того, сохранилось показание Радищева на допросе в Петропавловской крепости. Говоря об истреблении им перед арестом тиража своей книги, он признался: «я всю ее велел собрать и все принадлежащие к ней макулатуры, поправки, черные листы сжечь велел» [9].

Значит, казалось бы, у него не осталось ни печатных экземпляров, ни черновиков, необходимых для дополнительной работы над текстом. Таким образом, как будто нет основания думать, что он когда-либо мог этот текст дописать.

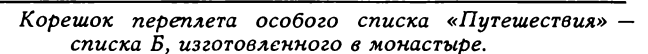
Но, быть может, цитированные выше фразы в письмах к Воронцову отражают временный упадок духа Радищева либо введены им для перлюстраторов, с целью усыпить их бдительность? И не может ли быть, что он обманул следователя и дал ложное показание о сожжении черновиков?..

«Нет! — справедливо возразят сторонники установившихся взглядов.— Предположениями без доказательств никого убедить не удастся».

Традиция исключает всякую возможность доработки Радищевым книги после выхода ее из печати, а тем более после его ареста. Но прервем на этом наш умозрительный диспут и обратим внимание на один замечательный, вполне конкретный предмет.

...Перед нами — рукопись в четвертую долю листа, писанная на голубоватой бумаге отличным почерком конца XVIII века, переплетенная в коричневую кожу с вытисненными на корешке крестами, каждый — из четырех трилистников, упершихся основанием в центр; на обороте форзаца с обычны-





Корешок переплета особого списка «Путешествия» — списка Б, изготовленного в монастыре.

ми для того времени «мраморными» разводами — загадочная, сделанная на иностранном языке запись. Эта рукопись — драгоценная копия «Путешествия», снятая, однако, не с печатного издания и во многом отличная от него.

А вот — та же рукопись, переведенная на микропленку; укрупненные строки заполняют матовый экран диаскопа и медленно ползут снизу вверх; рядом — второй, параллельный аппарат, заряженный другой пленкой — микрофильмом цензурного экземпляра «Путешествия». Пишущий эти строки сличает текст упомянутой рукописи с текстом цензурного экземпляра — того, что побывал в руках самого Шешковского, «домашнего» заплечных дел мастера Екатерины II.

Строка за строкой, слово за словом идет сличение двух рукописей; при этом оба микрофильма сличаются с третьим элементом — с необычного вида фотоснимками; рукописные строки на них, снятые с сильным увеличением, расплылись, и в расплывах проступили едва заметные очертания литер: это — сделанные путем особого фотографирования снимки з а ч е р к н у т ы х м е с т цензурной рукописи, впервые прочитанных в инфракрасных лучах.

Листы рукописных книг, иногда ветхие, рассыпающиеся от прикосновения, как сухие листья; уходящие ввысь стеллажи с запахом духовитой сосны и терпкой двухсотлетней пыли; краски немеркнущих фресок под косыми монастырскими сводами — искусный подвиг безвестных русских мастеров!

О, великая страсть научного следопытства! Мрак и холод архивных хранилищ; непролазный чернозем проселков при поездках в районные центры; упорная, неделями, месяцами, как говорят архивисты, «ловля меченой золотой рыбки в Тихом океане», то есть нужной детали в необъятном документальном просторе; трудный и подчас безрезультатный расспрос людей, не всегда охотно готовых рассказать правду,— все сторицею возместится на перекрестках неожиданных поисковых дорог...

Удалось найти многое. Но есть еще и ненайденное. Назовем хотя бы протограф, то есть писанный рукой автора текст «Путешествия из Петербурга в Москву». Мы ведь знаем только цензурный экземпляр — копию, созданную тремя переписчиками, с отдельными поправками автора. О подлинной же авторской рукописи этой книги решительно ничего не известно. Поэтому обратимся к с п и с к а м «Путешествия» Радищева. Они стали появляться вскоре после его отъезда в сибирскую ссылку и почти все повторяли текст книги, изданной в 1790 году.

В первой четверти XIX века, в особенности перед восстанием декабристов, количество списков «Путешествия» резко увеличилось; встречаются списки и более поздние — 40-х, 50-х и 60-х годов. В настоящее время их насчитывается более семидесяти. Однако списков особого

состава, с текстом, существенно дополняющим издание 1790 года, до сих пор было известно только два.

Разумеется, далеко не все списки являются в историко-литературном отношении равноценными. Наибольший интерес и ценность представляют списки с вариантами и дополнениями к первому изданию, возможно еще скрывающиеся в частных собраниях и в архивах и остающиеся неизученными на протяжении многих лет.

К разряду таких лишь недавно замеченных исследователями рукописных копий «Путешествия» надо отнести список, хранящийся в Центральном государственном архиве литературы и искусства, с текстом гораздо более полным, чем текст, напечатанный при жизни автора[10]; рукопись эта введена в научный оборот Л. И. Кулаковой, обратившейся к ее изучению сравнительно недавно и опубликовавшей результаты своей работы в 1956 году[11].

Между тем в газете «Правда» еще 18 декабря 1939 года, то есть за семнадцать лет до названной публикации, появилась заметка о приобретении этого самого списка Государственным литературным музеем; в заметке сообщалось о большой ценности приобретенной рукописи, намного превосходящей текст первого издания «Путешествия» своей полнотой.

Если бы исследователи тогда же обратили внимание на эти газетные строки и занялись новым списком, они, возможно, узнали бы и его историю, несомненно являющуюся важнейшим звеном в творческой биографии Радищева. Но случилось иначе, и след бывшего владельца рукописи — Георгия Ивановича Сафронова — на некоторое время затерялся в сумятице военных лет.

Так, при попытке разыскать Г. И. Сафронова — по первоначальным сведениям справочного характера — выяснилось, что московский его адрес (Малые Кочки, д. 7, корпус 6, кв. 243), указанный им при продаже рукописи, неверный и что он в этой квартире как будто не проживал. С другой стороны, оказалось, что в этом же самом доме, но в другом корпусе и в другой квартире проживал Юрий Иванович Сафронов, павший в 1942 году на фронте, когда ему было всего восемнадцать лет.

При всей близости имен «Георгий» и «Юрий» неполное совпадение адреса и слишком юный возраст погибшего не позволили отождествить этого юношу с бывшим владельцем списка. Кроме того, было неясно: почему в доме № 7 по улице Малые Кочки, указанном Георгием Ивановичем Сафроновым, вместо него оказался Юрий Иванович Сафронов, который, как затем выяснилось, никаких рукописей музеям не продавал?

Пришлось обратиться к архивам в поисках дополнительных сведений. Спустя недолгое время в одном из них была обнаружена перепис-

ка Г. И. Сафронова с Государственным литературным музеем[12], откуда рукопись попала потом в Литературный архив. По своему почерку, стилю и содержанию найденные письма не оставляли сомнения, что их писал человек вполне зрелый. Однако эти новые материалы, дающие ряд интересных подробностей о приобретении списка Литературным музеем, не только не помогли уточнить адрес Сафронова, но, пожалуй, еще больше запутали его след...

К этой загадке еще придется вернуться, ибо она тесно связана с историей рукописи, имеющей кресты на корешке переплета и таинственную запись на обороте форзаца.

Список «Путешествия из Петербурга в Москву», к которому мы наконец подошли вплотную,— «родной брат» списка, проданного Литературному музею Г. И. Сафроновым, но, в отличие от музейного, сохранивший некоторые весьма интригующие элементы своей «родословной»; ее отдельные звенья будят столько вопросов, что обязывают нас эту «родословную» углубить.

Такого необходимого углубления никем еще произведено не было. Между тем история этого списка скрывает в себе величайшую тайну русской литературной и общественной жизни конца XVIII века и позволяет прочесть самую сокровенную и едва ли не самую значительную страницу жизни Радищева, о которой до сих пор никто ничего не знал.

Но тут, естественно, возникнут вопросы. Если мимо этой тайны прошли решительно все историки литературы, то чем же такое явление объяснить? Как могло случиться, что целый радищевский мир оставался в течение почти ста семидесяти лет неизвестным, и почему его удалось обнаружить сейчас?..

Попытаемся на эти вопросы ответить.

Во-первых, автор данной работы не принял на веру выводы своих предшественников и решил заново исследовать послуживший для этих выводов материал.

Во-вторых, он приступил к разысканию, опираясь на известное положение Энгельса, что отсутствие материала, готового «*в чистом виде* для закона», не должно останавливать самый процесс исследования, иначе закон никогда не будет открыт[13]. Исходя из этого положения, автор на документальной основе строил гипотезу, гипотеза же приводила к новой документальной основе; в результате поиск расширялся и углублялся, что можно сравнить со ступенчатым построением современных ракет.

В-третьих, архивные богатства России — в значительной своей части — приведены лишь теперь в надлежащий порядок. Исследователь же, работавший в дореволюционных архивах, попросту не мог разыскать многого.

Кроме того, сыграла огромную роль возможность использовать самые разнообразные документы, предоставленная теперь каждому широкая доступность архивов в настоящее время, о чем еще несколько лет назад нельзя было и мечтать.

Именно эти благотворные условия позволили автору так усложнить и заострить свое разыскание о Радищеве, что внезапно оказалось возможным и даже необходимым связать это имя с именем Грибоедова, и притом — с самой неожиданной стороны.

Автор бессмертной комедии упомянут здесь не напрасно: Грибоедов займет свое место в этой работе, и оно окажется далеко не последним. Вот почему будет как нельзя более кстати частично процитировать, а частично пересказать один документ.

В статье Н. В. Шаломытова «Два утра у Щепкина», помещенной в «Ежегоднике императорских театров» (СПБ), сезон 1907—1908 годов, вып. XVIII, на стр. 179 напечатано письмо Д. А. Смирнова, близкого родственника А. С. Грибоедова, собиравшего материалы для его биографии более двадцати пяти лет. Письмо Д. А. Смирнова от 4 апреля 1857 года было адресовано хранителю Отдела рукописей Публичной библиотеки А. Ф. Бычкову и начиналось так:

«У меня есть одно, хоть и небольшое, сочинение, содержание которого я не только не могу и не намерен объявить моим современникам, но и даже слишком близким после меня нисходящим линиям. Одним словом, я желаю, чтобы это сочинение было не только постумным*, но и подспудным...»

Далее Смирнов запрашивал: можно ли внести в Публичную библиотеку рукописное сочинение в наглухо заклеенном и запечатанном конверте; «останется ли оно совершенно неприкосновенным, полной тайной, никем ни вскроется, ни узнается, ни прочтется»; какое требуется заявление, сколько нужно платить за это и выдает ли Библиотека квитанцию, по которой автор или его наследники могли бы востребовать сданный на хранение манускрипт?..

Д. А. Смирнов значительную часть своей жизни занимался биографией Грибоедова — собирал для нее материалы. «Подспудный» характер упомянутого в его письме сочинения, скорее всего, указывал на желание автора дополнить чем-то особенно важным именно этот свой труд. По всему также видно, что Смирнов скрывал это сочинение в первую очередь от своих родственников — современников и потомков. И хотя по его запросу можно было легко заподозрить, что он владеет какою-то важною фамильною тайною, директор Публичной библиотеки М. А. Корф наложил следующую резолюцию на это письмо:

---

* Посмертным.

«Императорская Публичная библиотека принимает и хранит книги и рукописи только в видах общей пользы, т. е. общего употребления и с полным на них правом собственности; подобное же условное хранение рукописи неизвестного содержания не входит ни в ее обязанности, ни в ее права и во всяком случае представляло бы никогда не встречавшийся пример такого действия, на которое она могла быть уполномочена лишь особым высочайшим разрешением, исходатайствованным самим просителем» [14].

Но проситель, видимо, не пожелал обратиться к царю.

Спустя девять лет Смирнов умер в своем родовом имении Сущеве, под Владимиром, а имение это вскоре затем сгорело со всеми находившимися в помещичьем доме бумагами.

Есть основание полагать, что тайна «запечатанного конверта» была грибоедовской тайной, и можно надеяться, что она в некоторой существенной своей части, и притом касающейся Радищева, будет раскрыта на страницах этого труда.



1

„Радищев... *едет по большой дороге*, — писал об авторе «Путешествия» Герцен, издавая в 1858 году в Лондоне его книгу, — он сочувствует страданиям масс...»[1]

На большой дороге русской литературы, указующей путь к избавлению от этих страданий, Радищев в России был первым. Но оценка Герцена, данная этому произведению, была бы, наверное, еще более высокой, если бы он знал, что за два года до этого одному русскому книжнику удалось приобрести список «Путешествия», текст которого по силе своего революционного звучания намного превосходил первопечатный текст.

Пять глав в этом списке имели важные дополнения; ода «Вольность» была представлена в новой, пространной, редакции; кроме того, текст включал в себя неизвестную ранее поэму «Творение мира». Объем

дополнений был значительным. Достаточно сказать, что одна только «Вольность» оказалась больше печатной оды 1790 года почти на 270 строк.

В 1860 году сын Радищева, Павел, послал Герцену в письме этот полный текст «Вольности» и получил от него какой-то ответ, который до нас не дошел[2]. Павел Радищев, видимо, не посвятил своего корреспондента в историю этого текста оды, то есть не связал его с новооткрытым списком, значение которого, скорее всего, было неясно ему самому.

Более семидесяти лет пролежал этот список под спудом и до настоящего времени еще не издан, хотя отдельные его элементы, выхваченные из разных глав в качестве «разночтений», публиковались не раз. Но ни время, ни обстоятельства создания этого текста, ни место его в творческой истории «Путешествия» до сих пор не установлены, а состав данной рукописи далеко еще не изучен; поэтому не будет большим преувеличением сказать, что список этот в строго научном смысле еще «не вполне открыт»...

Перед нами опять та самая рукопись с крестами на корешке переплета и загадочной записью на белой, оборотной стороне форзаца. На первом месте рукописи, в левом верхнем его углу, чернилами помечено: «1846 года»; в правом углу теми же чернилами: «№ 85»*.

Пора назвать и архивный «адрес» этого списка: Институт русской литературы (ИРЛИ) (Пушкинский Дом), архив М. Н. Лонгинова, шифр: 23470/CLVIII, б. 21; в научном обиходе он именуется «лонгиновским» или же списком Б**).

Известно, что этот рукописный экземпляр «Путешествия» находился в библиотеке московского богача П. В. Голубкова, очевидно, по смерти его был «куплен оттуда» книгопродавцем Зайцевским и 9 февраля 1856 года перепродан им историку литературы, библиографу и собирателю книг М. Н. Лонгинову. Его дочь, унаследовавшая его архив и библиотеку, принесла их в дар Пушкинскому Дому в 1916 году.

Рукопись «Путешествия», попавшая таким путем в одно из государственных хранилищ и существующая под указанным выше шифром, является поистине драгоценной. Она представляет не меньший интерес, чем самый оригинал данного варианта книги Радищева, хотя бы уже потому, что раскрывает нам историю этого оригинала. Но займемся прежде всего упомянутой записью, чтобы показать читателю всю важность загадки, мимо которой почему-то прошли историки литературы.

---

* Очевидно, инвентарный номер этого списка в рукописном собрании его владельца.

** В отличие от цензурного экземпляра «Путешествия», обычно обозначаемого литерой А; список ЦГАЛИ, введенный в научный оборот Л. И. Кулаковой, известен под литерой В.

пентру Мона Меу ... в. 38р.

Ачѣста Кєрту дарувєшти ла
мине прєбуна приєте.
фата Ко Конича Анкуца. 1800 ань

Ши бунъ приєтель тата паре
нтіи, отат. Киприянъ Лабисери
кули Серовскій Монастырь
Хеѕиодоръ. Ачаста Керта со
купъ пентру мине.

Гуд озо офр. ичла. телемакида

Запись на румынском языке, сделанная на обороте форзаца списка Б.

Так, серьезный исследователь «Путешествия» В. П. Семенников поступил с этой записью просто: объявив ее «по содержанию своему не представляющей интереса»[3], он даже не счел нужным ее привести.

Я. Л. Барсков, автор изданного в 1935 году капитального труда о «Путешествии» Радищева, опубликовал эти записанные на иностранном языке строки вместе с переводом их на русский язык. «Первая строка не поддается переводу»[4],— сообщил он при этом и, не задавшись ни единым вопросом по тексту переведенной записи, вникать в содержание ее не стал.

Почти так же обошлись с этой записью и в первом томе академического издания сочинений Радищева (М.—Л., 1938, стр. 477), где о ней кратко сказано, что она — «малограмотная». Охотников заниматься ею более не обнаружилось, и путь к исследованию был закрыт.

Но вглядимся в эти несколько строк, попытаемся вдуматься в их смысл и значение и предоставим судить читателю, можно ли назвать их неинтересными, или же здесь ошибка, относящаяся к числу «роковых».

Орешковые чернила выцвели и приобрели рыжеватый оттенок. Клонящиеся вправо строки выведены плохо очиненным гусиным пером, с грубым, небрежным нажимом и, очевидно, наспех. Почерк крупный и твердый, но рука писавшего иногда слишком спешила и делала ненужные интервалы, разрывая на части слова.

Запись сделана на румынском языке, лицом, возможно, молдавского или скорее — русского происхождения, русскими литерами и сильно руссифицирована; во всяком случае, если писавший был молдаванином, он, видимо, долгое время жил вдали от родины и основательно забыл свой родной язык.

Изобразим для наглядности первую строку этой румынской записи в точности так, как она написана:

В. ДР!
ПЕНТРУ МОНА МЕУ..... . . .

Видно, что эта начальная (до сих пор еще не переводившаяся) строка записи представляет замкнутую фразу и носит характер восклицания или обращения, так как после нее стоит восклицательный знак.

Видно также, что лицо, писавшее (или диктовавшее) эту начальную фразу, сперва намеревалось оборвать ее на третьем слове, ибо далее, до конца строки, идет пунктир; затем, очевидно передумав, автор записи или тот, кому диктовал он, приписал чуть выше пунктира еще два слова, но в таком сокращенном виде, что их легко принять за шифр.

Теперь приведем всю запись полностью, причем первую строку дадим уже в расшифрованном виде — так, как она прочитана нами:

ПЕНТРУ МОНА<СТУ> МЕУ В<ЯКУРИЛОР> Д<А>Р!
АИСТА КАРТУ ДАРУЕШТИ ЛА

МИНЕ ПРЕБУНА ПРИ ЕТЕ:
ФАТА КО КОНИЦА АНКУЦА, 1800-го
АНЬ
ШИ БУНЪ ПРІЕТЕЛЬ, ТАТА ПАРЕ
НТІИ, ТАТ. КИПРІЯНЪ ЛА БИСЕРИ
КУЛУИ САРОВСКІИ МОНАСТЫРЬ
ХАЗНОДАРЬ. АЧАСТА КАРТА СОФО
КУТЪ ПЕНТРУ МИНЕ.

Перевод:

«Уединенного жития моего ради для будущих веков дар!

Эту книгу дарит мне добрейшая приятельница, благородная госпожа девица Аннушка, в 1800 году, и добрый приятель, отец наставник, отец Киприан, братства Саровского монастыря казначей. Эта книга изготовлена для меня»*.

Запись делится на две части и, вернее всего, сделана в два приема: похоже, что сначала в ней упоминалась только девица Аннушка, после чего была проставлена дата; по прошествии же какого-то, быть может, и очень малого, времени тем же почерком и теми же чернилами был дописан текст с упоминанием о Киприане, казначее монастыря.

Тем же почерком в нижней половине листа по-русски приписано: «Чуд озо огр. игла. Телемахида»,— то есть дан в сокращенном и сильно искаженном виде известный стих Тредиаковского: «Чудище обло, озорно, огромно, стозевно и лаяй»,— взятый Радищевым в качестве эпиграфа к «Путешествию» и напечатанный в книге издания 1790 года, на ее выходном листе.

Эпиграф этот был приписан здесь либо по памяти, либо под чью-то диктовку, так как писавший, видимо, не понимал того, что записывал, и вместо слов «и лаяй» (и ругающееся**) написал бессмысленное «игла».

---

* Слова́ «для будущих веков» в первой строке записи являются переводом румынского «veac» или «veacurilor» («вякурилор»), очевидно скрытого под аббревиатурой (сокращением) «В.»; под этим же сокращением может скрываться и другое слово: «velit» («велит») = великий, а под аббревиатурой «ДР.» — слово «dar» («дар»). Оба словосочетания одинаково хорошо укладываются по смыслу в данный контекст. Однако «вякурилор» + «дар» явно предпочтительнее, как более соответствующее всей записи в целом, а также духу и значению «Путешествия» Радищева. В румынской письменности конца XVIII века известен целый ряд сокращений, но очень возможно, что в данном случае они относятся к числу произвольных, так как писавший пользовался языком, который он плохо знал.

Подробнее о первой строке румынской записи см. примечание 5-е к этой главе в конце книги.

** Эпитет «чудища».

Такова возбудившая наш интерес запись. Зададим же себе ряд вопросов, которые должны неизбежно возникнуть при мало-мальски внимательном чтении этих десяти строк.

Прежде всего поражает первая строка записи, если только она верно расшифрована нами: кто же этот неизвестный, так прозорливо оценивший в 1800 году значение «Путешествия», кто он, рискнувший в страшные годы павловского террора сберечь тайную книгу, как дар для будущих веков?..

Был ли этот человек монахом или мирянином, решить трудно. Ведь заимствованное из греческого румынское слово monastu означает и «монашество» и «отшельничество», но главным образом «одиночество», «мирское уединенное житие» [5].

Как видно из последней строки записи, эта рукопись, существенно дополняющая издание 1790 года, была специально переписана для неизвестного лица. Следовательно, ее списывали с какого-то подлинника, отличавшегося от печатного текста важнейшими дополнениями. Кто же такая эта румынская или молдавская «благородная госпожа девица Аннушка»? Какое отношение имела она к Румынии или Молдавии? Почему она владела и распоряжалась драгоценным подлинником? И как он к ней попал?

За этими вопросами возникает другой: почему изготовленную для неизвестного лица рукопись дарит ему совместно с «благородной госпожой девицей Аннушкой» монастырский казначей Киприан? Очевидно, казначей организовал в монастыре переписку рукописи. Но статочное ли это дело, чтобы монастырские казначеи поручали кому-либо из братии переписывать запрещенный, а местами прямо-таки богохульный текст:

...Власть царска веру охраняет,
Власть царску вера утверждает, —
Союзно общество гнетут...

Странно, крайне странно видеть эти и подобные им строки в рукописи, переписанной, да еще с таким старанием, в монастыре!..

Мысль снова возвращается к вопросу: кто же автор записи? Из текста ее видно, что казначей Киприан был «добрым приятелем» и одновременно «отцом наставником» неизвестного лица — то ли монаха, то ли какого-то богатого вкладчика, знатного монастырского гостя. Но монах вряд ли бы назвал «добрым приятелем» своего духовного отца.

Владелец рукописи состоял в приятельских отношениях и с девицей Аннушкой и с казначеем Киприаном. Не книга ли Радищева установила между ними какую-то связь?

Нельзя также сразу решить: сам ли автор записи сделал ее собственноручно или же продиктовал кому-то?

Неясна, кроме того, причина, заставившая писавшего поместить тут же, на оборотной стороне форзаца, эпиграф из Тредиаковского: какая в этом была нужда, если принять во внимание, что тот же эпиграф должен был находиться на заглавном листе книги?

И, наконец, что это за Саровский монастырь, где, видимо, была переписана рукопись, то есть подлинно ли он Саровский? Во всяком случае, в литературе было высказано отрицательное мнение на этот счет...

Таков круг вопросов, вызываемых записью, которую исследователи сочли неинтересной и не нашли нужным изучить.

Это было ошибкой, явным недосмотром ученых, не заметивших по этой причине целый глубинный пласт в биографии Радищева; как увидим дальше, так была упущена возможность собрать несобранное, поставить в связь несоотнесенное, восстановить ряд отсутствующих звеньев в истории русского общественного и литературного развития, подчеркнуть новыми документальными данными его закономерность и драматизм.

Исправим же эту ошибку: ознакомившись с текстом румынской записи, не навлечем на себя упрека, что мы пренебрегли ею и прошли мимо. Да заставит нас она «остановиться», задуматься, «прислушаться».

Так прикладывают ухо к земле, чтобы услышать вдали гул...

2

Находясь еще на подступах к самому разысканию, сделаем большое, но необходимое отступление и уделим прежде всего несколько страниц П. А. Ефремову, упомянутому в начале первой главы.

Пробудившийся в 60-х годах, в связи с обострением крестьянского вопроса в России, интерес к Радищеву вызвал у одних стремление собрать и обнародовать его литературное наследство, у других же — твердое намерение не допускать выхода его сочинений в свет.

30 марта 1868 года было снято запрещение с книги Радищева, но с оговоркою: «чтобы новые издания сего сочинения подлежали общим правилам действующих узаконений о печати»[6]. Иначе говоря, это был по-новому сформулированный запрет.

III Отделение зорко следило за деятельностью издателей и типографов, заблаговременно узнавало об их планах и сплошь и рядом их расстраивало. В его Секретном архиве сохранилось дело 1868 года о высылке из Петербурга владельца типографии Михаила Кукель-Яснопольского, «поборника Герцена и *К°*», за напечатание ряда книг без разрешения цензуры и «за прием заказа на сочинение Радищева «Путешествие из Петербурга в Москву»[7].

Этот факт, до сего времени неизвестный, надо думать, связан с одною из ранних попыток П. А. Ефремова осуществить издание унич-

тоженной в 1790 году книги, необходимость в котором назрела давно. С конца XVIII века, в особенности в преддекабристские и декабристские годы, «Путешествие» широко распространялось в списках. Одновременно такую же подпольную жизнь обрело и «Горе от ума» Грибоедова — текст комедии, включавший места, «не одобренные» цензурой. В 1857 году III Отделение отмечало, что переписанные от руки копии грибоедовской комедии «в бесчисленных экземплярах находятся по рукам»[8].

Несмотря на снятие запрещения с книги Радищева, цензура пресекала все попытки издателей выпустить в свет «Путешествие». Вступив в эту борьбу, рискуя многим, Петр Александрович Ефремов повел ее с редким мужеством и настойчивостью и не прекращал на протяжении сорока лет.

Он родился в 1830 году, в Москве, в доме своей матери, по Савеловскому переулку на Остоженке, нынешней Метростроевской. Об отце его во всех изданиях биографически-справочного характера сообщается, что звали его Александр Павлович, что он читал лекции по географии в Московском университете, был другом Белинского и членом кружка Грановского. Но сведения эти, сами по себе вполне достоверные, относятся совсем к другому лицу.

Ефремов-географ и отец Ефремова-библиографа были однофамильцами[9]. Путанице же немало способствовало то обстоятельство, что в доме Ефремовых по Савеловскому переулку (как это видно из уцелевшей домовой книги 1843 года) некоторое время проживали В. Г. Белинский и его брат Никанор[10].

В действительности, по документам Государственного исторического архива Московской области, отца П. А. Ефремова звали Александр Степанович; был он не географом, а полковником; начал же службу рядовым, так как происходил «из солдатских детей»[11].

В некрологе, посвященном библиографу Ефремову редакцией журнала «Русская старина», сказано, что память его хранила массу литературных знаний и воспоминаний, но многое было унесено им с собой в могилу. Можно думать, что он располагал какими-то сведениями и об интересующей нас рукописи. За это говорит и круг его личных связей и тот район Москвы, где он жил долгие годы,— квадрат улиц и переулков, с которым, как увидим впоследствии, тесно связана история двух особых списков «Путешествия из Петербурга в Москву»...

Против дома Ефремовых, окруженный запущенным садом, стоял большой дворянский дом Мухановых, приходившихся П. А. Муханову-декабристу, а также А. Н. Радищеву дальней родней. Три упиравшихся в Остоженку переулка (ныне — Коробейников, Хилков и Турчаниновский) назывались в начале XIX века — по домовладельцам — Ушаков-

скими. Здесь тоже жили родственники Радищевых *. Есть основания полагать, что в те годы один из принадлежавших Ушаковым домов посещали Грибоедовы: Настасья Федоровна и ее дети Мария и Александр — будущий автор «Горя от ума».

Петр Александрович помнил множество ярких деталей и фактов из быта этого интересного и не вполне еще изученного уголка старой Москвы. Так, он не мог говорить без волнения, вспоминая о соседке Ефремовых — старой княгине Девлет-Кильдеевой, имевшей маленькую, похожую на курятник карету, причем запрягались в нее не лошади, а «пара» людей; эта каретка часто стояла у ближнего Зачатьевского монастыря или у церкви Воскресения на Остоженке, куда приезжала молиться княгиня; возили ее два камердинера, такие же древние, как она сама...

С сохранившегося портрета Ефремова смотрит строгое и вместе с тем доброе лицо человека со спутанными волосами и такою же спутанной, вьющейся, как дымок, бородкою,— лицо не то стряпчего, не то антиквара в долгополом сюртуке и железных очках.

Он и был антикваром-книжником — собирателем рукописей, документов, редких, замечательных книг и гравюр. Огромный запас историко-литературных знаний позволил ему издать под своей редакцией целую библиотеку отечественных писателей; среди них — Фонвизин, Кантемир, Рылеев (Радищев), Лермонтов, Жуковский, Пушкин, Полежаев (издание Радищева приходится взять в скобки, так как Главное управление по делам печати не допустило выхода его в свет).

Многолетняя дружба связывала этого неутомимого труженика с семейством Якушкиных, в особенности с сыном декабриста, Евгением Ивановичем, членом «Земли и воли». Ефремов снабжал Герцена рукописными материалами; то, чего нельзя было напечатать в России, пересылал за границу для опубликования в «Полярной звезде».

Он получал от разных лиц множество писем, содержащих меткие характеристики общественных и литературных деятелей, описания различных событий, эпизоды из прошлого, любопытные бытовые черты.

То сын Радищева, Павел, жаловался ему на горестные свои обстоятельства; то внук декабриста Якушкина, Вячеслав, невзначай упоминал о П. П. Пассеке, члене Северного общества, «который застрелился после 14-го»[12] (слух совершенно неизвестный в литературе о декабристах); то Бартенев, захлебываясь от восторга, сообщал, что Жуковский в своих письмах зовет Пушкина «сверчок моего сердца»[13], и так далее в таком же роде — литературные новости, анекдоты и эпиграммы почти в каждом письме...

Ефремов разыскал на Волковом кладбище в Петербурге затерян-

* См. шестую главу этой работы.

ную могилу Белинского и приложил много усилий для сооружения ему памятника. Организовав для этого сбор средств и возмущаясь их слабым притоком, он гневно писал другу своему, исследователю народной поэзии А. Н. Афанасьеву: «Неужели мы должны довольствоваться памятниками барклаевскими и кутузовскими? У нас свои мощи есть!..» [14]

Ефремов был в дружеских отношениях с сыновьями Н. Г. Чернышевского — Михаилом и Александром [15].

Он передавал в тюрьмы книги для чтения политическим заключенным, хотя сам формально не состоял ни в какой партии. Тем не менее его принадлежность к демократическому лагерю не подлежит сомнению. Его доброе имя неотделимо от истории русской литературы, и приходится лишь удивляться, что во втором издании Большой Советской Энциклопедии этого имени нет.

Между тем некоторые новые архивные документы делают еще более привлекательным образ Ефремова. Как сейчас выясняется, он находился «на периферии» первой «Земли и воли», и его петербургский адрес — «У Семионовского моста, в доме Оржевской»— был конспиративным адресом землевольца В. П. Касаткина, писавшего об этом 13 июня 1861 года Е. И. Якушкину из Москвы в Ярославль [16].

Выясняется также, что Ефремову не очень легко жилось на свете: у него были постоянные стычки с цензурой, неприятности по службе и по линии III Отделения — его не выпускали из поля зрения и, видимо, провоцировали жандармы и шпики.

Одно неопубликованное, написанное им с полной откровенностью, письмо знакомит нас с его душевным состоянием в этот период и рисует Н. А. Некрасова в роли человека, давшего Ефремову спасительный совет.

«...Очень гнусно известие о доносах,— писал Петр Александрович Е. И. Якушкину,— я знаю по себе, п<отому>ч<то> почти два года беспрерывно был под ними, преподносимыми в три ведомства (наше*, цензурное и III). Тогда я едва не повредился рассудком, и, пожалуй, силен сатана etc., если б не покойный Некрасов, выяснивший мне самому мое положение и давший совет, чего держаться. Сильно он меня ободрил...»[17]

3

Среди многочисленных корреспондентов П. А. Ефремова был историк литературы и библиограф М. Н. Лонгинов, служивший в 60-х годах чиновником особых поручений при московском генерал-губернаторе;

---

* В 1878 году, к которому относится это письмо, П. А. Ефремов служил в Государственном банке — был директором петербургских сберегательных касс.

в те годы он любил разглагольствовать о свободе слова и вообще играть в либерализм.

Это был тот самый собиратель книг и рукописей, которому в феврале 1856 года посчастливилось приобрести особый список «Путешествия» Радищева. П. А. Ефремов в то время жил в Петербурге, служа в Департаменте уделов. Знал ли он от Лонгинова об этой его удаче — неизвестно; во всяком случае, в их переписке не содержится по этому поводу ничего.

Отношения двух книголюбов друг к другу были долгое время дружественными. В марте 1864 года Лонгинов по случаю перепечатки Ефремовым новиковского сатирического журнала «Живописец» писал ему из Москвы:

«...Здесь ходит слух, что вам разрешили напечатать «Живописца» в числе не более 300 экземпляров. Изумительный успех для почти векового промежутка со времени первого его появления. Во всяком случае, такая мудрая осторожность напоминает распоряжение того чиновника, который, чтобы решить спор двух других о том: ставить или нет какую-то запятую,— сказал: «поставьте маленькую»[18].

В следующем своем письме, касаясь цензурных затруднений Ефремова при перепечатке другого новиковского журнала —«Трутня», Лонгинов желал редактору-издателю успеха в его борьбе с «эвнухами печати»[19].

Это не помешало, однако, либералу-чиновнику позднее самому превратиться в «эвнуха печати» и стать прямым виновником уничтожения двухтомного собрания сочинений Радищева, изданного в 1872 году.

Сам Ефремов объяснял этот поступок Лонгинова личной к нему враждою, но не говорил, когда и на какой почве эта вражда возникла. Отношения между ними в конце 60-х годов действительно испортились, и причина тому, скорее всего, коренилась в одном эпизоде, связанном с замечательной «лонгиновской» рукописью «Путешествия»— списком Б...

Осенью 1859 года в Петербурге, «на Гончарной улице, в доме Безверхова», появился плохо одетый, но с безупречными манерами, тучный, страдающий слоновой болезнью старик. Это был приехавший из Таганрога хлопотать об издании сочинений своего отца сын А. Н. Радищева, Павел. Ему шел семьдесят седьмой год.

В Таганроге, где он давал уроки французского языка в домах богатых греков-негоциантов, ему пришлось оставить своего больного сына. Один из таганрогских греков — Н. Д. Алфераки — писал весной того же 1859 года откупщику-миллионеру В. А. Кокореву в Москву:

«...отыскал г. Павла Александровича Радищева, и оказалось, что несчастный старик живет в крайне бедственном положении. Я ему выдал 50 р<ублей> сер<ебром>. Он не верил своему счастию и внезапному богатству. При нем находится несчастный сын, одержимый ипо-

хондрией; ему 35-ть лет, а он с трудом узнает отца своего. Оба молчат по целым дням, не имея иногда хлеба насущного...»[20]

По приведенной выдержке из письма Алфераки можно видеть, как остро нуждался в эти годы Павел Радищев и как тяжелы были для него столичные хлопоты, еще больше усугублявшие его нужду.

Его украинские друзья — нумизмат и собиратель фольклора А. А. Корсун, поэт Н. Ф. Щербина и писатель Г. П. Данилевский — принимали в его делах живое участие и всемерно старались облегчить ему жизнь. Так, Щербина писал в июле 1858 года Корсуну, что намерен просить графиню Толстую* дать «домашний спектакль в Академии художеств в пользу П. А. Радищева», вспоминая при этом, что в предыдущем году Толстая собрала таким же образом в пользу Шевченко 500 рублей серебром...[21]

В Петербурге Павел Радищев пробыл до осени 1861 года, часто съезжая с квартиры на квартиру, ища, где дешевле, и живя в долг.

Обратившись к царю с просьбой снять запрет с сочинений Радищева, он не получил разрешения, что было вполне в порядке вещей: с 1848 года в России свирепствовала цензура, доходившая до нелепостей и курьезов,— так, один особенно осторожный цензор вычеркнул из корректуры «Карманной поваренной книги» Авдеевой выражение «вольный дух».

Между тем еще в самом конце 1859 или в начале 1860 года Павел Радищев написал письмо Герцену, предлагая ему напечатать за границей полный текст оды «Вольность», и приложил список ее к письму[22].

Можно безошибочно указать источник, откуда Павел Радищев раздобыл этот список: он скопировал оду с рукописи «Путешествия», приобретенной за три года до того М. Н. Лонгиновым; как известно, Павел Александрович получил от него на время эту рукопись. Их связанная с этим встреча должна была произойти не позже лета 1859 года, когда П. А. Радищев был в Москве проездом, по дороге в Петербург.

Заслуживает внимания, что примерно в это же время Павел Александрович послал Герцену письмо с предложением напечатать за границей полную оду «Вольность» в составе 54 строф.

Слишком многое говорит за то, что он сделал это *после* свидания с Лонгиновым, то есть после того, как получил от него во временное пользование список «Путешествия»; во всяком случае, *до этого* он никому таких предложений не делал и, видимо, только сняв копию с оды, стал продвигать ее в печать.

Помимо нового текста оды «Вольность», у П. А. Радищева была

---

* А. И. *Толстая* — супруга скульптора и гравера Ф. П. Толстого, обучавшегося вместе с П. А. Радищевым в Морском корпусе.

еще одна новинка, которую он стремился опубликовать. Написав биографию своего отца и напечатав ее в 1858 году в декабрьской книжке «Русского вестника», он затем дополнил ее «многими подробностями» и осенью 1860 года предложил редакции «Современника» этот новый вариант.

Его рассматривал Н. Г. Чернышевский, но, естественно, не нашел возможным напечатать, так как биографию эту, хотя и не в таком полном виде, уже опубликовал незадолго до того другой журнал.

Неудача преследовала Павла Александровича. Его повторное обращение к царю также не увенчалось успехом, причем отказ был вручен просителю 11 февраля 1861 года — за неделю до так называемого «освобождения крестьян».

Летом того же года он послал второе письмо Герцену. Сообщая о запрещении издания сочинений Радищева в России, он предлагал выпустить их в свет за границей, с прибавлением пространной его биографии, «двух статей, ему приписываемых, из «Живописца» Новикова и полной оды «Вольность»; в этом же письме он откликался на (не дошедшее до нас) предложение Герцена перевести на французский язык «Путешествие», исходившее, как можно предполагать, судя по тексту радищевского письма, от Александра Дюма [23].

Послание Павла Радищева Герцену заканчивалось многозначительной фразой: «Прощайте. Желаю вам всякого благополучия и успеха в просвещении России вашими изданиями, которые, хотя и косвенно, но проникают к нам и находятся в руках у всех»[24].

Затем сведения о П. А. Радищеве прерываются на целые четыре года.

По документам, сохранившимся в личном архиве П. А. Ефремова и в архиве Московского общества истории и древностей российских, выясняются подробности пребывания сына писателя в 1865 и 1866 годах в Петербурге и в Москве.

Уцелевший среди ефремовской переписки клочок оберточной бумаги с записанным на нем адресом красноречивее многих страниц рисует положение Павла Радищева в 1865 году.

«В Малой Садовой,— таков был в это время его петербургский адрес,— в доме Арменинова, № 4, в квартире сапожника Краузе»[25].

Павел Александрович снова жил в Петербурге, видимо снимая у сапожника угол и хлопоча по своим прежним делам.

Мысль издать сочинения отца и напечатать дополненную новыми сведениями его биографию не давала Павлу Радищеву покоя. Он вступил в переписку с Московским обществом истории и древностей и даже ездил для этой цели в Москву, но успеха почти не имел [26].

А цензура усиливалась. Время становилось все более тревожным. Уже был арестован и сослан в Сибирь Чернышевский. Ходили слухи

о каком-то тайном обществе поджигателей. Следы недавних пожаров обезображивали Петербург.

Но Павел Александрович с неутомимой энергией продолжал свою благородную деятельность, тратя последние скудные средства и входя в долги.

Среди ефремовских бумаг имеется его расписка:

«1865 года, ноября 17-го, занял я у г<осподина>Петра Александровича денег двадцать пять рублей серебром на непродолжительное время. Коллежский ассесор Радищев».

Карандашом, рукою Ефремова, приписано:

«30 ноября еще 5 р.»

И добавлено:

«Конечно, дано безвозвратно»[27].

Несмотря на эту приписку, Ефремов некоторое время спустя, очевидно, напомнил Павлу Александровичу о его долге, ибо тот в феврале 1866 года написал своему кредитору следующее трогательное письмо:

«Милостивый государь
Петр Александрович!

Как я могу забыть, что я вам должен тридцать рублей. Занимая у вас, я полагал, что это на несколько дней, потому что вы мне нашли издателя *Путешествия*, с которым почти и кончили; но почему вы переменили намерение, мне неизвестно. Я сам очень нуждаюсь, но как скоро мне можно будет, будьте уверены, что я нисколько не замедлю вам заплатить. Я возвратился только на днях из Москвы, где пробыл более недели, но безуспешно и не нашел, как я надеялся, желающих приобресть или издать сочинения Радищева, а только условился с Обществом древностей и истории российской об издании Биографии Радищева, за что должен получить 300 экземпляров той же Биографии в апреле или мае месяце. Не знаете ли вы желающего вместо 300 экземпляров заплатить столько же серебряных рублей? В таком случае я вас прошу меня уведомить, а я Обществу откажу»[28].

Письмо это было написано П. А. Радищевым за три месяца до смерти, последовавшей, как сейчас удалось установить, 12 или 13 мая 1866 года в Петербурге. В Государственном историческом архиве Ленинградской области хранится «Книга для записывания прихода денег по Волковскому православному кладбищу на 1866 год». На обороте 166-го листа этой книги имеется запись за 15 мая: «Павел Александрович Радищев; коллежский ассесор; коп<ка> <могилы> пятьдесят коп<еек>, место один рубль»[29].

До сих пор ошибочно думали, что П. А. Радищев умер в Таганроге[30]. Между тем установление точного места смерти П. А. Радищева

имело значение для поисков его личного архива, о судьбе которого будет рассказано в следующей главе...

Известно, что П. А. Ефремов получил от Павла Радищева пространный текст оды «Вольность» и полноправно распоряжался им до конца своих дней. В 1872 году он пытался его напечатать в редактируемых им «Сочинениях» Радищева, а после истребления этого издания — в журнале «Русская старина». В уцелевших корректурных листах уничтоженного двухтомника[31] отражен именно этот пространный вариант. В 1897 году Ефремов представил его С. А. Венгерову для опубликования в «Русской поэзии XVIII века», но текст этот был издан с большими купюрами. И, наконец, С. Н. Тройницкий, получив от Ефремова полный список оды, впервые напечатал его в типографии «Сириус» в 1906 году.

Нет сомнения, что этот текст «Вольности» был скопирован Павлом Радищевым с «лонгиновской» рукописи и затем передан им Ефремову. Двенадцать поправок карандашом в списке «Путешествия», принадлежавшем Лонгинову, оказались целиком перенесенными в список оды, полученный Ефремовым от П. А. Радищева. Из этого списка они перешли в уничтоженное по напечатании издание 1872 года, а также в текст «Вольности», изданный в 1906 году Тройницким; в обоих случаях в текст оды было внесено несколько вариантов из книги, изданной в 1790 году.

Полный текст «Вольности» этого происхождения сохранился в корректурных листах «Сочинений» Радищева (ЦГАЛИ) и в единственно уцелевшем «ефремовском» экземпляре этого издания, хранящемся в личной библиотеке Н. П. Смирнова-Сокольского в Москве.

Вряд ли будет большой натяжкой догадка, что между долгом Ефремову П. А. Радищева и предоставлением им своему кредитору полного текста «Вольности» существует какая-то связь. Скорее всего, Павел Александрович, не имея иной возможности возвратить долг Ефремову, рассчитался с ним списком оды, не спросив, разумеется, разрешения у Лонгинова; последний же, став начальником Главного управления по делам печати, жестоко за это отомстил...

Но знал ли Ефремов историю этого полного текста «Вольности» и всей «лонгиновской» рукописи в целом? Быть может, ему кое-что было известно, и он держал в своих руках какую-то нить тайны, возможно — неведомую даже Павлу Радищеву. Но очень важная нить осталась у прежнего владельца списка — П. В. Голубкова. А его уже не было в живых.

4

Он вырос в бедности, в семье человека «самого скромного звания» — провел безрадостное детство: босиком, в «двугривенном» затрапезном халате, бродил по городу и учился по грошовому календарю;

с малых лет пристрастившись к чтению, проводил ночи без сна в холодных покоях губернской библиотеки; службу начал писцом; управлял чужими имениями; дрался в двенадцатом году с французами; плавал по Каспийскому морю, содержал питейные откупа и открывал золото в Саянских горах.

Так рассказывает этнограф П. И. Небольсин, автор ряда статей в «Москвитянине» и «Отечественных записках», а также известных «Очерков торговли России с Средней Азией», о необыкновенной жизни богача и мецената Платона Васильевича Голубкова, уроженца города Костромы.

Перед нами — история одного богатства, любопытная биография представителя крупной русской буржуазии, выдающегося прожектера и стяжателя 40-х и 50-х годов.

От кого же Голубков получил (или у кого приобрел) драгоценную рукопись? Без ответа на этот вопрос было невозможно двинуться дальше. Надлежало проследить весь жизненный путь этого человека и выяснить, не встречался ли он с людьми, имевшими хоть какое-нибудь отношение к Радищеву или проявлявшими интерес к «Путешествию из Петербурга в Москву».

Так, например, оказалось, что в начале XIX века Голубков управлял имениями костромского губернатора, генерал-майора И. Ф. Ламба. За сведениями об этом лице пришлось обратиться в Центральный государственный военно-исторический архив. Из обнаруженных там документов выяснилось, что И. Ф. Ламб в годы восстания Пугачева был заместителем командующего Финляндской дивизией генерал-аншефа Я. А. Брюса, под начальством которого служил тогда Радищев. Деталь, казалось бы, интересная, но практически она ничего не дала для дальнейшего, поэтому пришлось принять ее за случайное совпадение и продолжить изучение биографии Голубкова в надежде каким-либо другим способом «напасть на след»...

Звезда его стала восходить после 1812 года, когда он, будучи чиновником министерства финансов, был послан в Астрахань расследовать дело о сбыте русскими купцами в Персию медных пятаков. В то время вывоз меди был запрещен; купцы же выгодно обменивали медь на персидские товары. Но центр «пяташной» аферы оказался не в Астрахани, а в Гурьеве. Голубкову пришлось объехать восточное побережье Каспия до самого Балханского залива, у впадения в него реки Теджен. Дерзкая и поистине богатырская мысль зародилась у чиновника министерства финансов. Его пленили гипсовые берега залива, несметные рыбные богатства края и осетровая, похожая на крупный серый жемчуг, икра. Основать здесь факторию на торговом пути в Индию и назвать ее Мысом русской надежды — такова была осенившая Голубкова идея;

впоследствии он неутомимо и с большой изобретательностью ее развивал.

В конце 30-х годов Голубков во главе партии золотоискателей появляется в Сибири и за короткое время делает ряд находок. Золотые прииски, открытые им в системах рек Большой Бирюсы и Подкаменной Тунгуски, положили начало его сказочному богатству. В 40-х годах он — уже миллионер и «вельможа»— поселяется в Москве.

Дом Голубкова в бывшем Богословском переулке на Петровке (ныне улица Москвина, № 6) принадлежал до него вдове известного русского архитектора, строителя Большого театра О. Н. Бове. Дом прекрасно сохранился до настоящего времени. Отсюда, из этого нарядного дома с богатой обработкой фасада, владелец золотых россыпей, затерявшихся где-то в далекой Сибири, управлял ими железной рукой.

В те годы золотопромышленники нанимали рабочих обычно из ссыльных, и на приисках соблюдался суровый режим: на бортах разрезов, где велись разработки, лежали пучки приготовленных розог; казачьи отряды, охранявшие промыслы, готовы были в любую минуту открыть по смутьянам огонь. Тем не менее на приисках Голубкова, а также некоторых других промышленников люди прекратили работу и ушли в тайгу. Вся северная часть Енисейского округа оказалась взволнованной «непослушанием и самовольством рабочих». Эта едва ли не самая первая вспышка массового рабочего движения в русской золотопромышленности произошла в 1842 году. Она была подавлена, беглецы пойманы и наказаны и под дулами ружей принуждены возвратиться к работе. Мало того — владельцы приисков задержали им жалованье: так, Голубков в течение года был должен рабочим около 3 000 рублей[32].

В это же время начинается «замаливание грехов» Голубковым — его широкая благотворительная деятельность в пользу научных обществ, публичных библиотек, сиротских домов и т. д. В середине 40-х годов он приобретает известность как собиратель предметов искусства и меценат.

Его земляк Ф. В. Чижов, в будущем тоже один из богатейших людей в России, писал ему о своем житье из Рима, где изучал итальянскую живопись, живя вместе с Гоголем на Via felice, в доме № 126. Однажды, благодаря Голубкова за помощь, оказанную им русскому художнику Серебрякову, Чижов сообщил: «...вашими средствами будем мы иметь хорошего художника, а их очень у нас немного. Иванов, который, верно, приобретет всеобщую европейскую славу, к несчастью, болен глазами, и дай бог, чтобы он успел на свой век написать две, три картины...»[33]

Таким образом, Голубков стоял в центре финансовой, промышленной и культурной жизни России; он мог легко заинтересоваться редким и ценным списком книги Радищева. Но у кого он эту рукопись получил?..

Известно, что Чижов по возвращении из-за границы был арестован в связи с делом петрашевцев. Это обстоятельство нельзя было упустить из виду; поэтому пришлось на всякий случай заняться Чижовым и обследовать его довольно большой личный архив.

В юношеском дневнике Чижова, хранящемся вместе с другими его бумагами, в Отделе рукописей Государственной библиотеки СССР имени В. И. Ленина, имеется следующая запись, сделанная в 1828 году: «...читал Путешествие из Петербурга в Москву, 1790, сочинение, как пишет Екатерина, могущее потрясти трон, распространяя свободу. Оно не находится в печати, но в рукописях...»[34].

Но и эта деталь, куда более значительная, чем известие о знакомстве Голубкова с генерал-майором Ламбом, также оказалась никуда не ведущим «следом» и не позволила углубить поиск до начала XIX — конца XVIII веков...

Берег Балханского залива как место для фактории Мыс русской надежды навсегда запечатлелся в памяти Голубкова. Со второй половины 40-х годов он приступает к разработке своих грандиозных планов и составляет проект Российско-Азиатского торгового дома для торговли с Индией, Персией, Гератом, Кабулом, Хивой, Бухарой.

«Россия,— писал он,— давно жаждет труда на Востоке»[35]. Царское правительство не склонно было поддерживать эти далеко идущие планы[36]. Но Голубков не сдавался: он писал статьи, проекты, докладные записки, проявляя кипучую, неутомимую деятельность.

Этнограф Небольсин, желая лично увидеть этого полного неиссякаемой энергии человека, посетил его и описал встречу с ним в Москве в начале 50-х годов.

...Лакей в синем фраке, при белом галстуке ввел посетителя в приемную. Бюст Суворова при входе и картины Ван-Дейка на стенах бросились в глаза гостю. За перегородкой с цветными стеклами открылся коридор, ведущий во внутренний покой.

До слуха Небольсина донеслось какое-то мерное постукивание; затем оно превратилось в явственный звук движения колес по паркету. Створки дверей в заставленном книжными шкафами и статуями зале распахнулись, и появился мальчик в ливрее, катящий перед собою кресло с парализованным стариком. На нем были белые, с золотыми лампасами панталоны, голубое шелковое, опушенное соболями полукафтанье и начищенные до зеркального блеска, уютно сшитые сапоги. На груди его, рядом с медалями 1812 года, красовался крест с бантом, на шее — другой, осыпанный алмазами, а на указательном пальце правой руки вспыхивал перстень с огромным бриллиантом. Тучный, дряхлеющий, с белою, поникшею головою, Голубков двигался по своему музейному залу с горьким, тоскливым выражением матово-бледного лица.

Хозяин завязал беседу, предложив гостю осмотреть зал.

Они пустились «в дорогу»: Голубков ехал в кресле, Небольсин шел рядом.

— Вот — Теньер... вот — Рубенс... вот — Грёз, всё — оригиналы...— пояснял Голубков.

Затем он показал походный погребец Мюрата, купленный им у казака на поле брани; барельеф мадонны из мамонтовой кости необыкновенно тонкой работы; редкие книги и рукописи, хранившиеся в библиотечных шкафах.

Очень возможно, что среди них был и список «Путешествия» Радищева...

«И это все?! — с недоумением спросит читатель.— Какой же был смысл так пространно излагать жизненный путь Голубкова, так подробно рисовать его литературный портрет?!»

Автору пришлось пользоваться исключительно описательным материалом биографии Голубкова, так как его личные бумаги исчезли бесследно. Вот почему оказалось так трудно нащупать в этой биографии место, необходимое для дальнейшего разыскания. И когда автор сказал себе, что, пожалуй, все уже исчерпано и прослежено, такое место, как следствие одного поискового хода, нашлось.

У Голубкова были деревни и села в Клинском и Московском уездах. В связи с этим возникло предположение: не могут ли фамилии прежних владельцев этих имений в какой-либо мере прояснить вопрос?..

При просмотре в Московском областном архиве фонда Клинского уездного суда удалось отыскать дело о вводе во владение селом Веденским П. В. Голубкова в августе 1845 года[37]. Вспомним, что в левом верхнем углу первого листа принадлежавшей ему рукописи отмечена дата «1846 года», очевидно проставленная спустя несколько месяцев по оформлении покупки названного села.

Село это было куплено Голубковым у титулярного советника П. Б. Кологривова, с родней которого состоял в близких отношениях А. С. Грибоедов.

И, наконец, укажем, что село Веденское Клинского уезда, как это видно из архивных источников, в конце XVIII века принадлежало Николаю Афанасьевичу Радищеву[38], отцу автора «Путешествия из Петербурга в Москву».



1

А пока Голубковы, Морозовы, Кокоревы и другие такой же необыкновенной судьбы люди сколачивали чужими руками и за чужой счет сказочные свои богатства, в России — в городах и деревнях, среди фабричного люда и крепостного еще крестьянства, среди разночинной интеллигенции и в недрах армии — созревал гнев.

Друг Чернышевского, видный революционный деятель 60-х годов, Н. В. Шелгунов так писал об этом историческом нарастании революционной обстановки:

«...в 1848 году во Франции явилась каррикатура. Себя Франция изобразила в виде бутылки шампанского, из которой вырвало пробку и разнесло и трон, и корону, и закон. Россия изображалась в виде што-

фа, в котором не шевелилась ни одна искорка, а на пробке сидел император. В 60-х годах русский штоф запенился и зашумел»[1].

Герцен, открыв в Лондоне «вольную» типографию, заявил в письме к Александру II, что этот русский печатный станок, «как электрометр, показывает деятельность и напряжение сгнетенной силы»[2].

В России «вольных» типографий не было. Степень «сгнетенной силы» внутри страны отражали события самой внутренней жизни: Бездненское восстание 1861 года, появление первых революционных прокламаций, общее тревожное настроение умов.

Любопытно, что именно в эти годы III Отделение стало испытывать острую нужду в квалифицированных сотрудниках. В Секретном архиве этого учреждения сохранился следующий, заслуживающий внимания, документ.

«Очень сожалеют о тяжкой болезни Булгарина,— доносил своему шефу один из агентов.— Едва ли он встанет по старости лет. В нем русская литература и, особенно, в литературе его genre — Россия — будет иметь невозвратимую потерю, а если и Греч уберется, то вовсе наденем траур, ибо теперь решительно не имеется никого в виду, могущего заменить их!»[3]

Греч «убрался» не скоро — спустя восемь с лишним лет после этого донесения. Булгарин же — как нельзя вовремя, осенью того самого 1859 года, когда Чернышевский ездил в Лондон объясняться с Герценом. Мы не знаем, обсуждался ли ими вопрос о создании в России революционной организации. Во всяком случае, после этой встречи сотрудничество «Колокола» и «Современника» укрепилось. Спустя два года русскими революционерами были заложены основы тайного общества, оформившегося в 1862 году как «Земля и воля», причем в составлении его программы участвовал Н. П. Огарев.

Замечательно, что как раз в эти годы из недр русского революционного подполья вместе с прочей запрещенной рукописной литературой выходят на свет списки «Путешествия» Радищева, и притом особого состава текста, куда более полного, чем изданный в 1790 году.

Так, «лонгиновский» список, истории которого, собственно говоря, и посвящена эта работа, был приобретен М. Н. Лонгиновым в феврале 1856 года; его «родной брат» — список, хранящийся в ЦГАЛИ,— всплыл на поверхность приблизительно в то же время. И, наконец, почти одновременно с двумя названными списками появился в Воронеже до сего времени неизвестный список «Путешествия», обнаруженный автором этой работы в Отделе письменных источников Государственного исторического музея в 1959 году*.

---

* Обо всех этих списках будет сказано подробно в соответствующих главах.

За сто лет до этого в так называемый Татьянин день* в Калуге состоялся «университетский обед». Среди приглашенных был молодой чиновник Николай Александрович Серно-Соловьевич, командированный в Калугу для работы в губернском комитете по крестьянскому делу. Один из «приглашенных» на обед — агент III Отделения—сообщил об этом молодом чиновнике в Петербург:

«...Серно-Соловьевич вмешался в распоряжения и стал неуместно провозглашать тосты за освобождение крестьян с землею, за здоровье почтенных старцев Батенкова и Евгения Оболенского, также присутствовавших на обеде**, и этим вмешательством возмутил участвовавших в обеде студентов Московского университета из местных помещиков и подвергнул Батенкова и Оболенского неприятности видеть, что тост за их здоровье не был принят большинством» [4].

Но конфликт на «университетском обеде» был гораздо острее, чем доноситель мог себе представить: тост за освобожденных декабристов провозгласил молодой человек, в тот момент уже вынашивавший план создания в России революционной организации. Вскоре после этого происшествия в Калуге, в центре Петербурга, на Невском, 24, открылся книжный магазин и при нем — большая публичная библиотека-читальня; во главе этого крупного политико-просветительного предприятия стал автор тоста за декабристов на званом калужском обеде, Н. А. Серно-Соловьевич, годом позже — один из руководителей тайного общества «Земля и воля», член его ЦК.

Книжный магазин с библиотекой-читальней был открыт им вместе с сотрудником «Современника», другом Чернышевского — А. А. Слепцовым. В начале 1863 года Слепцов ездил в Лондон для установления связи с Герценом и Огаревым. Годом раньше он совершил поездку по Волге — для создания там комитетов революционной организации; известно, что Слепцов рассчитывал на служившего тогда в Ярославле Е. И. Якушкина, видимо надеясь с его помощью создать ярославский комитет.

Сын декабриста, Евгений Иванович Якушкин в это время также поддерживал связь с Герценом, снабжая его материалами для «Полярной звезды». Таким же корреспондентом Герцена был в те годы и книголюб-библиограф П. А. Ефремов, в свою очередь состоявший в дружеской переписке с Е. И. Якушкиным [5]. Многочисленные и очень прочные нити тянулись к книжному магазину Серно-Соловьевича от Черны-

---

* Татьянин день (12 января ст. ст.) — в дореволюционной России традиционный праздник студентов Московского университета, открытого 12 января 1755 года, в день именин матери его первого «куратора» И. И. Шувалова — Татьяны.

** Декабристы Г. С. Батенков и Е. П. Оболенский в 1858 году проживали в Калуге (ЦГАЛИ, ф. 1213, оп. 2, ед. хр. 9, л. 17-об,).

шевского и Добролюбова, с одной стороны, от Герцена и Огарева — с другой.

Н. А. Серно-Соловьевич имел широкие планы: принимая для распространения в свой магазин лучшие иностранные журналы и передовую отечественную и переводную литературу, он, кроме того, намеревался сам ее издавать. К числу таких задуманных и уже осуществлявшихся в 1862 году изданий относилась многотомная «Всемирная история» Шлоссера, над переводом которой трудился Чернышевский; предполагалось приступить к печатанию Герцена; Серно-Соловьевич пытался также издать сочинения поэта-революционера М. И. Михайлова, но издание было запрещено [6].

В это же самое время друг Серно-Соловьевича, член «Земли и воли», Александр Александрович Черкесов [7], находясь за границей, пытался организовать объединенное издательство русских и зарубежных революционеров. Очень похоже, что такой же общей пропагандистской базой для тайного русского и зарубежного революционных центров должен был стать основанный землевольцами петербургский книжный магазин.

Черкесов побывал в Англии, Швейцарии, Италии, где виделся с Гарибальди и вручил ему подарок русских женщин — высеченный из мрамора букет роз.

Его апостольская внешность привлекала к нему внимание окружающих. Духом независимости веяло от фигуры этого статного красавца с зачесанными назад, над высоким, выпуклым лбом, волосами, умным, холодным взглядом и картинно отпущенной бородой.

Он был полон сил и жаждал полезной народу деятельности. Возвратившись в Россию уже после ареста и гибели Серно-Соловьевича, Черкесов начал энергичные хлопоты, и ему удалось возродить закрытый магазин.

С этого момента начинается блестящий период истории магазина под фирмой «Черкесов», период настойчивой пропаганды легальными средствами социальных и революционных идей.

Новый владелец книжного магазина и библиотеки-читальни завел такой же магазин с библиотекой-читальней в Москве. Московским магазином заведовал П. Г. Успенский, петербургским — В. Я. Евдокимов. Все трое были единомышленники и друзья.

Черкесов повел книжное дело, преследуя ту же цель, что и Серно-Соловьевич,— снабжая «здоровой книгой» по удешевленной цене студенчество и провинцию. Книги в магазине продавались бедным студентам со скидкой от 20 до 60 процентов. Учащаяся молодежь быстро раскупала их для возникавших в то время народнических кружков.

В книжном потоке, поступавшем в магазин Черкесова для распространения, наибольшим спросом пользовались книги Флеровского

(В. В. Берви) — «Положение рабочего класса в России» и «Азбука социальных наук»; последнюю Черкесов отпускал неимущим покупателям по 20 копеек за экземпляр и даже даром. Обе эти книги были изданы Н. П. Поляковым, о котором сам Флеровский в своих воспоминаниях писал:

«...Наконец нашелся издатель для моей книги «Положение рабочего класса в России». Некто Поляков... живший в кругу людей, оставшихся после Чернышевского и разделявших его воззрения, издавал книги крайнего направления. Он был человеком идеи и печатал исключительно произведения, ценные по своему содержанию, но встречавшие на пути своем большие препятствия...»[8]

Как известно, первый том «Капитала» К. Маркса также был издан Поляковым и поступил в книжный магазин Черкесова в 1872 году.

В этом же году, за ответственностью Полякова и под издательской маркой того же магазина Черкесова, П. А. Ефремов напечатал два тома сочинений Радищева; издание это в свет не вышло и было истреблено.

Но годом раньше Черкесов, благодаря историку и публицисту М. А. Антоновичу, удачно обошел цензуру с Радищевым — с его «Путешествием из Петербурга в Москву». Выпуская последний (восьмой) том «Истории восемнадцатого столетия и девятнадцатого» Ф. К. Шлоссера, Черкесов поместил в этом томе предисловие Антоновича, в котором книге Радищева было уделено одиннадцать страниц. Содержание их заключалось в пересказе и цитатах отдельных, наиболее политически острых мест «Путешествия», причем многое было набрано вразрядку, например, фраза: «Итак, да не ослепимся внешним спокойствием государства». Или: «Может ли то государство, где две трети граждан лишены гражданского звания и частию в законе мертвы, назваться блаженным? Можно ли назвать блаженным гражданское положение крестьянина в России?» и т. п.

Счастливая мысль подать Радищева таким контрабандным способом, скорее всего, принадлежала еще Чернышевскому, переводившему Шлоссера и дружившему с Антоновичем. Видимо, они вдвоем и решили таким остроумным образом использовать одиннадцать вводных страниц. Что идея эта исходила от Чернышевского, подтверждается еще и другим обстоятельством: именно он применил точно такой же прием в 1861 году в сентябрьском и октябрьском номерах «Современника»; Чернышевский поместил в этих номерах журнала статью Шелгунова «Рабочий пролетариат в Англии и Франции»; автор ее, защищая Энгельса от нападок критики, называл его «одним из лучших и благороднейших немцев» и приводил пространные цитаты из работы Энгельса, которые «явились, в сущности, сокращенной публикацией его труда»[9].

Итак, Радищев и его книга не выпадали из поля зрения шестидесятников и семидесятников. Передовая русская общественность в своей борьбе с самодержавием и реакцией выдвигала «Путешествие» как нестареющее оружие в одно время с такими книгами, как «Капитал» и «Азбука социальных наук».

Но печатать в те годы полный текст «Путешествия», явно неприемлемый для цензуры, мог позволить себе только человек решительный и смелый до дерзости. Черкесов же был именно таким.

Вскоре после открытия магазина он женился на дочери декабриста, приятельнице своего друга Н. А. Серно-Соловьевича Вере Васильевне Ивашевой и этим как бы символически закрепил традицию, которую соблюдал его безвременно погибший друг.

Богатый помещик, он тратил свои дворянские, помещичьи деньги на дело свободы в России. Его племянница, О. К. Буланова-Трубникова, говорит в своих воспоминаниях, что он активного участия в революционном движении не принимал [10]. Но это противоречит всей политической биографии Черкесова и, в частности, одному эпизоду, рассказанному самою же Булановой-Трубниковой. Оказывается, Черкесов участвовал в подготовке убийства шефа жандармов Мезенцева революционером-народником С. М. Степняком-Кравчинским, который, совершив террористический акт, благополучно скрылся; для этого в черкесовском имении под Петербургом — Поповке — особым образом тренировали знаменитого в то время вороного рысака Варвара: его учили брать с места «во весь мах»...[11]

Смелость и дерзость, проявленные Черкесовым в деле издания Радищева, были удивительны.

В 1868 году, как уже сообщалось ранее, III Отделение возбудило дело о высылке из Петербурга издателя Кукель-Яснопольского за прием заказа на напечатание «Путешествия из Петербурга в Москву».

Несмотря на это, в 1869 году Черкесов решился напечатать все сочинения находящегося под запретом и лишь условно амнистированного цензурой автора. Это видно из неопубликованного письма П. А. Ефремова к Е. И. Якушкину от 13 октября.

«...В самом скором времени, — писал Ефремов, — не далее 2 — 3 дней, я с магазином Черкесова приступаю к печатанию всех сочинений Радищева...» [12]

22 октября Ефремов объявил об этом в «Санкт-Петербургских ведомостях».

А в ноябре того же года издание сочинений Радищева застопорилось, так как Черкесов был арестован по Нечаевскому делу, в связи с арестом П. Г. Успенского, заведовавшего черкесовским магазином в Москве.

Освобожденный в феврале 1870 года, но оставленный под строгим

домашним арестом, Черкесов в ноябре 1871 года по неизвестной причине подвергся у себя на квартире обыску, который продолжался весь день и ночью — до двух часов[13].

Невзирая на это, Черкесов через своего главноуправляющего Евдокимова продолжал сноситься с Ефремовым по поводу подготовлявшегося издания сочинений Радищева. Типографские работы — набор, верстка и правка — шли в эти месяцы полным ходом. В Центральном государственном архиве литературы и искусства сохранились корректурные листы Радищева, относящиеся как раз к 1870 и 1871 годам...[14]

В конце 70-х годов книжный магазин Черкесова был закрыт, но затем возобновил свою деятельность и продолжал ее вплоть до 1918 года. И, хотя владели им уже другие люди, традиции этого предприятия остались прежними. Недаром фамилия «Черкесов» по-прежнему стояла на фирменных бланках, которыми располагал магазин.

В 90-х годах владельцем магазина сделалась издательница О. Н. Попова. Среди ее изданий был народнический журнал «Новое слово». В начале 1897 года Попова уступила его легальным марксистам[15]. В этом же году в нескольких номерах нового журнала под псевдонимом «К. Т-н» («К. Тулин») В. И. Ленин напечатал две свои статьи*...

Такова история этой легальной пропагандистской базы русских революционеров на протяжении полувека — от первой «Земли и воли» и почти до РСДРП.

«Книги имеют свою судьбу»,— говорит латинская пословица.

Но судьбы книг, рукописей и документов неотделимы от судеб людей, пересекаются с ними.

Это пересечение дает образ эпохи.

Имела свою судьбу и книга Радищева, плывшая по волнам общественного и революционного движения из десятилетия в десятилетие, из века в век.

2

«В комнату вошел мужчина уже пожилых лет, в темного цвета визитке и черных брюках; он был довольно высокого роста, лет 50-ти, с черными с проседью на голове волосами и бородой, ровно подстриженной; лицо его выражало добродушие и с первого взгляда располагало к доверчивости»[16].

Так описывал свое впечатление от внешности книжника, историка литературы и начальника Главного управления по делам печати, Михаила Николаевича Лонгинова другой петербургский книжник — Я. Ф. Бе-

* «По поводу одной газетной заметки» («Новое слово», 1897, № 1) и «К характеристике экономического романтизма» (там же, №№7—10).

резин-Ширяев, явившийся к Лонгинову с визитом и видевший его в первый раз.

Добродушное выражение лица этого государственного чиновника действительно «располагало к доверчивости» и тем самым обманывало многих на протяжении ряда лет.

В 50-х годах, входя в кружок «Современника» и сотрудничая в этом журнале, он сохранял добрые отношения с Панаевым, Некрасовым, Тургеневым, Ефремовым, был известен своим подчеркнуто либеральным образом мыслей и выступал против цензуры как ее непримиримый враг.

В своем показном либерализме он в 1856 году дошел до такого лицемерия и дерзости, что даже упрекнул Л. Н. Толстого в «недостаточном свободомыслии»; за это великий писатель вызвал его на дуэль. Некрасов пытался умиротворяюще воздействовать на Толстого, но безуспешно. Однако ответа на свой вызов Лев Николаевич не получил [17].

Кто знает, чем кончился бы этот поединок, если бы он состоялся... Но трусость Лонгинова сыграла в данном случае благодетельную роль. Сам он очень скоро забыл, что такое «свободомыслие», ибо вовсе таковое утратил. В пореформенные годы, став из либерала откровенным реакционером и быстро шагая по служебной лестнице, Лонгинов занимался историей литературы XVIII века, коллекционировал книги и рукописи и печатал за границей скабрезные свои стишки.

Книжное собирательство и несомненное умение разбираться в дремучих вопросах историко-литературного прошлого создали Лонгинову известность очень осведомленного любителя и знатока книг. П. А. Вяземский, оценивая эти его способности, писал ему: «Вы — не только начальник Главного управления по делам печати живой и нынешней, но и мертвой, вчерашней, третьегоднешней и едва ли не допотопной. Трудолюбивый, неутомимый изыскатель по русской части биографической и библиографической, вы все прочуяли, переведали, пересмотрели, до всего добрались и продолжаете добираться...»[18]

Действительно, Лонгинов «добирался» до всего тайного, заповедного в области книжной и рукописной, на это у него был исключительный «нюх».

Как видно из еще не публиковавшихся его писем, он форменным образом охотился за «Радищевым»— за редчайшими экземплярами изданного в 1790 году «Путешествия» и списками этого произведения, поднявшимися в 60-х годах на поверхность из неведомой глубины.

Но здесь имеются в виду не все вообще списки, появившиеся в эти годы, а только некоторые, особые, существенно дополняющие печатный текст.

Надо думать, что слух о существовании особо интересных списков «Путешествия» не мог не дойти до Лонгинова и он, с помощью постав-

лявшего ему книги посредника — А. А. Зайцевского (имевшего антикварную торговлю в Москве, на Моховой, в доме Университета), выследил и приобрел один из них.

С какой энергией предпринимал он поиски экземпляров первого издания «Путешествия», видно из ненапечатанных писем его к С. А. Соболевскому.

«Увы! — писал он в середине 1854 года.— Путешествие Радищева не нашлось нигде, а привезены его «Сочинения», которые уж у меня есть»[19].

«Был в Воронове*,— сообщал он в следующем, 1855 году.— Радищев — пуф, равно и все старые книги, почт-календари и т. п. Так что не поживился ни одним томом»[20].

Но в 1856 году Лонгинову повезло.

Это было везение куда большее, чем если бы он приобрел «Путешествие» издания 1790 года: в его руки попала драгоценная рукопись, возбуждавшая массу вопросов, и прежде всего основной: когда именно — до издания книги или после — был создан автором этот загадочный текст?

Но нельзя утверждать, что такой вопрос, и притом в качестве основного, обязательно должен был встать перед Лонгиновым. Скорее всего, этого не случилось, и «неутомимый изыскатель» на этот раз не проявил должной проницательности; во всяком случае, заметить в новом списке главное оказалось ему не по плечу.

Однако ряд второстепенных вопросов, вызываемых этой рукописью, не мог не заинтересовать собирателя. Но что-либо ответить на них мог только один человек — сын писателя, Павел Александрович Радищев. И Лонгинов, видимо, с этой целью обратился к нему.

Но ждать ответа пришлось ему долго. Всю вторую половину 1859 года и следующие 1860 и 1861 годы Павел Александрович провел в хлопотах, стремясь напечатать собрание сочинений Радищева — и, прежде всего, пространную оду «Вольность». Герцену он писал:

«Письмо ваше от 17 июля 1860 года я получил...** желательно бы напечатать за границею собрание всех сочинений Радищева... и полную оду «Вольность», пятьдесят четыре строфы, доставленную мною вам в первом письме»[21].

Этот полный текст оды «Вольность» был, конечно, скопирован П. А. Радищевым с «лонгиновского» списка. Получив его от Лонгинова на отзыв, Павел Александрович пользовался им, не спеша дать свое за-

---

* Вороново — село Подольского уезда Московской губернии; в XVIII веке принадлежало Воронцовым, позднее — Ростопчиным.

** Речь идет о не дошедшем до нас письме А. И. Герцена. «Литературное наследство», т. 62, 1955, стр. 504.

ключение, а покинув Петербург, увез список с собою. Лишь спустя почти два с половиной года с момента получения рукописи,— и, похоже, что после напоминания владельца,— П. А. Радищев вернул Лонгинову список и написал ему следующее письмо:

«Милостивый государь

Михаил Николаевич.

Я подал сегодня на почту вашу рукопись, за которую вас премного благодарю. Я в ней нашел песнотворение или маленькую поэму: Сотворение мира*, еще нигде не напечатанную и которая в свое время присоединится к полному изданию всех сочинений автора. Я приехал благополучно 14 октября в деревню, в 50 верстах от Бахмута, а теперь поселился на непременное житье в Таганроге, куда и прошу написать и известить меня о получении вашей рукописи.

С почтением и преданностию
остаюсь ваш покорный слуга
Павел Радищев

Таганрог
ноября 12-го
1861»[22]

Павел Александрович, ограничившись крайне лаконичным отзывом, отметил в тексте нового списка только поэму «Творение мира» как «еще нигде не напечатанную»; о новых же строфах оды «Вольность» и о прозаических дополнениях почему-то умолчал.

Здесь он, по-видимому, слукавил, так как не хотел привлекать внимание Лонгинова к новой редакции «Вольности» и снял с нее копию, надеясь сам ее опубликовать. В дальнейшем, не успев в своем намерении, он предоставил право публикации оды П. А. Ефремову, за что Лонгинов, как «президент цензуры», и отомстил обоим, употребив свою власть...

Естественно было предположить: не осталось ли среди бумаг Павла Радищева каких-либо его заметок, сделанных при просмотре «лонгиновского» списка, которые помогли бы понять происхождение этого текста? Но сперва следовало выяснить, уцелели ли бумаги Павла Александровича, сохранился ли и где находится его личный архив.

В Таганроге бумаг П. А. Радищева не оказалось. Целесообразней всего было поискать их там, где он умер. Как мы уже знаем, это произо-

* То есть «Творение мира».

шло в Петербурге. Но в чьем доме или квартире — вот что требовалось установить.

В связи с этим вопросом пришлось обследовать архив Литературного фонда или Общества для пособия нуждающимся литераторам и ученым, от которого Павел Радищев получал пенсию. Среди протокольных записей Комитета Общества за май 1866 года удалось обнаружить одну, имеющую для нас прямой интерес.

В протоколе заседания от 16 мая отмечено:

«Письмо инспектора Ларинской гимназии г. Григорьева на имя председателя Я. К. Грота от 13 мая, с извещением о кончине пенсионера Общества, П. А. Радищева, сына одного весьма известного писателя XVIII века, и о беспомощном положении его двух дочерей, не имеющих даже на что похоронить отца...»[23]

Как видно из той же протокольной записи, дочери Павла Александровича, когда он тяжело заболел, приехали из-под Таганрога в столицу; в протоколе сказано, что на путевые издержки обратной дороги было постановлено выдать им 100 рублей...

Но почему инспектор Ларинской гимназии В. В. Григорьев извещал Литературный фонд о смерти П. А. Радищева? Какое он имел к нему отношение? Очевидно, Павел Радищев умер у него на квартире. Но квартира у Григорьева была казенная, в доме гимназии, и сдавать комнату или угол он не мог.

Значит, скорее всего, этих людей связывали узы родства или дружбы,— возможно, родственная связь через жену инспектора; к сожалению, из-за уничтожения в 1923 году множества формулярных списков служащих бывшего Департамента просвещения подтвердить это документально не удалось.

Что касается самого Григорьева, то это был популярный в 60-х годах педагог, человек добрый, гуманный, умеренно либеральный, часто находившийся в стесненном положении, будучи обремененным большой семьей *.

Ларинская гимназия, открытая на Васильевском острове на деньги московского купца Ларина, была из всех петербургских гимназий самой передовой. Недаром в 60-х и 70-х годах в ней учились Михаил и Александр Чернышевские[24] — сыновья писателя, а еще ранее — в 40-х и 50-х годах — четыре брата Серно-Соловьевича: Николай, Александр, Владимир и Константин[25].

---

* Следует отметить, что в библиотечных и архивных каталогах этот Василий Васильевич Григорьев (педагог, инспектор петербургской Ларинской гимназии, с 1871 года — директор коллегии Павла Галагана в Киеве) иногда ошибочно отожествляется со своим современником, тоже Василием Васильевичем Григорьевым, известным ориенталистом, занявшим пост начальника Главного управления по делам печати после смерти Лонгинова в 1875 году.

В 1884—1885 годах в Ларинской гимназии числился пансионером какой-то Петр Радищев [26]. Если же к этому прибавить, что родственник и современник автора «Путешествия», Андрей Николаевич Радищев, как увидим дальше, владел на Смоленщине (в Вяземском уезде) сельцом Ларином [27], придется предположить, что у Радищевых с Ларинской гимназией была какая-то неизвестная нам давнишняя связь.

Мы не станем ее выяснять, хотя это и не лишено интереса, не станем прежде всего потому, что, пока мы знакомились с историей Ларинской гимназии и с биографией В. В. Григорьева, личные бумаги Павла Радищева нашлись.

Они оказались среди бумаг его украинского друга — А. А. Корсуна, вошедших в свою очередь в состав большого архива М. Н. Лонгинова, переписку, рукописное собрание и библиотеку которого хранит Пушкинский Дом.

Под шифром 7121/XXXV 6. 105 в архиве Лонгинова числится «дело», содержащее ряд писем Павла Радищева к А. А. Корсуну и Н. Ф. Щербине, черновые материалы к пространной биографии А. Н. Радищева и стихи Павла Александровича на русском и французском языках. К сожалению, среди бумаг П. А. Радищева не обнаружилось ничего, что могло бы пролить свет на происхождение интересующего нас списка; но наличие их в Лонгиновском архиве само по себе представляет интерес. Каждый документ в этом «деле» обработан А. А. Корсуном, то есть снабжен обложкой с пояснительной надписью, сделанной его рукой. Той же рукой надписан пакетик; в нем,— очевидно,— семейная реликвия, доставшаяся Корсуну от наследников П. А. Радищева,— пряди его волос. Они сохранились в виде маленькой плетенки, похожей на плетение игрушечных корзинок из стружки: крест-накрест восемь рядов темно-русых и семь совершенно светлых, с палевым оттенком, прядей, видимо береженных еще с детских лет.

«Волосы П. А. Радищева». Эта неожиданная надпись на пакетике, сложенном из линованой тетрадной бумаги, старческий, прыгающий почерк и горестный тон писем и набросков, трогательно посвященных памяти отца! Так из «мертвого» архивного «дела» встает эпилог глубоко скрытой вражды между П. А. Радищевым и Лонгиновым. И тот факт, что последний, затаив обиду на Павла Александровича, завладел бумагами умершего и даже — физически — частью его самого,— этот факт кажется не случайным: он похож на утверждение над Павлом Радищевым власти Лонгинова, на его жестокое прижизненное и посмертное торжество.

Из переписки А. А. Корсуна видно, что в 1879 году он, нуждаясь в деньгах, продавал свой нумизматический кабинет [28]. Очевидно, несколькими годами раньше он был вынужден расстаться со своим архивом и входившими в его состав бумагами П. А. Радищева. Лонгинов,

который «до всего добирался», «добрался» и до Корсуновского архива и немедленно его купил.

Но если месть его Павлу Александровичу носила недоказуемый и почти отвлеченный характер, то П. А. Ефремову он отомстил публично и сугубо практически — уничтожением отпечатанных двух томов Радищева. Впрочем, это была одна и та же месть.

Обстоятельства внутренней и внешней политической жизни ускорили со стороны Лонгинова этот шаг.

Новый подъем революционного движения в 1869—1870 годах сильно встревожил правящие круги России. Особенно напугала «столичную публику» июньская стачка рабочих Невской бумагопрядильной мануфактуры, когда «некоторые из них руководили действиями других»[29].

Всю весну 1871 года «Санкт-Петербургские ведомости» печатали хронику событий во Франции:

«Борьба в Париже и в стране продолжается... В городах Нарбонне и Перпиньяне тоже сделаны были попытки провозгласить Коммуну...»

«В Париже назначена Комиссия баррикад...»

«Борьба продолжается день и ночь...»

«Кровь льется потоками; число вдов и сирот возрастает с каждым днем»[30].

В это время русская реакционная печать обрушивалась на деятельность Интернационала. В издававшемся Киевской духовной академией «Руководстве для сельских пастырей» даже появилось специальное наставление священникам, внушавшее им, что организованное за границей Международное общество рабочих не признает бога, отечества, нации и личной собственности[31]. «Основанное в Лондоне,— разъяснял автор наставления,— это общество управляется особым советом. Руководитель этого совета... Карл Маркс...»[32]

Вся вторая половина 1871 года в России прошла под знаком рабочих волнений: на прядильной фабрике Гарелиных в Иванове; на постройке Соляного городка в Петербурге; на Реутовской мануфактуре в Московском уезде и в ряде других мест.

В это-то накаленное время М. Н. Лонгинов и был назначен начальником Главного управления по делам печати. Бывший с ним ранее в дружеских отношениях И. С. Тургенев, откликаясь на это назначение, в письме к П. И. Бартеневу писал:

«Не знаю, легче ли вам станет от производства М. Н. Лонгинова, ех-автора «Попа Пихатия»* — в начальники прессы; с своей стороны я сомневаюсь.— Посмотрим»[33].

---

* «Поп Пихатий» — название скабрезной поэмы М. Н. Лонгинова, напечатанной им за границей, от которой он впоследствии отказался.

Ближайшее будущее показало, насколько Тургенев был прав.

П. А. Ефремов, несмотря на то что момент для этого был крайне неподходящий, решил во что бы то ни стало осуществить давнишнее свое намерение и выпустить в свет сочинения Радищева и Рылеева. Он выступал как редактор обоих изданий. Ответственным за «Радищева», как уже говорилось, был Н. П. Поляков.

Сохранившиеся в архиве корректурные листы этого издания [34] дают представление о том, как оно подготовлялось к печати. Оказывается, что на протяжении всего 1871 и первой трети 1872 года Ефремов непрерывно выбрасывал, восстанавливал и вновь выбрасывал отдельные места из оды «Вольность» (по копии Павла Радищева), первоначально набранной в полном составе 54-х строф.

Два историка литературы — А. Н. Пыпин и А. П. Пятковский — помогали редактору в этом деле. Так, на одной из страниц сверстанного первого тома рукой Ефремова написано несколько слов, обращенных к Пятковскому:

«Ал<ександр> Петр<ович>! Если найдете, что мной исключено что-нибудь *можное*, то впишите в эту корректуру — и наоборот» [35].

Это беспомощное «что-нибудь можное» красноречиво говорит о цензурных рогатках, преграждавших путь к изданию. А весной следующего года, когда все уже было готово и типограф Неклюдов приступил к печати, Лонгинов решил ее остановить.

Он уже, разумеется, отлично знал, что в этом издании будет полностью помещен текст «Вольности», скопированный с принадлежащего ему списка. И начальник Главного управления по делам печати стал действовать. Ефремов в письме к библиографу С. И. Пономареву писал:

«Лонгинов по старой, давней дружбе, сделавшись президентом цензуры, ладит меня, по знакомству, под окружной суд за печатание Радищева и Рылеева» [36].

Но дело, конечно, заключалось не в Рылееве, а в Радищеве, недаром произведения первого были разрешены к выпуску, а два тома сочинений второго уничтожены. Острота положения, помимо всего прочего, заключалась в том, что «начальнику прессы» Лонгинову было бы крайне неприятно, если бы издание Радищева вышло и стало известно, что рукопись, с которой был скопирован и набран текст «Вольности», принадлежала ему.

Между тем цензурные строгости усиливались. 22 марта того же года А. П. Пятковский, который должен был дать вступительную статью к «Сочинениям» Радищева, писал Ефремову:

«Слух пронесся, что в Государственном Совете уже рассматривается новый проект о цензуре. Надо бы это хорошенько разузнать, и,

если правда, то пусть Евд<окимов>*не мешкает и выпускает 12 экземпляров книги без моей статьи»[37].

«Радищев» был спешно допечатан в течение апреля, без статьи Пятковского, но в количестве не 12 экземпляров, а около 2000. Ода «Вольность» была помещена в этом двухтомнике дважды: в первом томе, в тексте «Путешествия», без каких-либо дополнений против издания 1790 года, и — обособленно — во втором томе, где она была представлена гораздо полнее, но все же со значительными пропусками, обозначенными многоточием. Кроме того, несколько (по преданию — десять) оттисков с *полным* текстом оды Ефремов напечатал для себя и своих друзей.

Из писем Ефремова, сохранившихся в архиве Бартенева, выясняется, что Петр Александрович, после того как «Сочинения» Радищева были арестованы, вступил в переговоры с цензурой и уже соглашался на выпуск издания с вырезками и перепечатками, но Лонгинов этому помешал.

«Он...— писал Ефремов Бартеневу,— остановил у меня Радищева, и когда Цензурный комитет вступил было со мною в переговоры о перепечатке нескольких страниц, то М<ихаил> Н<иколаевич> (наверно слышал, что он) велел остановить уже успешно шедшие переговоры и начать преследование по суду»[38].

Потерпев поражение на цензурном фронте примерно в июне 1872 года, Ефремов не сдался и вскоре же предпринял неожиданный шаг: он передал корректурные гранки оды «Вольность» редактору журнала «Русская старина» М. И. Семевскому, надеясь, что тому удастся незаметным образом напечатать ее у себя. На этих гранках рукой Семевского было написано: «Набрать боргезом, целиком, без пропусков, в августовскую книжку»[39]. Но, очевидно, вездесущий Лонгинов все же узнал об этом, так как оду «Вольность» Семевский не напечатал и она увидела свет только в 1906 году.

Такова была острота борьбы, разгоревшейся в 60-х и 70-х годах вокруг издания литературного наследства Радищева.

В начале июля 1873 года два тома его сочинений под редакцией П. А. Ефремова были истреблены **.

«Что Радищев будет сожжен,— писал удрученному редактору Е. И. Якушкин,— я в этом нисколько не сомневался, я боялся только, чтобы вас не опалило тем же огнем. Рад, что этого не случилось»[40].

Судебной ответственности Ефремову удалось избежать.

---

* В. Я. *Евдокимов* — главноуправляющий книжной торговлей Черкесова.

** О том, каким способом было уничтожено ефремовское издание «Радищева», существуют две версии: по одной — издание это было обращено в бумажную массу, по другой — сожжено.

А одновременно с «Радищевым» были уничтожены и другие книги; среди них: «Положение рабочего класса в России» Берви-Флеровского, «История февральской революции 1848 года» Луи Блана, «Социальная статистика» Герберта Спенсера, IV и VII томы «Сочинений» Д. Н. Писарева и «Записки идеалистки между двумя революциями 1838—1848 гг.», перевод с французского М. Цебриковой [41].

Переводчица этой книги, по справке III Отделения, с 70-х годов была «известна своим крайним либерализмом» [42]. Этой значительной личности, ее предкам и жившим в одно время с нею ее родственникам в настоящей работе придется уделить целую главу...

Итак, Лонгинов победил.

Он не позволил Ефремову опубликовать полный текст оды «Вольность», а список «Путешествия», с которого этот текст был скопирован, крепко держал у себя «под замком».

Библиограф Березин-Ширяев, вторично посетивший Лонгинова в его петербургской квартире как раз в то время, когда вместе с «Радищевым» подготовлялись к уничтожению лучшие книги века, оставил об этом своем посещении рассказ.

Он вспоминает, как, показав ему свою библиотеку и заговорив затем о недавно запрещенных изданиях, Лонгинов сказал:

«...У нас многие недовольны строгостью цензуры, не позволяющей печатать в журналах и газетах либеральные рассуждения о политике и современных вопросах или перепечатывать вполне некоторые сочинения прежних наших писателей, как-то Княжнина, Радищева и других... Да для кого и для чего необходимо нужна полная их перепечатка? Читателям, которые желают ознакомиться с этими сочинениями, достаточно и того текста, который дозволяет цензура» [43].

Бывший либерал, ставший мракобесом, требовавшим введения отмененных телесных наказаний в России [44], что другое он мог сказать?

Гёте принадлежат слова: «Самое страшное в мире — деятельное невежество».

Лонгинов был деятелен.

Он разведал и приобрел драгоценную рукопись, спрятав эту «жар-птицу» в «золотую клетку», отнюдь не намереваясь что-либо о ней публиковать. Конечно, при своем образе мыслей он мог бы ее и уничтожить, но его собирательская страсть и уважение к ней его наследников, к счастью, сберегли этот переплетенный в коричневую кожу список с крестами на корешке переплета и загадочной записью на обороте форзаца, сохранили его вплоть до 1916 года, когда он поступил в Пушкинский Дом.





1

Лишь теперь, после того, как подробно и со многими отступлениями заложены основы для нашего разыскания, приступим к нему самому.

Напомним читателю, что в первую очередь нас интересует румынская запись на форзаце «лонгиновского» списка, хранящегося в Пушкинском Доме, но так как перевод этой записи мог уже потускнеть в памяти читателя, приведем вторично его текст:

«Уединенного жития моего ради для будущих веков дар!

Эту книгу дарит мне добрейшая приятельница, благородная госпожа девица Аннушка, в 1800 году, и добрый приятель, отец наставник, отец Киприан, братства Саровского монастыря казначей. Эта книга изготовлена для меня».

Приведем вторично и ряд основных вопросов, вызываемых этим текстом:

Кто автор румынской записи? Кто такая «благородная госпожа девица Аннушка»? Какое отношение имела она к автору записи? Почему она и казначей Киприан совместно распоряжались этим списком? Как могло случиться, что «крамольное» и «богохульное» сочинение Радищева нашло гостеприимный приют в монастырских стенах? И что это за Саровский монастырь?

Начнем с последнего вопроса, так как с решением его удастся придать наиболее верное направление поиску.

Я. Л. Барсков в своих изданных в 1935 году комментариях к «Путешествию» Радищева подробно останавливается на этом вопросе. Мнение его настолько авторитетно, что его нельзя не воспроизвести.

«Из записи не видно,— утверждает почтенный историк литературы,— кто именно и кому подарил список, но в ней определенно указаны время и место: 1800 год и Саровский монастырь (в Бессарабии)». Далее исследователь делает оговорку, заявляя, что на географических картах и в описаниях Румынии и Бессарабии такого монастыря он не встретил, но в списках монастырей Бессарабской губернии числятся два мужских монастыря — Соручанский, или Суручевский, в Кишиневском уезде, и Сирковский — в Оргеевском. «Возможно, что в надписи искажено одно из этих названий»,— говорит Барсков.

«Невероятно,— заканчивает он свое рассуждение,— чтобы надпись относилась к Саровской пустыни Тамбовской губ., Темниковского у.» [1].

Авторитет ученого оказал влияние на других.

Так, историк К. В. Сивков уже с полной категоричностью утверждает: «...среди 28 рукописей «Путешествия», описанных Я. Л. Барсковым, ...значится рукопись, находившаяся когда-то в Бессарабии» [2]. Но эта ссылка на Барскова не является убедительной, так как в румынской записи вовсе не сказано, что место, где рукопись была подарена неизвестному,— «Саровский монастырь (в Бессарабии)». В том-то и суть, что сло́ва «Бессарабия» в записи нет.

В пользу бессарабского или молдавского происхождения списка можно было бы привести лишь следующие косвенные, и притом крайне слабые, доказательства: «Путешествие» в конце XVIII века распространялось на юге России, а также в Молдавии, и оказало влияние на румынскую литературу,— так, румынский писатель, организатор литературного и тайного политического общества Динику Голеску написал в 20-х годах XIX столетия под влиянием идей Радищева книгу «Дневник моего путешествия» и напечатал ее в Будапеште в 1827 году [3].

Но этого, конечно, слишком мало для того, чтобы повторить вслед за Барсковым, что отнесение румынской записи к Саровской пустыни бывшего Темниковского уезда было бы невероятным. Между тем считать это невероятным никак не следует, — напротив, это естественнее всего.

Два обстоятельства приводят к такому выводу.

Во-первых, Саровская пустынь, Темниковского уезда, стояла на стыке трех губерний — Тамбовской, Нижегородской и Пензенской, к двум из которых Радищевы имели прямое отношение. Во-вторых, размышляя об этой записи, нельзя обойти свидетельство сына А. Н. Радищева — Павла. В написанной им и помещенной в «Русском вестнике» более ста лет назад биографии его отца он говорит:

«Зимою, в начале 1798 г., Радищев отправился со всем своим семейством — четырьмя сыновьями и тремя дочерьми — в Саратовскую губернию. Он нашел отца своего, Николая Афанасьевича, слепым, отпустившим бороду, в простом кафтане, подпоясанном ремнем. Он жил тогда на пчельнике, в лесу, в пяти верстах от своего села Преображенского, которое он отдал своим детям, а сам проводил время в молитве, по большей части в обществе какого-нибудь монаха, а чаще с отцом Палладием из Саровской пустыни, отпущенником зятя его Облязова. Впоследствии Николай Афанасьевич отправился совсем на житье в Саровскую пустынь (разрядка моя.—*Г. Ш.)*, наиболее из всех монастырей им облагодетельствованную, но не мог ужиться с монахами, вступаясь в дела управления монастырем, и потому возвратился на свой пчельник, где и жил до своей кончины» [4].

Текст этого отрывка безошибочно доказывал, что по крайней мере один из Радищевых был связан с Саровской пустынью, находившейся именно в Темниковском уезде, а не в Бессарабии, где к тому же никогда и не было никакого Саровского монастыря.

Это маленькое, но существенное открытие — путеводная нить, попавшая в руки исследователя,— заставило взяться за просмотр всей литературы о данной пустыни, чтобы продвинуться дальше — туда, куда вела нить...

Как и следовало ожидать, история этой обители оказалась мало отличной от истории других русских монастырей. Саровская пустынь, основанная в дебрях мордовских лесов, между речками Сатисом и Саровой, владела огромным пространством луговой земли и лесных угодий, мукомольными мельницами и рыбными ловлями и от всего этого получала доход с местного населения — русских, мордвы и татар.

В монастырской летописи, составленной в год восстания Пугачева и напечатанной в 1904 году в «Материалах для истории Тамбовской епархии», откровенно говорится о враждебном отношении окрестного населения к угнетавшему его монастырю. Оказывается, что некоторые соседи пустыни «крайне желали ее разорения»,— так, например, татары, завидев пугачевцев, на коленях просили их разорить монастырь.

«...по прибытии злодейской пугачевской партии в город Темников...— записал монах-летописец,— татары, пришедшие к тем злодеям, пали пред ними на колени, просили их, чтоб они шли в Саровскую пу-

стынь, сказывали им, что-де в Саровской пустыни полны кладовые господским имением накладены, а строитель * и монахи с господами заодно, не признают нового государя и дворян у себя скрывают...» [5]

Волны народного гнева бушевали в окрестностях пустыни и грозили вот-вот ее затопить.

В тех же «Материалах для истории Тамбовской епархии» имеются сведения о таком же положении монастыря в 1779 году: летом и осенью этого года многолюдные ватаги крестьян, вооруженных ружьями и рогатинами, «разбивали» помещичьи дома в Темниковском уезде и грозились напасть на Саровский монастырь; устрашенный настоятель вытребовал для защиты пустыни воинскую команду с пятью пушками, и солдаты ежедневно давали залп из этой батареи, на утренней и вечерней зоре [6].

Тот же источник сообщал и одну очень важную деталь — запись о посещении Саровской пустыни в 1780 году «пензенским помещиком майором Николаем Афанасьевичем Радищевым», который затем выписал из Петербурга для престола обветшавшей монастырской церкви мраморную доску [7].

Н. А. Радищев назван здесь майором не ошибочно: выйдя в отставку в 1752 году подпоручиком, он в 1780 году, при назначении его прокурором Саратовского губернского магистрата, получил гражданский чин коллежского асессора, что соответствовало военному чину майора [8].

Таким образом, выяснялось, что отец Александра Радищева еще в 1780 году состоял в числе благотворителей Саровской пустыни, следует добавить — подобно многим другим помещикам Тамбовской, Нижегородской, Пензенской, а также Симбирской губерний, считавшим эту пустынь своим «домашним» монастырем.

Вторичное упоминание в литературе имени Н. А. Радищева как лица, связанного с Саровской пустынью, Темниковского уезда, окончательно убеждало в ошибке Барскова и обязывало продолжить просмотр книг и статей о названном монастыре.

Об этом этапе работы автора в его записной книжке сохранилась следующая запись:

«...Занимаясь просмотром «монастырской» литературы в Государственной исторической публичной библиотеке, я натолкнулся на изданную в 1843 году, в Москве, брошюру «Краткое историческое описание Саровской пустыни», игумена Маркеллина. Перелистав ее, я ничего интересного не нашел.

Несколько позже мне попалась та же брошюра, напечатанная в 1829 году, а еще через неделю — изданная в 1833-м. Тогда я поду-

---

* Строитель — игумен, настоятель монастыря.

мал, что следовало бы узнать, сколько всего было изданий найденного мной «Описания», и с этой целью заглянул в библиотечный каталог.

Оказалось, что Историческая библиотека располагала семью изданиями этой брошюры и что первое из них вышло в Москве, в 1804 году.

Сочтя целесообразным на всякий случай просмотреть все эти издания и проверить, не имеют ли некоторые из них по сравнению с другими каких-либо существенных дополнений, я стал просматривать и сличать текст всех семи брошюр.

Предположив, что каждое последующее издание чаще всего полнее, а следовательно, и ценнее предыдущего, я начал с позднейших, постепенно переходя к более ранним. Вскоре мне пришлось убедиться, что я был не совсем прав.

Действительно, по мере сличения одной брошюры с другой обнаруживались разного рода дополнения, однако не представлявшие интереса. Так продолжалось почти до конца просмотра, пока очередь не дошла до первого издания, напечатанного в 1804 году...»

...Первое издание «Краткого исторического описания Саровской пустыни», составленного игуменом Маркеллином, выгодно отличалось от всех прочих своим внешним видом: на редкость четким и красивым шрифтом, в особенности титульного листа. В нижней части его стояло: «Москва, в типографии Платона Бекетова, 1804». Это указание на типографа-издателя само по себе уже было интересно, так как Платон Петрович Бекетов, симбирский помещик, двоюродный брат баснописца И. И. Дмитриева, был издателем сочинений Богдановича, Гнедича, Вас. Пушкина, Хераскова и Александра Радищева, а также другом сына его Николая*; в известной мере продолжая дело просветителя Новикова, Бекетов как бы шел по его стопам[9].

Историк книжного дела в России, П. К. Симони, говоря о сочинении игумена Маркеллина, изданном Бекетовым, в 1908 году утверждал, что «в императорской публичной библиотеке этого издания нет»[10]. В настоящее время в Москве имеется пять экземпляров этой брошюры издания 1804 года: три — в Государственной исторической публичной библиотеке, в общем фонде, и два — в Государственной библиотеке СССР имени В. И. Ленина, один — в общем фонде и один — в Отделе редких книг.

Но брошюра эта заслуживала внимания не только как одно из редких изданий Бекетова — в ней оказались целые две страницы, которых

---

* П. П. Бекетовым было издано «Собрание сочинений, оставшихся после покойного А. Н. Радищева» в 6 частях. М., 1806—1811. «Путешествие из Петербурга в Москву» в это издание не вошло.

КРАТКОЕ
ИСТОРИЧЕСКОЕ ОПИСАНIЕ
САРОВСКОЙ
ПУСТЫНИ,
съ начала заведенія и до нынѣшняго 1804 года,
выбранное
изъ разныхъ исторій, указовъ и благословенной грамоты, хранящихся во оной пустыни,
игуменомъ Маркеллиномъ.

МОСКВА,
въ типографіи Платона Бекетова.
1804.

— 67 —
Благотворители Успенской Соборной церкви:

Преосвященный Меѳодій Епископъ Астраханскій.

Московскіе купцы:

Григорій Васильевичь Лихонинъ.

Аѳанасій Ивановичь Долговъ.

Григорій Андрѣевичь Манатейниковъ.

Никифоръ Никифоровичь Баршевцовъ.

Благодѣйствующіе ризницею и церковными Святыми вещми:

Высокоблагородныя госпожи:

Еvанѳія Ивановна и дщери ея, дѣвица Анна Ивановна Аргамаковы и Екатерина Ивановна Полуехтова.

Титульный лист первого издания брошюры игумена Маркеллина и стр. 67-я этой брошюры.

не было ни в одном из более поздних изданий и по своему содержанию представлявших необыкновенный интерес.

Текст этих двух страниц являлся выпиской из вкладных книг Саровской пустыни, то есть перечнем фамилий особо усердных жертвователей на «благолепие» монастыря.

Так, на 67-й странице брошюры среди прочих благотворителей были названы «высокоблагородные госпожи: Еванфия Ивановна и дщери ее, девица Анна Ивановна Аргамаковы и Екатерина Ивановна Полуехтова». А на следующей (68-й) странице — «господин Николай Афанасьевич Радищев» (в третий раз упоминаемый в литературе как лицо, связанное с этим монастырем).

Но вернемся к предыдущей странице и призадумаемся над смыс-

лом напечатанной там фразы. Как известно, мать Александра Николаевича Радищева была урожденная Аргамакова; видимо, в данной выписке шла речь о какой-то ее родственнице — Еванфии Ивановне Аргамаковой, вкладчице Саровского монастыря; одна из дочерей этой Еванфии Ивановны именовалась в выписке «высокоблагородной госпожой девицей Анной Ивановной», что удивительным образом совпадало с «благородной госпожой девицей Аннушкой» загадочной румынской записи; редакция текста выписки из вкладной книги дополняла румынскую запись и частично расшифровывала ее.

Сложная загадка как будто начала поддаваться решению. Во всяком случае, можно было думать, что один из ее элементов — «благородная госпожа девица Аннушка» — установлен. В этом можно было бы даже не сомневаться, если бы в том же поисковом пространстве Саровской пустыни обнаружился и второй элемент загадки — монастырский казначей Киприан.

Так оно и случилось, причем установление этого факта почти не потребовало никакого труда. При повторном, более внимательном, просмотре «Описания» игумена Маркеллина во всех изданиях этой брошюры (кроме первого) были найдены сведения и о казначее Киприане. Оказалось, что иеромонах Киприан действительно занимал в Саровском монастыре казначейскую должность приблизительно с 1796 года; умер же он в Петербурге[11]. Справочное издание «Петербургский некрополь» называло датой его смерти 16 января 1806 года[12]. Таким образом, оставалось лишь подтвердить каким-либо документом, что Киприан был казначеем Саровской пустыни и в 1800 году.

Итак, в, казалось бы, непроницаемой толще радищевской тайны образовалась щель, которую предстояло расширить. Но, прежде чем что-либо предпринять, нужно было вникнуть в смысл и значение найденного и оценить то, что уже налицо.

Сразу напрашивалось несколько выводов, вернее — обосновывался ряд гипотез.

Во-первых, если список Б, имеющий важнейшие дополнения, изготовлен в 1800 году или около этого времени, то есть спустя десять лет после того, как было отпечатано первое издание «Путешествия», не означает ли это, что и «важнейшие дополнения» сделаны автором около 1800 года? Что, если гамбургский слух предварил действительное событие и Радищев и впрямь «снова приготовил сочинение, подобное первому», или, проще говоря, дописал свое «Путешествие»? Что, если он, только с виду «присмиревший во всех отношениях», на самом деле великолепно обманул всех и вся?..

Но в этом случае история со списком монастырского происхождения становилась поистине необычайной: нельзя было придумать кон-

спирацию более остроумную и надежную, чем хранение и переписка нового текста осужденной книги за монастырской стеной!

Во-вторых, если бы удалось найти архив Саровской пустыни, можно было бы поискать в нем протограф, то есть подлинную рукопись Радищева, возможно, хранившуюся в монастырской библиотеке.

В-третьих, установление степени родства между Анной Ивановной Аргамаковой и автором «Путешествия» позволило бы открыть неожиданное, неизвестное до сих пор его окружение, вывести из исторического небытия ряд каких-то новых, близких ему лиц.

Но среди всех этих предположений настойчивее других была мысль о монастырском архиве, о необходимости установить, существует ли таковой в настоящее время, и если да, то где.

С этой целью пришлось обратиться в Главное архивное управление — в его Центральную картотеку. Ответ последовал немедленно: фонд Саровской пустыни хранится в Центральном государственном Архиве Мордовской АССР, в городе Саранске; это фонд № 1, довольно большой, около 1500 единиц.

Тогда — через Главное архивное управление — был послан запрос в Саранск: имеется ли в местном архиве, в фонде № 1, опись монастырской библиотеки и с какого по какой год занимал в Саровской пустыни должность казначея иеромонах Киприан?

В это самое время в записной книжке автора появилась новая запись:

«...В ожидании ответа из Мордовии я решил посоветоваться по поводу пленившей меня загадки со знающим человеком. Таковым был известный генеалог, один из редакторов «Алфавита декабристов», Александр Александрович Сиверс, заведовавший Нумизматическим кабинетом Государственного исторического музея и доживавший на этой работе свой девятый десяток лет.

Поднявшись по винтовой узкой лестнице на второй этаж могучего здания, выдвинувшегося на Красную площадь, я попросил дежурную вызвать Александра Александровича. Он вышел ко мне спустя несколько минут.

Осторожно ступая, ощупывая для уверенности ладонями стены, в лоснящемся от времени черном костюме, высокий, сутулый, с потухшим взглядом и бескровным лицом, словно проплывавшим в тумане, Сиверс чуть улыбнулся и протянул мне руку, уже почти вовсе лишенную тепла.

Мы уединились в полутемной, прохладной комнате, не то в кабинете ученого секретаря, не то в канцелярии.

Я кратко изложил суть дела, рассказав самое существенное о спис-

ке Б, румынской записи, о том, какие имеются у меня по поводу нее догадки и что я намерен делать дальше.

Сиверс слушал, не глядя на меня, смотря прямо перед собою и шевеля губами; наконец он тихо произнес, видимо обращаясь к самому себе:

— Да, конечно, так оно и есть!.. Это — находка!.. Но тут — бездна!.. — и, повернувшись ко мне, с внезапно вспыхнувшим блеском в глазах, добавил: — Молодой человек!.. (Хотя я был уже отнюдь не молод). Молодой человек, а вы... с ума не сойдете?..

Я взял на себя смелость заверить его, что такая опасность мне не грозит...»

2

Из записной книжки автора

«...Встреча со «знающим человеком» ободрила меня чрезвычайно: Сиверс не только оценил значение обнаруженной мною тайны, но еще и назвал ее находкой, то есть поверил, что она разгадывается мною верно; он, в сущности, только осведомился, хватит ли у меня сил и средств доказать правильность решения такой сложной задачи и не закружится ли у меня от этой сложности голова.

Труда действительно предстояло много: нужно было установить, в каких родственных отношениях состояли Анна Ивановна Аргамакова и Александр Николаевич Радищев, иначе говоря — заняться работой генеалогической; надлежало заново исследовать цензурный экземпляр «Путешествия» и сличить его со списками особого состава текста, то есть проделать работу текстологическую; следовало разработать ряд вариантов, отвечающих на вопрос: «Кто был автор румынской записи?» Кроме того, вставало много других, самых разнообразных, вопросов, и становилось ясно, что для решения некоторых из них необходимо кое-что предвидеть или вообразить.

О роли воображения в науке существует целая литература. Особенно интересно писал на эту тему английский физик Джон Тиндаль.

«В науке,— предупреждал он читателя,— есть свои консерваторы, смотрящие на воображение как на способность, которой скорее нужно бояться и избегать, нежели пользоваться»[13].

Сам же Тиндаль горячо ратовал за «доверие к гипотезе» и называл воображение «благороднейшим атрибутом человека, источником поэтического гения и могущественным орудием научных открытий», без помощи которого Ньютон никогда не открыл бы дифференциаль-

ного и интегрального исчислений, Деви не разложил бы металлов, их окисей и щелочей, а Колумб не пустился бы в океан искать в нем Новый Свет[14].

Но право на гипотезу, даже построенную на прочнейшем документальном основании, часто оспаривается. Есть люди, отвергающие любые косвенные доказательства и признающие только прямой, «лобовой» аргумент.

Я легко представляю себе, как сторонник такого скептического направления усомнится, скажем, в том, что «благородная госпожа девица Аннушка» румынской записи и «высокоблагородная госпожа девица Анна Ивановна Аргамакова»— одно и то же лицо: ведь прямого аргумента здесь нет. Этот скептик, видимо, будет рассуждать так: «В монастыре были две девицы Аннушки; но ничем нельзя доказать, что протографом «Путешествия» распоряжалась Аннушка, родственница Радищева; а почему не другая Аннушка, никому не известная, не состоявшая с ним в родстве?»

Лишение права на документально обоснованную догадку приводит именно к такому абсурду, ограничивает поиск, сковывает исследователя и обрекает его на исторический, историко-литературный агностицизм.

Между тем удачных гипотез много. К разряду самых счастливых из них относится такой всемирно известный пример, как таблица периодической системы элементов,— разительный случай предвидения в области точных знаний, давший необыкновенный по своему практическому значению эффект.

И я, поразмыслив над всем этим, сказал себе: «А что, если некое отдаленное подобие таблицы элементов применить при подготовке материалов для данного исследования?» Разумеется, в основе такой затеи лежало внешнее, чисто литературное сравнение; практически же осуществить ее следовало так.

Представим себе рабочий план этого разыскания в виде листа картона или бумаги с начерченными на нем клетками — нечто вроде изображения шахматной доски. В первых, верхних рядах клеток будут помещены уже известные элементы, или, как говорят школьники, то, что дано в условии задачи; в некоторых же клетках ниже лежащих рядов — элементы искомые, предвидимые, которые нужно отыскать. В последней клетке последнего, нижнего ряда будет заключено основное предвидение, то есть догадка о том, что дополнительный текст списков Б и В «Путешествия» Радищева создан автором после его возвращения из Сибири, в 1799 или 1800 году.

Излишне говорить, что законность «вселения» в клетку того или иного предсказанного элемента должна была объясняться здесь не какой-либо периодичностью, а простой логической последовательностью

и степенью вероятности — но и в этом был свой глубокий практический смысл: пользование такой «таблицей» заставляло вести поиск по строго намеченным направлениям; кроме того, это в большой степени оберегало и от опасности что-либо важное пропустить.

Приступив к делу, я начертил «таблицу» и для начала вписал в одну из ее клеток первое возникшее у меня предположение (или предвидение), касающееся этой работы; в дальнейшем, по мере возникновения других предположений, я намерен был подобным же образом записывать их, как искомые, которые предстоит найти...»

Итак, в одну из клеток «таблицы» было вписано первое (не считая основного) предвидение, причем ход мысли, его подготовивший, был таков: если Радищев дописал по возвращении из Сибири свое «Путешествие», ему для этого нужно было иметь под рукой, помимо текста книги издания 1790 года, также и свои черновики; в последнем убеждало то обстоятельство, что списки Б и В имеют довольно много отдельных слов и выражений, отсутствующих в первопечатном тексте, но имеющихся в цензурном экземпляре и, очевидно, в каких-то неизвестных нам черновых рукописях; поэтому естественно было предположить, что автор «Путешествия», вопреки существующему мнению, не уничтожил свои черновики, а, напротив, заблаговременно переправил их с чьею-то помощью в укромное место. Эта мысль была вписана в «таблицу» и тотчас же сменилась вопросом: не было ли в ближайшем окружении Радищева, среди его родственников или сослуживцев, человека, покинувшего столицу приблизительно в тот момент, когда автор «Путешествия» приступил к его печати, и не этот ли родственник или сослуживец увез с собой черновики?

Представлялось целесообразным предпринять такую проверку не среди родственников Радищева (что было чрезвычайно трудно), а среди его сослуживцев по Петербургской таможне (что было сравнительно легко).

Найти данное искомое можно было в формулярных или послужных списках этих чиновников, так как в них обычно отмечалось, кто числится в отпуске, куда отпущен, с какого и по какой срок.

Однако в Центральном государственном архиве древних актов (ЦГАДА), среди дел Петербургской таможни, входящих в состав фонда Коммерц-коллегии, таких сведений не оказалось. Пришлось прибегнуть к догадке, что какие-то бумаги этого учреждения попали в личный фонд А. Р. Воронцова, который был президентом Коммерц-коллегии и в 1792 году, уйдя в отставку, отправился в свое имение Андреевское, под Владимиром, и, быть может, увез переписку по Петербургской таможне с собой.

Архивная действительность вскоре подтвердила эту догадку: при просмотре описей фонда Воронцовых в том же Архиве древних актов удалось обнаружить заголовок дела: «Донесение А. Р. Воронцову с.-петербургского вице-губернатора Петра Новосильцова со Списком служащих у познания таможенных дел».

Но получить этот «Список» для ознакомления оказалось не такто просто: в громадном фонде Воронцовых он числился среди дел, недосланных из Владимира, откуда большая часть этого фонда поступила за несколько дней до того. Но так как из общего числа недосланных из Владимира «единиц хранения» почти сто имели прямое или косвенное отношение к Радищеву, оказалось необходимым сообщить об этом начальнику Главного архивного управления и просить его дать распоряжение о срочной высылке перечисленных дел в Москву.

А пока, в ожидании их прибытия, пришлось взяться за решение двух других вопросов: кто был автор румынской записи и кто такая Анна Ивановна Аргамакова? Не подлежало сомнению, что между этими двумя вопросами существует связь.

* * *

Чтобы определить, кому принадлежит загадочная румынская запись, было предпринято изучение биографий наиболее известных лиц молдавского, валахского и румынского происхождения, живших в России в конце XVIII века, а также биографий тех русских людей этого периода, которые знали румынский язык.

На память тотчас же пришли фамилии: Трощинский, Херасков, Каменский, Кантемир, Ипсиланти... У некоторых обладателей этих фамилий, как затем выяснилось, были такие биографические черты и черточки, что приходилось задумываться — не является ли то или иное лицо автором интересующих нас строк.

Так, например, возбудил было такое подозрение русский государственный деятель Д. П. Трощинский, имевший в своей библиотеке бекетовское собрание сочинений Радищева [15] и продолжительное время служивший в Яссах, где он вполне мог изучить местный язык.

Однако других доводов «в пользу» Трощинского не было; к тому же и почерк его был несхож с почерком румынской записи; поэтому данный вариант пришлось отклонить.

Имелся повод заподозрить и писателя М. М. Хераскова: его мать в первом браке была замужем за молдаванином, выехавшим в Россию в 1711 году, вместе с молдавским господарем Дмитрием Кантемиром; сам же Херасков воспитывался в доме своего отчима, прокурора Никиты Трубецкого, домашней бибилотекой которого ведал известный вольнодумец XVIII века Федор Кречетов, хорошо знавший «Путешествие» Радищева.

Но этим исчерпывались доказательства в защиту авторства Хераскова; его почерк и почерк записи также не сошлись.

Конечно, и Трощинский и Херасков могли продиктовать кому-нибудь текст записи, но биографический материал в обоих случаях давал так мало оснований в этом их заподозрить, что оставалось только одно: продолжить изучение жизнеописаний других лиц.

Это было увлекательное занятие — выдвигать в авторы записи различных кандидатов, вникать в детали биографии очередного «заподозренного» персонажа и устанавливать его прямую или косвенную связь с книгой Радищева, тем самым расширяя наше представление о влиянии на современников «Путешествия из Петербурга в Москву».

В целой серии разработанных таким путем вариантов два оказались наиболее интересными. Один из них был связан с именем генерал-фельдмаршала М. Ф. Каменского, крепостника-самодура и вместе с тем книголюба и театрала (его сын, Сергей, продолжая отцовскую традицию, даже завел домашний театр в Орле). Фельдмаршал писал стихи, изучал математику, интересовался науками, искусством. Он несколько раз подолгу бывал в Молдавии и, можно полагать, был в состоянии сделать простую и краткую румынскую запись. С 1783 по 1785 год он занимал должность рязанского и тамбовского генерал-губернатора и в эти годы, а также в более позднее время неоднократно посещал Саровский монастырь[16]. Уйдя после Тильзитского мира в отставку, Каменский бо̀льшую часть года проводил в своем орловском имении — селе Сабурове; зимой и летом ходил в куртке на заячьем меху, крытой голубой тафтою, с завязками вместо пуговиц, в желтых штанах и ботфортах, волосы связывал сзади веревочкой и носил кожаный картуз; ездил в длинных дрожках цугом, с двумя форейторами и лакеем на козлах, строжайше запретив им оборачиваться назад, что бы ни случилось; по словам его биографов, он деспотически управлял своей дворней, был злобен, вспыльчив и «в обхождении странноват». «Странноватостью» же и мог быть объяснен предположительный интерес крепостника-книголюба к списку «Путешествия» Радищева,— заинтересовался же значительно позже этой рукописью миллионер Голубков.

Каменский был убит принадлежавшим ему крепостным. По дошедшим до нас сведениям, граф послал в Лейпциг двух своих дворовых, молодых людей, учиться музыке; они не только преуспели там в своем искусстве, но усвоили также идеи свободы и независимости; по возвращении же их в Россию Каменский за какой-то ничтожный проступок велел их публично высечь; тогда они решили его убить. Один из них — Дмитриев — подстерег своего тирана на лесной просеке, когда тот объезжал рощу. Сильная рука схватила под уздцы коня и остановила дрожки. Гневный крик барина повторило лесное эхо, но ни лакей,

ни форейторы не обернулись. Лезвие топора блеснуло в воздухе. Удар раскроил помещику череп и половину языка...

Казалось, что если Каменский был обладателем драгоценной рукописи и автором сделанной на одном из ее листов записи, то его трагический, вполне заслуженный им, конец мог скрывать в себе особую остроту. Ведь могло же произойти так, что этот список «Путешествия» попал на глаза крепостному, возвратившемуся из Лейпцига, и что мысль об убийстве помещика зародилась у него под влиянием книги Радищева, в особенности того ее места, где автор говорит: «О! если бы рабы, тяжкими узами отягченные, ярясь в отчаянии своем, разбили железом, вольности их препятствующим, главы наши, главы бесчеловечных своих господ и кровию нашею обагрили нивы свои!»[17].

Но эту, на первый взгляд соблазнительную, версию пришлось также отвергнуть, так как Каменский с его ограниченностью сугубо крепостнического образа мыслей не мог быть автором известной нам румынской записи, в особенности — полной глубочайшего смысла ее первой строки...

Не меньший соблазн представляла другая версия, имевшая отношение к последнему в роде князей Кантемиров. Этот отпрыск молдавских господарей, родственник первого светского писателя в России — Антиоха Кантемира, просидел в ревельской крепости семнадцать лет. Такая кара постигла князя Дмитрия Константиновича за жестокое обращение со своими крепостными. Законодательство Екатерины II отнюдь не защищало интересов крестьянства, и помещики-душегубы наказывались крайне редко. Князь Д. К. Кантемир был упрятан в крепость якобы за убийство им своего дворового человека; в действительности же дело обстояло не совсем так. Истинная причина, побудившая Сенат столь сурово наказать зверя-помещика, заключалась в его огромных имениях, которые государству было выгодно взять в опеку, тем более что князь Кантемир временами вел себя как душевно больной.

Осужденный на вечное пребывание в крепости, он занимал в ней большую квартиру и жил там с целым штатом своих крепостных «служителей», одержимый маниакальной идеей, что русское правительство «возвратит» ему молдавский престол.

Около 1800 года в Ревеле появился сосланный туда двоюродный брат Д. К. Кантемира— секунд-майор В. В. Пассек, отсидевший перед тем семь лет в Динамюндской (Усть-Двинской) крепости за сочинение акростиха, направленного против императрицы Екатерины, и за размножение в списках «Путешествия из Петербурга в Москву».

Вольнодумец Василий Васильевич Пассек, находясь в заключении, составил завещание, в силу которого его крепостные получили вольную. К своему полупомешанному двоюродному брату он относился с

состраданием, хлопотал о его освобождении и, видимо, имел на него влияние. Из оставленных Пассеком мемуаров видно, что условия жизни в Ревеле были для обоих не очень тяжелыми: двоюродные братья свободно общались; во всяком случае, Кантемиру это не было запрещено.

Ситуация создалась острая: вольнодумец, пострадавший из-за книги Радищева, поддерживал добрые отношения со своим родственником-крепостником, убившим принадлежавшего ему дворового, и, быть может, идейно на этого крепостника влиял.

В России XVIII века помещиков, убивавших своих крепостных, чаще всего присуждали к духовному покаянию, и тем дело кончалось. Но князь Кантемир и формально не подлежал наказанию подобного рода, как человек, признанный душевнобольным.

А не могло ли быть так — возникало в связи с этим предположение, — что Пассек, оказывавший благотворное влияние на своего жестокого, почти невменяемого родственника, внушил ему мысль добровольно покаяться в каком-либо монастыре, тем более что покаяние дало бы осужденному некоторое право добиваться освобождения? Не мог ли Кантемир с разрешения местных властей негласно отправиться в Саровскую пустынь и не произошло ли это как раз в 1800 году, так как в конце 1801 или в начале 1802 года ему уже было разрешено жить в Ревеле, на свободе, под надзором? И не могло ли случиться, что, находясь в Саровской пустыни, этот молдавский князь увидел у кого-нибудь из «монашествующих» рукопись «Путешествия» Радищева и, будучи наслышан о ней от Пассека, испытывая перед этой книгой смутный трепет, упросил казначея монастыря ее переписать? Не была ли изготовлена эта рукописная книга для князя Кантемира, как для богатого и щедрого вкладчика, не состояла ли в числе его друзей Анна Ивановна Аргамакова и не сделана ли румынская запись его собственной рукой?.. Допустим, что все это могло бы быть так. Но так ли это было в действительности?

Для проверки этого пришлось обратиться с запросом в Центральный государственный исторический архив Эстонии. Оттуда, из города Тарту, очень скоро пришел ответ.

Он был составлен на основании дел 2-А и 2-В фонда «Канцелярии эстляндского губернатора» и заключался в следующем: князь Дмитрий Кантемир был осужден на пребывание в ревельской крепости пожизненно за убийство «своего» крестьянина из слободы Рогань, Харьковского уезда, Трофима Остиченко; в ревельской крепости князь Кантемир пробыл с 1787 по 1804 год; с начала 1802 года жил в Ревеле, пользуясь свободой, но под надзором; данных о его поездке в какой-либо из русских монастырей нет никаких. В дополнение к ответу вскоре из того же архива поступила фотокопия письма-автографа князя

Кантемира. Полная несхожесть его почерка с почерком неизвестного автора румынской записи заставила окончательно признать и этот вариант несостоятельным.

К такому же отрицательному выводу привело сличение почерка записи с почерком молдавского князя Ипсиланти, переписывавшегося с покровителем Радищева — А. С. Воронцовым — в 1800 году [18].

Итак, все попытки разгадать загадку путем подстановки подходящих биографических элементов окончились неудачей. Тогда было решено испытать другой, более простой, способ и поискать загадочный почерк в архивных сборниках иностранных автографов, где принадлежность этого почерка могла быть уже определена.

Десятки таких сборников и альбомов были просмотрены с этой целью в разных московских архивах; они содержали множество иностранных автографов, в том числе румынских и молдавских. Кого только не было среди них!

Но в этой массе автографов искомый почерк также отсутствовал. И тут стало ясно, что обе попытки установить автора румынской записи были порочными, так как исследование шло неверным путем: в обоих случаях «проверялись» исторические лица, известные и знаменитые; лица же малоизвестные оставались за пределами поиска, хотя искать, скорее всего, следовало именно среди них.

Оставалось одно: отправиться в Архив внешней политики и там просмотреть фамилии всех лиц молдавского происхождения, которым в конце XVIII века был разрешен въезд в Россию. Осуществить такой просмотр удалось: фонд «Российское генеральное консульство в Яссах» названного архива был обследован на этот предмет целиком.

Новое поисковое направление хотя и не привело вплотную к намеченной цели, все же дало более или менее удовлетворительный результат.

Оказалось, что за последнее десятилетие XVIII века из России в Молдавию, находившуюся тогда под турецким владычеством, довольно часто совершали побеги русские крепостные, укрывавшиеся затем в молдавских православных монастырях. Прожив некоторое время в монастыре «на послушании», такой беглец принимал постриг и становился монахом; спустя несколько лет тоска по родине заставляла его «выходить из-за рубежа» обратно в Россию; там он являлся к настоятелю какого-либо монастыря, рассказывал свою историю и просил принять его в число братии, как монаха, над которым уже не властна рука помещика. Монастыри принимали таких репатриантов, но предварительно запрашивали через епархию Российское генеральное консульство в Яссах, наводя справки о беглецах.

Должность русского генерального консула в Молдавии с ноября

1800 года занимал Василий Федорович Малиновский, позднее — директор Александровского царскосельского лицея, человек гуманный и справедливый, делавший все возможное для облегчения участи молдаван, томившихся под турецким игом, а также для устройства возвращавшихся на родину русских людей.

Среди бумаг В. Ф. Малиновского сохранилось немало ответов на запросы о «выходящих» в Россию из Молдавии монахах, в прошлом русских подданных. С исчерпывающей подробностью и неизменным доброжелательством к людям, о которых его запрашивали, отвечал генеральный консул на каждый запрос.

Одно дело этого фонда особенно богато такой перепиской: то архиепископ Тверской и Кашинский Павел запрашивал сведения о монахе Николае [19]; то епископ Орловский и Севский Досифей интересовался монахами-выходцами Афанасием, Феодором, Клеопой и Варфоломеем [20], то епископ Калужский и Боровский Феофил проверял показания, данные монахом Кондратием...[21] И хотя эта переписка не раскрывала имени автора румынской записи, тем не менее она направляла поиск на новый и, пожалуй, единственно верный путь.

В самом деле! Ведь проще всего было предположить, что один из беглецов, обучившись местному языку во время своего пребывания в Молдавии, впоследствии сделал на этом языке запись в списке «Путешествия» Радищева. Однако по-прежнему оставалось неясным, кто был первым владельцем монастырской рукописи и кто именно — автором записи; кроме того, по-прежнему не удавалось решить, одно и то же ли это лицо...

Когда работа в Архиве внешней политики была закончена, понадобилось снова отправиться в Архив древних актов, так как туда из Владимира уже прибыл контейнер с партией недосланных ранее воронцовских дел.

В общей их массе найти нужный список таможенных служащих не составило трудности: в фонде Воронцовых он числился под № 1559 в третьей части описи № 6.

Уже беглого взгляда на этот документ было достаточно, чтобы оценить его по достоинству: он являлся *особой* ведомостью личного состава таможни, присланной петербургским вице-губернатором Новосильцевым А. Р. Воронцову, очевидно по его требованию; ведомость эта была составлена 20 июля 1790 года, то есть *спустя около трех недель после ареста А. Н. Радищева*, и содержала сведения о таможенных «учениках» (недавно поступивших служащих), касающиеся одного близкого ему лица.

Что лицо это должно было быть близким А. Н. Радищеву, можно было почти не сомневаться, так как оно носило ту же фамилию. Это был неизвестный в литературе сослуживец писателя, Андрей Николаевич

Радищев, «секунд-майор из отставных от армии капитанов»*, состоявший «при разных должностях»: у выгрузки товаров, на бирже, при погребах и пакгаузах; в специальной графе, отвечающей на вопрос, «Какого поведения служащий», об Андрее Радищеве сообщалось, что «о поведении его неизвестно», а в графе под рубрикой «Где ныне находится» стояло: «Уволен в отпуск в Москву».

Происхождение этой ведомости, надо думать, было такое: А. Р. Воронцов, покровительствовавший автору «Путешествия» и бывший его шефом по службе, стремясь на будущее обезопасить себя от гнева императрицы, решил проверить благонадежность ближайшего служебного окружения Радищева; с этой целью он сделал запрос петербургскому вице-губернатору, предложив ему выслать сведения о таможенных служащих по особой форме, где графа о поведении играла важную роль.

Таким образом, наш первый опыт с «таблицей» поисковых элементов оказался удачным: полностью оправдалось помещенное в одну из ее клеток предвидение, касающееся предполагаемого лица — родственника или сослуживца А. Н. Радищева, покинувшего Петербург в период, близкий по времени его аресту. Оставалось еще не установленным, когда именно Андрей Радищев покинул столицу и не состоял ли он в каких-либо родственных отношениях с автором «Путешествия из Петербурга в Москву».

Попытка сразу же выяснить дату отъезда Андрея Радищева не увенчалась успехом, так как в книге регистрации «приезжающих и отъезжающих» в Петербург и из Петербурга его почему-то не оказалось ни за 1789-й, ни за 1790-й годы[22]. В этой хранящейся в ЦГАДА книге — «Записках, подносимых ее императорскому величеству от обер-полициймейстера Рылеева» — приезды и отъезды «обывателей» отмечались с большой точностью; отсутствие же в «Записках» имени Андрея Радищева, возможно, объяснялось тем, что он по роду своей службы больше находился в Кронштадте и должен был кронштадтской, а не петербургской полиции заявить о своем отъезде в Москву.

Выяснить же родственные отношения двух служивших в Петербургской таможне Радищевых было гораздо проще, так как родословную их удалось без труда отыскать в том же Архиве древних актов, среди множества дворянских родословных, входящих в фонд 388-й.

Оказалось, что отец писателя, Николай Афанасьевич, и отец отставного секунд-майора, Николай Авдеевич, были троюродными братьями[23]. Биографические же сведения об отставном капитане Андрее Радищеве обнаружились в том же Архиве, в фонде 286-м.

---

* То есть капитан, отставленный с чином секунд-майора.

Родился он в 1743 году, то есть был на шесть лет старше Александра Радищева; с 1762 года служил в полевой артиллерии, участвовал в турецком походе и был при осадах в штурмах Хотина, Браилова, Аккермана и Килии; с 1776 по 1779 год служил в уездном городе Смоленского наместничества — Сычевке — городничим; ему принадлежали в Вяземском уезде сельцо Ларино и несколько деревень [24].

Тут поиск заходил в тупик, никуда дальше не вел, ибо не устанавливал никакого контакта между Андреем Николаевичем Радищевым и Анной Ивановной Аргамаковой, вероятнее всего сохранившей черновики «Путешествия». Между тем, если бы такой контакт был установлен, можно было бы почти безошибочно утверждать, что черновики этой книги были заблаговременно увезены Андреем Радищевым. Заподозрив, что какая-то тайная нить все же связывает Андрея Николаевича с Анной Ивановной, мы вписали в новую клетку нашей «таблицы» второе по счету предвидение, которое в дальнейшем следовало либо опровергнуть, либо подтвердить.

Это второе предположение заключалось в том, что Андрей Николаевич по приезде в Москву, возможно, отправился еще куда-нибудь,— быть может, на Смоленщину, в свое сельцо Ларино, и что пути его каким-то образом пересеклись там с путями Анны Ивановны. Для проверки этого предположения нужно было отыскать книгу записи подорожных — документов на право пользования почтовыми лошадьми, выданных Московской управой благочиния* за первую половину 1790 года. Но для отыскания такой книги требовалось переменить рабочее место — перейти в другой, Московский областной исторический архив.

Однако переход этот был пока еще преждевременным, так как привлекать документальные материалы, хранящиеся в Московском областном архиве (не только подорожные, но и разные другие документы), было целесообразно лишь после выяснения и уточнения родственных связей Александра Радищева с Анной Ивановной Аргамаковой и родом Аргамаковых вообще. Выяснить же это можно было только по материалам ЦГАДА.

Для советской исторической науки и литературоведения дворянская генеалогия сама по себе не может иметь какой-либо интерес. Тем не менее ею приходится иногда пользоваться как вспомогательным средством для решения вопросов большого общественного значения. Между прочим, в литературе о Радищеве существует целый ряд таких родословных загадок, которые уже давно пора разрешить.

Например, чтобы выяснить степень родства между Александром Радищевым и Анной Ивановной Аргамаковой, необходимо было знать отчество матери писателя, но разные источники по-разному отвечали

* Управа благочиния — полицейская управа.

на этот вопрос. Так, внук А. Н. Радищева, Н. П. Боголюбов*, в оставленных им воспоминаниях называет свою прабабку Феклой Семеновной[25]; составитель биографического очерка об авторе «Путешествия» А. Лосский[26] и Я. Л. Барсков[27] утверждают, что мать А. Н. Радищева звали Феклой Саввишной; значительная же часть исследователей, во главе с П. Г. Любомировым[28], именует ее Феклой Степановной. Таким образом, нельзя было сказать с точностью, как звали деда писателя — Семен, Савва или Степан.

Оставалось также неясным, в каких родственных отношениях состояли Александр Радищев и М. Ф. Аргамаков, в московском доме которого автор «Путешествия» провел свои детские годы, и кем приходился этот М. Ф. Аргамаков директору Московского университета А. М. Аргамакову. Со всеми этими вопросами следовало покончить раз и навсегда.

Но решить их с такой же легкостью, как вопрос об отставном секунд-майоре Андрее Радищеве, оказалось невозможным: документы Разрядно-сенатского архива и Герольдмейстерской конторы, образующие в ЦГАДА два огромных фонда, отвечали на эти вопросы лишь частично; требовалось найти источник сведений, который был бы исчерпывающим и основным.

Таким источником явился хранящийся в том же Архиве древних актов фонд Вотчинной коллегии**, состоящий из громадного количества дел по дворянскому землевладению и в то же время содержащий самые подробные родословные данные почти за весь XVIII век.

Фондом этим обычно пользуются лишь очень немногие исследователи — историки и экономисты; историки же литературы не прибегают к нему вовсе; между тем тяжелые, в тысячу и более листов, книги с делами Вотчинной коллегии содержат неоценимый по своему значению биографический материал.

Судьба этого фонда достаточно драматична. 18 августа 1812 года «главнокомандующий в Москве» Ф. В. Ростопчин предложил Вотчинному департаменту, хранившему в своем архиве дела Вотчинной коллегии, подготовиться к эвакуации из Москвы. Ряд помещавшихся в Кремле государственных архивов был вывезен; однако с архивом Вотчинного департамента этого не случилось: в нем насчитывалось 42 160 фолиантов; для их перевозки понадобилось около тысячи лошадей, но их не нашлось.

1 сентября член присутствия этого департамента А. Д. Бестужев-

* Брат известного художника-пейзажиста А. П. Боголюбова.

** Вотчинная коллегия — одно из высших центральных государственных учреждений в России XVIII века; ведала вопросами наследственного перехода, а также купли-продажи поместий и вотчин; существовала с 1722 по 1786 год, когда она была преобразована в Вотчинный департамент.

Рюмин переселился со своим семейством в Кремль, в помещение архива, и сделался единственным его защитником. 2 сентября у Троицких ворот появился авангард неприятельской армии — конница Мюрата, а за нею — старая гвардия; здание Сената заняли французы — пять тысяч солдат. Весь вечер с обнаженными саблями и свечами в руках они бродили по палатам и выбрасывали из окон столы, стулья и архивные книги, а солдаты на сенатском дворе разжигали из них костры. На другое утро Бестужев-Рюмин отправился во дворец, к Наполеону, и просил через его приближенных о принятии мер по охране архива. Но завоеватели продолжали бесчинствовать — растаскивали толстые переплетенные книги и устраивали себе из них постели, несмотря на то что Наполеон приказал поставить у дверей архива часовых.

В результате пребывания в Кремле французов масса архивных дел оказалась выброшенной в кремлевские рвы. Наступила осень; ударили заморозки; документы намокли и затем смерзлись; пришлось дожидаться теплого времени, когда бумага оттаяла и появилась возможность отделить лист от листа...[29]

И вот в этой-то массе уцелевших от военной бури архивных книг нужно было отыскать делà с определенными родословными данными. Одно обстоятельство облегчало задачу: делà в этих переплетенных в коричнево-красную кожу книгах были сгруппированы по уездным городам и уездам; при этом каждый уезд имел свой алфавит или указатель фамилий. А так как мать А. Н. Радищева и ее ближайшие родичи были тесно связаны с Арзамасским уездом, стоило лишь взять «алфавит» по Арзамасу, чтобы выписать из него нужные дела.

И вот они на нашем рабочем столе. От них исходит дух книжного тлена. Современные средства консервации бессильны заглушить запах разлагающейся тряпичной бумаги. Невольно думается о том, что на этих фолиантах спали наполеоновские солдаты. И в то же время, пока перелистываются листы с записанными на них челобитными, в памяти оживают строки первой редакции «Бориса Годунова»:

Передо мной опять выходят люди,
Уже давно покинувшие мир...

Совершенно неожиданно выясняются непредвиденные родовые, семейные и общественные отношения людей, не только известных и «уже давно покинувших мир», но и таких, имена которых никогда не упоминались в печатной литературе. Мы узнаем это с помощью дел из фонда Вотчинной коллегии, лишь изредка прибегая к другим дополнительным источникам, когда оказывается необходимым что-либо прояснить.

Перед нами постепенно — в родословной перспективе — вырисовывается линия могучего рода Аргамаковых. Их земельные богатства находились главным образом в Арзамасском уезде. Одним из крупней-

ших землевладельцев края был Михайла Михайлович Аргамаков, по утверждению местной летописи, «первый помещик в Арзамасе»[30], в конце царствования Петра I генерал-квартирмейстер и оберкригскомиссар.

Жена его, Настасья Ермиловна, овдовев, вышла второй раз замуж за дипломата А. А. Матвеева; он был сыном всесильного при царе Алексее Михайловиче боярина Артамона Матвеева, одного из первых русских западников, женатого на Евдокии Гамильтон.

Огромное богатство дипломата графа А. А. Матвеева досталось по смерти его вторично овдовевшей Настасье Ермиловне, имевшей от первого брака с М. М. Аргамаковым двух сыновей.

Один из них, Алексей, первый директор Московского университета, известен, кроме того, тем, что сочинил проект, по которому была преобразована в музей кремлевская Оружейная палата[31], и освободил несколько своих крепостных для того, чтобы они могли поступить в Университет[32].

О другом ее сыне, Федоре, не сохранилось известий; но сын Федора, внук Настасьи Ермиловны и племянник Алексея Михайловича, Михаил Федорович, оставил некоторый след в истории: будучи поручиком Преображенского полка, он участвовал в заговоре против Бирона, был арестован, пытан и на допросе держался мужественно[33]; человек он был, видимо, образованный, так как в 1744 году, во время придворной церемонии, ему было поручено — до выхода императрицы из собора — безотлучно находиться при иностранных послах[34]. В московском доме этого Аргамакова провел свои детские годы А. Н. Радищев. Как видно из дела Вотчинной коллегии, мать Александра Радищева, Фекла Степановна, приходилась Михаилу Федоровичу Аргамакову троюродной сестрой[35].

Мать писателя была по отчеству действительно Степановна, а не Саввишна и не Семеновна,— это подтверждалось другим делом той же Вотчинной коллегии, разъяснявшим: «подпоручика Николая Афанасьева сына Радищева жена ево Фекла Степанова дочь»[36].

Итак, узнав, что отца Феклы Аргамаковой звали Степаном, уже было легко предпринять генеалогическую разведку относительно всей ее ближайшей родни.

Прежде всего выяснилось, что у деда Александра Радищева по матери, Степана Игнатьевича, был брат, Иван Игнатьевич[37], арзамасский помещик, имевший чин коллежского советника (что в те времена соответствовало военному чину полковника), служивший в Петербургской губернской канцелярии прокурором[38]. Затем был обнаружен документ, из которого явствовало, что у этого Ивана Игнатьевича Аргамакова была дочь Марья, владевшая в Арзамасском уезде землей[39]. Среди землевладельцев этого же уезда удалось отыскать также Еванфию Иванов-

ну Аргамакову, ее дочь, Екатерину Ивановну Полуектову, и другую ее дочь — Анну Ивановну Аргамакову[40], что полностью совпадало с текстом 67-й страницы «Краткого исторического описания Саровской пустыни», изданного в 1804 году.

Но была ли Еванфия Ивановна женой Ивана Игнатьевича, а Екатерина и Анна — его дочерьми? Решить этот вопрос можно было разными способами, в частности — отыскав какую-нибудь купчую на землю или строение, в которой упоминались бы Иван Игнатьевич Аргамаков и его жена. В таких документах, скреплявших акт купли-продажи, обычно подробно отражались семейные и родственные отношения. Искать же нужную купчую было проще всего в так называемых актовых материалах по Москве. Дело в том, что виднейшие представители русского дворянства, в особенности центральных губерний, почти все имели в Москве дома и земельные участки; таким образом, можно было надеяться найти в этих материалах Ивана Игнатьевича Аргамакова или его супругу, купивших или продавших в Москве дом.

Купчие записывались в книги — в реестр заносилось их краткое содержание. Такие книги уцелели до нашего времени, и значительная часть их опубликована. Изданы также многие московские переписные книги XVIII столетия, в которых перечислялись — улица за улицей — все домовладельцы города, причем, если дом принадлежал женщине, указывалось, кто был ее мужем. Поэтому и те и другие книги пришлось просмотреть сплошь.

Язык их народен, красочен, и лаконичные деловые записи живо передают своеобразие московской старины. Тут и наивное, приблизительное указание адресов («Идучи от Никитских ворот левою стороною» или: «От Кузнецкого моста поворотя направо»); тут и любопытные фамилии, и уличные прозвища, и поэтичные, почти сказочные названия улиц, урочищ, церквей.

Так, незастроенные безымянные пространства, то и дело встречавшиеся на разных улицах, назывались в этом описании пустырями безгласными. Церкви имели названия от самых простых до самых затейливых: «Петра и Павла, что на Яузе», «в Больших Трубниках Николая-чудотворца, что на курьей ножке», в Китай-городе — тоже «Николая-чудотворца, что слывет красные колокола».

Своеобразным был и перечень домовладельцев; среди них — и вовсе безвестные лица, такие, как аптекарь Гаврила Андреев Соус или купеческая вдова Марья Васильевна, по прозванию Большая Шапка, и такие родовитые, как Чаадаевы, Фонвизины, Радищевы, Грибоедовы, Ушаковы.

В одной из книг с записями купчих удалось найти жену коллежского советника Ивана Игнатьевича Аргамакова,

Еванфию Ивановну, купившую в 1776 году в Москве, в приходе церкви Успения на Могильцах (в Обуховом переулке на Пречистенке*) «двор»** за огромную по тому времени сумму — 1700 рублей[41].

Эти сведения о Е. И. Аргамаковой вскоре подтвердились и уточнились еще одним, найденным в ЦГАДА, документом: оказалось, что Еванфия Ивановна около 1776 года была уже вдовою[42], чем, видимо, и объяснялось приобретение ею на свое имя «двора».

Таким образом, оказалось установленным, что дочь ее, Анна Ивановна, подарившая вместе с монастырским казначеем необыкновенный список «Путешествия» неизвестному, действительно была дочерью Ивана Игнатьевича Аргамакова и приходилась двоюродной сестрой матери Александра Радищева, а следовательно — двоюродной теткой ему самому.

Располагая же московским адресом Еванфии Ивановны, можно было установить и ее возраст, а также возраст ее дочери Анны, если она жила с матерью, — для этого требовался просмотр исповедных книг.

Исповедные росписи повелись в России с 1737 года: все прихожане обоего пола — «от престарелых до сущего младенца» — обязаны были дважды в год являться в свою приходскую церковь и исповедоваться у священника. Так духовные власти осуществляли над мирянами свой контроль.

Исповедные росписи, или ведомости, составлялись в двух экземплярах: один оставался в церкви, а второй отсылали в консисторию, где его подшивали к другим исповедным ведомостям того сóрока***, которому принадлежала данная церковь. В этих ведомостях, помимо прочих сведений, обязательно указывался возраст исповедуемого лица.

Как и книги Вотчинной коллегии, книги исповедных росписей пережили грозу 1812 года и, выброшенные из Чудова монастыря французами, пролежали несколько месяцев под дождем и снегом в кремлевских рвах.

Являясь частью фонда Московской духовной консистории, хранящегося в настоящее время в Государственном историческом архиве Московской области, они нашли приют в одном из хранилищ этого архива — под сводами Новоспасского монастыря.

---

* Теперь — Чистый переулок на улице Кропоткина.

** «Двор» — здесь участок земли и дом.

*** Сóрок — группа церквей в старой Москве, находившихся в какой-либо одной части города. Сóроков было шесть — Китайский, Пречистенский, Никитский, Сретенский, Ивановский и Замоскворецкий.

* * *

Гёте называл архитектуру застывшей музыкой, а музыку растаявшей архитектурой.

Окидывая взглядом мягкие линии Новоспасского собора над Москвой-рекою, убеждаешься в справедливости этого замечания о близости музыки и архитектуры, понимаешь мелодичную стройность той и другой.

Подобно монастырям Новодевичьему и Донскому, Новоспасский монастырь считался в старину неприступной твердыней, одною из крепчайших с т о р ó ж Москвы.

Пятиглавый собор в центре крепостной ограды — подобие московского Успенского, хотя и не столь богато украшенный, поражает какою-то первозданностью своей архитектуры.

Построенный в величественном византийско-русском стиле, собор этот с его крестовыми сводами, четырехгранными столпами и дуговыми перемычками украшен пятиярусным, позолоченным алтарным иконостасом. Освещаемый окнами, откосы которых назывались в старину р а с с в е т а м и, алтарь собора, превращенный сейчас в хранилище, заставлен во всю свою вышину стеллажами, хранящими тысячи архивных дел.

И вот туда-то, на высокий берег Москвы-реки за Таганкой, пришлось перейти для продолжения разысканий с Большой Пироговской, где помещается Архив древних актов. На новом месте работы предстояло установить: 1) сколько лет было в 1790 году Анне Ивановне и 2) не уехал ли куда-нибудь Андрей Николаевич Радищев вскоре по прибытии из Петербурга в Москву.

...Непомерная толща монастырских стен и сводов с уцелевшими, хотя и не всюду, фресками. Уходящие ввысь стеллажи в алтаре и в приделах храма заставлены связками старинных бумаг и переплетенными в доски и суровый холст книгами. И при взгляде на них — непривычно острое ощущение: ведь во всем этом неисчислимом множестве «дел» у ж е д а н ы сотни и тысячи ключей к разнообразнейшим замкам-вопросам, и всякий раз секрет т о л ь к о в т о м, ч т о б ы п о д о б р а т ь н у ж н ы й к л ю ч.

Два ключа к двум «замкàм» (вернее, «замочкам») были найдены сразу.

Так как в отношении Е. И. Аргамаковой уже было известно, что она приобрела в 1776 году «двор», то есть участок и дом, в приходе церкви Успения на Могильцах (на Пречистенке), ее самое, а возможно и проживавших с нею ближайших ее родственников следовало искать в исповедных книгах Пречистенского сóрока за 1777-й год или ряд последующих лет.

Расчет оправдался: в исповедной книге названного сорока за 1777-й год, в одной из ее ведомостей — прихода церкви Успения на Могильцах — оказались отмеченными, как бывшие у исповеди, «госпожа асессорша * вдова Еванфия Ивановна Аргамакова», сорока лет от роду, и ее дочь «девица Анна Ивановна», двадцати лет [43].

Итак, оказалось, что «благородной девице Аннушке» в 1790 году, когда она, по всей вероятности, приняла на сохранение черновики книги Радищева, было тридцать три года и, следовательно, сорок три в 1800 году, когда она выступила в качестве лица, совместно с монастырским казначеем Киприаном распоряжающегося особой рукописью «Путешествия из Петербурга в Москву».

Так по крупицам, деталь за деталью, постепенно восстанавливались биографические черты Анны Ивановны Аргамаковой, затерявшиеся во мраке историко-литературного небытия...

Второй вопрос, об Андрее Николаевиче Радищеве, не уехал ли он куда-нибудь из Москвы вскоре по приезде из Петербурга, удалось также легко решить в Московском областном архиве, причем решение этого вопроса дало дополнительно совершенно неожиданный результат.

В книге записи подорожных 1790 года, найденной в этом архиве, рядом, под последовательными номерами, были записаны две подорожные: до Клина коллежскому асессору Николаю Радищеву — под № 495 и до Дорогобужа секунд-майору Андрею Радищеву — под № 496 [44].

Как мы уже знаем, коллежским асессором Николаем Радищевым был Николай Афанасьевич, отец писателя.

Обе записи были обведены с правой стороны фигурною скобкою, как выданные членам одной фамилии, и вручены им в один и тот же день — 2 февраля.

Из даты выдачи подорожных следовало, что Андрей Радищев выехал из Петербурга не позже конца января 1790 года, то есть как раз в то время, когда автор «Путешествия» уже приступил к набору своей книги с подготовленной для этого рукописи и уже мог обойтись без черновиков.

Однако у нас нет оснований предполагать, что этот «неизвестного» поведения отставной артиллерист, бывший сычевский городничий и скромный таможенный чиновник, был вольнодумцем, разделявшим взгляды Александра Радищева. Вернее всего, если он действительно взялся отвезти в безопасное место радищевские бумаги, то сделал это

---

* Е. И. Аргамакова ошибочно названа в этой исповедной ведомости «асессоршей» — вдовой коллежского асессора. По ее собственному свидетельству, мужем ее был Иван Игнатьевич Аргамаков, коллежский советник (ЦГАДА, ф. 292, ед. хр. 65, лл. 282—283 с об.).

просто как родственник, даже не зная при этом, какие бумаги он везет.

Впрочем, одно известие позволяет все же думать, что он мог и сочувствовать своему сородичу. По словам правнучки писателя, Дарьи Григорьевны Радищевой, в усадьбе сельца Ларина, Вяземского уезда, принадлежавшего в начале текущего столетия помещикам Дейша, а еще ранее — Энгельгардтам, была большая библиотека, составленная еще в XVIII веке. Ее составителем был, по всей вероятности, Андрей Николаевич Радищев, что говорит о нем по крайней мере как о человеке просвещенном и любознательном *.

В найденных записях подорожных прежде всего бросалось в глаза, что обе они выданы Николаю и Андрею Радищевым одновременно, как бы «в одни руки»; можно было даже подумать, что они по одному и тому же делу направлялись в разные города.

Кроме того, заслуживало внимания то обстоятельство, что подорожная Николая Афанасьевича Радищева была выдана до Клина, а в Клинском уезде, как уже отмечалось, находилось принадлежавшее Николаю Афанасьевичу село Веденское, которое в XIX веке купил миллионер Голубков, оказавшийся затем владельцем драгоценного списка «Путешествия».

И, наконец, третье: Андрей Николаевич Радищев получил подорожную до Дорогобужа. Но его земельные владения были сосредоточены не в Дорогобужском уезде, а в Вяземском[45], и в деловом отношении он был более связан с Вязьмой; поэтому оставалось неясным, зачем направлялся он в Дорогобуж.

Но именно эта неясность и заставляла вернуться к сделанному ранее предположению, что пути Андрея Николаевича Радищева, быть может, где-то пересекались с путями Анны Ивановны Аргамаковой. Теперь же к этому предположению естественно присоединилось другое: не имела ли Анна Ивановна какого-то отношения к Дорогобужу?

Новая догадка была также вписана в одну из клеток «таблицы», с тем чтобы в дальнейшем, при первом же документальном сигнале или намеке, направить поиск и по этому пути...

С таким результатом закончился очередной этап работы — на этот раз в Московском областном архиве.

Вскоре из Саранска, из Центрального государственного архива Мордовской АССР, поступили в Главное архивное управление две справки — ответ на сделанный незадолго до того запрос. Из Мордовии отвечали, что казначей Саровской пустыни Киприан был родом из куп-

---

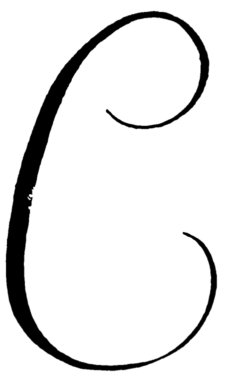
* Сведения эти сообщены автору настоящей работы Д. Г. Радищевой в Калуге в ноябре 1959 года.

цов города Кашина, но что мирское имя его неизвестно; в справке также не указывалось, с какого по какой год Киприан был казначеем в этом монастыре. По поводу же описи монастырской библиотеки сообщалось, что таковая (опись) в фонде Саровского монастыря имеется. Последнее имело важнейшее значение, так как подавало надежду с помощью этой описи отыскать и самый протограф списка Б — неоценимый авторский подлинник «Путешествия».

Дальнейшие шаги представлялись ясными: нужно было составить подробный план работы в Центральном государственном архиве Мордовии, запастись необходимым справочным материалом и немедленно ехать в Саранск.



1



ентябрьским утром 1955 года скорый московский поезд приближался к Саранску, проходя по радищевским и пугачевским местам.

Суховейное лето все еще медлило с уходом; леса стояли точно сожженные, и летевшие из паровозной топки искры то и дело зажигали на склоне железнодорожной насыпи сухую, похожую на стерню, траву.

Мелькали станции: Майдан, Хованщина; за поворотом пути открылась Рузаевка. Где-то здесь, совсем близко,— село Аргамаково, когда-то принадлежавшее Радищевым. Поблизости же и село Яхонтово, где родилась Н. А. Тучкова-Огарева. И тут же — рукой подать — село Исса, где в землянке скрывался Емельян Пугачев.

Вот и Рузаевка, в прошлом — владение помещиков Струйских; ныне — узловая станция и районный центр, город, разбросанный по уступам горы.

В середине XVIII века Рузаевка досталась надворному советнику Еремею Струйскому. Его сын, Николай, изощренный крепостник и поэт-графоман, завел у себя в имении типографию и печатал свои нелепые стихи на роскошной бумаге и атласе. В верхнем этаже мрачного трехэтажного дома он устроил свой кабинет и назвал его Парнасом; там он творил суд и расправу над крепостными и писал стихи. Внук Еремея, Леонтий, имел сына Александра от дворовой девушки Аграфены Ивановой, которую потом выдали замуж за саранского мещанина Полежаева. Продолжатель поэзии декабристов, враг крепостнически-полицейского строя и государства, безвременно погибший Александр Полежаев, был сыном рузаевского крепостника.

Еще полчаса с небольшим, и поезд прибывает в Саранск — центр Мордовской Автономной Республики, расположенный на возвышенности и похожий на южный приморский город: как зеленые воды моря, со всех сторон окружали его поля.

С самого своего основания город этот был сторожевой крепостью Московского государства, выдвинутой против кочевников. Через Саранск пролегал также путь из низовых городов и Персии в Москву. В 1671 году город был занят разинским атаманом Харитоновым, а спустя столетие взял его Пугачев. Двое суток «гулял» в Саранске «батюшка Петр Федорыч» — судил, рядил, казнил и пировал в доме местного воеводы; есть подавали ему и его свите на серебряных тарелках и блюдах, и он после каждой перемены выбрасывал их через окно на улицу — в дар народу, толпившемуся у воеводской избы.

И вот в этом-то городе, видевшем помещиков, прасолов, воевод, разинского атамана и самого Пугачева, сейчас на самом видном месте — против Дома Советов — стоит памятник многострадальному поэту Полежаеву, воздвигнутый в 1940 году.

По обе стороны высохшей и заросшей высокой травой речки Саранки наряду с островками нового благоустройства — бывшие дворянские и купеческие домишки, и вдоль них — гулкие, деревянные мостки-тротуары. Это — остатки той «толстобрюхой» саранской старины, о которой в памяти старожилов сохранилось много воспоминаний; одно из них заслуживало того, чтобы его записать.

Из записной книжки автора

«...Я услышал об этом в купе вагона от своего соседа-попутчика, ссылавшегося при том на какой-то старинный журнал. И, шагая от памятника Полежаеву вниз, в Замостье, мимо чугунной ограды нового городского парка, думая с волнением о том, что меня ждет в Саранском архиве, я вдруг почему-то вспомнил услышанный в вагоне рассказ.

Лет сто тому назад получил саранский исправник распоряжение

пензенского губернатора Панчулидзева собрать сведения о флоре Саранского уезда и доставить их к нему. Исправник, пытаясь вникнуть в смысл губернаторского распоряжения, решил посоветоваться с кумом своим — протопопом; тот же, заглянув в святцы, нашел, что 18 августа празднуется память Флора и Лавра. «Не одного Флора требуют,— разъяснил он,— Лавра тож». Тогда исправник стал собирать в уезде всех Флоров и Лавров, а была как раз страдная пора. Бабы подняли плач, что хлеб убирать некому, но Флоры и Лавры были отправлены «в губернию», и, конечно, на своих харчах.

Губернатор, увидев у себя на дворе сборище мужиков, разбившихся на две партии, вышел к ним и спросил:

— Вы что?!

— Фролы, ваше превосходительство!

— А вы?

— Лавры, ваше превосходительство!

Губернатор понял, в чем дело, и скомандовал, как на параде:

— Флоры и Лавры! По домам!..

Вспомнив этот краеведческий анекдот, я подумал о том, как резко, до неузнаваемости, все изменилось за последние сорок лет в России, и, завернув в этот момент за угол и оказавшись на улице, где помещался Центральный государственный архив Мордовии, увидел напротив него нечто наглядно подтверждавшее мою мысль: прибывавшие из района призывники — рослые, светловолосые, загорелые парни — с независимым и вполне жизнерадостным видом входили в дверь Саранского военкомата, а сидевшие на земле у палисадника девчата и молодицы ели арбузы и отнюдь не плакали и не голосили; юные советские «Флоры» и «Лавры» лихо подкатывали к военкомату на собственных мотоциклах, купленных на заработанные колхозные трудодни...

В Архиве, на втором этаже, в скромно, по-канцелярски обставленном кабинете сидел начальник — Василий Ильич Беззубов, широкоплечий мордвин с мягкими, добрыми чертами лица. Он был в хорошем расположении духа, так как ему только что стало известно о предстоящем чествовании его матери, Феклы Игнатьевны, мордовской народной сказительницы, которой исполнялось семьдесят лет.

Выслушав меня и узнав, что́ именно мне нужно в Архиве, Василий Ильич нажал кнопку звонка. Не прошло минуты, как в кабинет вошел довольно молодой, русокудрый, болезненного вида человек, сильно косивший одним глазом.

— Старший научный сотрудник Кудрявцев,— сказал Василий Ильич, представил меня вошедшему и, объяснив, зачем я приехал, распорядился: — Валентин Федорович, выдайте товарищу описи фонда Саровской пустыни и срочно подберите дела...

Кудрявцев вышел, посторонившись и пропустив в кабинет преклонных лет человека в старом брезентовом пыльнике, с зажатой в руке меховой, не по сезону, шапкой. Небритые щеки и коротко остриженные волосы на голове посетителя серебрились; голубые глаза смотрели ясно, по-детски; крепкая, с темными узлами вен, рука медленно стаскивала с шеи неопределенного цвета шарф.

— Наш старейший краевед — Ануфриев, Дмитрий Давыдович,— отрекомендовал его Беззубов.— Старину местную любит ужасно. Заметит пыль на каком-нибудь музейном предмете — сейчас же этой своей шапкой вытрет... А вы с ним потолкуйте — он тут все знает...

Дмитрий Давыдович и впрямь оказался большим знатоком своего края. Охотно завязав беседу, он рассказал много интересного, в частности напомнив мне, что в Краснослободске бывал Пушкин, а в Саранске проездом останавливался Лев Толстой. Узнав, что я интересуюсь библиотекой Саровской пустыни, Дмитрий Давыдович сообщил мне, что часть этой библиотеки находится в городе Темникове, в местном краеведческом музее, и тут же посоветовал побывать в Темникове и посетить в окрестностях его Санаксарский монастырь, где погребен адмирал Ушаков.

— Загляните, когда будете там, в подвал,— сказал он, прощаясь.— В монастырском подвале теперь колхозная пекарня. Так вот, на одном из столов, где тесто раскатывают, вместо столешницы — намогильная плита.

— И на ней — какая-нибудь надпись? — спросил я с интересом.

— Совершенно верно, только прочесть не удалось, потому что под столом лежали мешки с мукою.

— Обязательно съездим туда! — загорелся Беззубов.— Прокатимся на машине по всей республике!..

Я поблагодарил их обоих и, в ожидании дел, которые для меня подбирали в хранилище, отправился в читальный зал.

Облюбовав там рабочее место, я разложил на столе и стал просматривать свои бумаги — выписки из разных источников о Радищевых и заметки о новооткрытых списках «Путешествия», о Краснослободске, Темникове, Саровской пустыни, взятые с собой из Москвы как необходимый справочный материал.

Покончив с этим, я посмотрел в окно: в саду горели желтым огнем клены. Тишина в читальном зале и торжественное великолепие осени за окном удивительным образом соответствовали тому моему душевному состоянию, в котором я ожидал выдачи дел из хранилища. И мне казалось почти чудесным, что я с минуты на минуту должен получить на просмотр бумаги монастырского архива, имеющие отношение к Радищеву, которых никто еще не пытался здесь искать!..

Мои размышления были прерваны появлением Кудрявцева, поло-

жившим на стол передо мной опись фонда № I и одно дело этого фонда — опись монастырской библиотеки.

— Этот реестр,— сказал он,— начали составлять с 1804 года. Помимо печатных книг, в нем значится много рукописей.

— Их судьба неизвестна? — спросил я.

— Часть попала, кажется, в Пензу и в Куйбышев, часть погибла, а часть, видимо, осела у местного населения — в Темникове и в других местах, ближайших к Сарову...

Признаюсь, руки мои слегка дрожали, когда я потянулся к этому библиотечному каталогу: передо мною лежала опись библиотеки Саровского монастыря...»

* * *

Составленная в начале XIX века, опись монастырской «книгохранительницы» (библиотеки) охватывала 2254 печатных книги и около 500 рукописей. Прежде чем приступить к подробному изучению описи, было естественно ее перелистать. И вот тут, при этом первом, беглом ее просмотре, сразу же обнаружилось нечто в высшей степени важное: в реестр было включено описание личной библиотеки казначея Киприана, содержащее перечень 41 печатной книги и 3 рукописных. Из 44 принадлежавших ему книг около половины были сочинениями светского, и притом самого разнообразного, содержания: наряду с «Псалтирью», «Минеями», «Катехизисом» и творениями «отцов церкви» в описании значились: «Логика», «Царственный Летописец», «Грамматика» Ломоносова, «Скифская история» Лызлова, «Словарь юридический», «Устав воинский», «Краткое описание болезней в армии», «Путеводитель к щастию» Андрея Болотова и брошюра Иоанна Масона «Познание самого себя» [1]...

Состав личной библиотеки казначея Киприана приводил к заключению, что это был человек разносторонний, в прошлом, возможно, военный, интересовавшийся сочинениями религиозно-нравственного характера, книгами о способах обеспечить благополучие жизни, а также логикой, грамматикой, историей и законоведением, то есть всем, чем обычно интересовались в то время люди и вне монастырских стен.

Но самым существенным было наличие в этом описании изданной в Москве в 1801 году книги под названием «Нравоучительные речи господина Стерна» [2] — автора того самого «Сентиментального путешествия», с которым историки литературы издавна связывают радищевское «Путешествие из Петербурга в Москву».

И хотя «Путешествие» Стерна резко отличалось от «Путешествия» Радищева умеренностью взглядов автора — было почти чуждо политике, тем не менее в свое время оно попало в «Индекс запрещенных книг»

Ватикана и осталось в нем, спустя почти два столетия, при очередном переиздании «Индекса» в 1948 году [3].

Неудивительно, что в XVIII веке сходство некоторых эпизодов и литературной формы обоих «Путешествий» позволило сблизить авторов этих книг в глазах читателей значительно больше, чем того заслуживало их содержание. Представлялось очень правдоподобным, что иеромонах Киприан, хорошо знакомый с проповеднически-назидательной по тону книгой Радищева, под ее влиянием заинтересовался и «Нравоучительными речами» Стерна, тем более что между этими двумя произведениями уже установилась определенная связь.

Таким образом, наличие Стерна в описании книг казначея Киприана до некоторой степени объясняло причину, побудившую его участвовать в столь небезопасном деле, как изготовление списка «Путешествия из Петербурга в Москву»...

Теперь можно было заняться и последовательным просмотром всей библиотечной описи, в надежде найти среди множества названий монастырских рукописей протограф «Путешествия» Радищева, быть может, включенный в опись и под каким-нибудь особым названием с целью его зашифровать.

* * *

Как и в описании киприановской библиотеки, количество печатных книг и рукописей светского содержания в общей описи было очень большим.

«Богослужебные» книги и тетради, такие, как «Требник», «Канон на исход души» или «Канон ангелу смертоносному», перемежались сочинениями по русской истории, музыке, стихосложению и даже фортификации; среди них были: «Дополнения к Деяниям Петра Великого» Голикова, «Летописец» Ломоносова, «Превращения» Овидия, «Мусикийский (музыкальный) словарь», «Новая манера укрепления городов»...[4]

Подробное ознакомление с описями дел Саровского монастыря (или, точнее, пустыни, как было положено ему при основании называться) заставило выделить из общего числа 1500 единиц этого фонда около одной десятой его части; дела эти следовало обязательно просмотреть.

Среди них, судя по названиям, были «единицы» многообещающего содержания: «Переписка монастыря с верующими», «Письма вкладчиков и паломников», списки «монашествующих» 1800 года, личные дела настоятелей и монахов, монастырские летописи и вкладные книги за ряд лет.

И вот начался просмотр ста пятидесяти архивных дел, выделенных из их общей массы на основании заголовков. Разумеется, было всего

желательнее найти что-либо важное о А. Н. Радищеве и установить, кто из паломников или монахов, проживавших в 1800 году в Саровской пустыни, сделал румынскую запись в начале списка Б.

Но архивные недра не так-то просто выдают свои тайны. Они расступались медленно, выбрасывая на поверхность документальные материалы, помогавшие постепенно разматывать клубок.

Прежде всего целый ряд просмотренных документов подтвердил многолетнюю, тесную связь Радищевых и Аргамаковых с Саровским монастырем.

Так, в списке послушников этой пустыни за 1800—1806 годы значился какой-то Тимофей Радищев [5], не известный ни в литературе, ни по каким-либо другим архивным документам и, очевидно, во время составления списка уже умерший, так как против его фамилии стоял крест.

В списке же монахов за 1796—1799 годы числились — Исидор — «из отпускных вечно на волю дворовых людей помещика села Аблязова Кузнецкого уезда Саратовской губернии господина Радищева» (отца писателя) и Палладий — того же села отпущенный на волю крепостной, принадлежавший тестю Н. А. Радищева — Г. А. Аблязову [6]; это был тот самый «отец Палладий», который находился при жившем на пасеке слепом Николае Афанасьевиче, о чем говорит его внук, Павел Радищев, в написанной им биографии своего отца [7].

Затем легла на стол квадратная, в твердом коричневом переплете тетрадь с рисунком в начале, раскрашенным акварельными красками; рисунок изображал пишущего в келье за столом инока; сверху же посередине было написано: «Господи благослови! Монах записывает принимаемой хлеб».

Выражение «Господи благослови!» в данном случае служило напутствием, имевшим чисто практическое значение; русские купцы, сократив это выражение до двух букв — «Г. б.!», обычно писали его на первом листе своих торговых книг.

Тетрадь в коричневом переплете была монастырской книгой для записи хлеба и других злаков, жертвуемых разными благотворителями. Рисунок в начале тетради изображал монаха, записывающего дары.

Они вносились в книгу по мере их поступления с точной отметкой — кто, когда и сколько чего пожертвовал на пустынь.

Так, от Николая Афанасьевича Радищева — значилось в книге — 21 января 1791 года было принято ржи, «грешневых круп» и овса 50 четвертей*.

4 февраля того же 1791 года от Еванфии Ивановны Аргамаковой поступило овса 10 четвертей.

---

* Четверть — мера сыпучих тел, зернового хлеба (в XVIII веке — около 120 кг).

3 февраля 1792 года от нее же — овса 30 четвертей.

17 марта 1793 года от Николая Афанасьевича Радищева — овса 100 четвертей.

20 декабря того же года от Николая Афанасьевича Радищева — ржи и овса 50 четвертей.

И 22 января 1795 года от него же — ржи и овса 50 четвертей [8].

Таким образом подтверждалось, что Николай Афанасьевич Радищев и Еванфия Ивановна Аргамакова на протяжении ряда лет являлись вкладчиками-благотворителями Саровской пустыни, и были все основания полагать, что Е. И. Аргамакова не только присылала свои приношения в монастырь почти одновременно с Н. А. Радищевым, но иногда и живала там в одно время с ним...

Следующее по порядку дело имело заманчивый заголовок: «Дневник-летопись Саровского монастыря». Летопись эта отмечала все — большие и малые — события монастырской жизни.

В одной, например, дневниковой записи говорилось, что 15 августа 1785 года в Саровскую пустынь приехала «Еванфия Ивановна (Аргамакова) с зятем Владимиром (Полуектовым) и с детьми» [9].

Летопись, кроме того, содержала ряд любопытных характеристик обитавших в монастыре в конце XVIII века монахов. Так, об одном из них, Вонифатии, было сказано: «... умел работать весьма искусно финифтяные* штуки и на стекле писал весьма хорошо и довольно знал архитектурию, ибо его строения — больница и келии против холодного собора и задняя стена с башнями» [10]. О другом же монахе, Иринее, говорилось, что был он начитанный звездочет; Ириней этот делал пространные выписки по астрономии из книги академика Эйлера, интересовался размерами экватора, меридиана, антиподами и отмечал, что Солнце отстоит от нас на 15 000 000 немецких миль [11].

Архивная дневниковая запись о монахе Иринее вызывала в памяти печатное известие о другом иноке, точнее говоря — послушнике, гусляре. Имя его осталось неназванным; известно лишь, что, поступив в 1780 году в Саровский монастырь, он стал «смущать» монастырскую братию игрой на гуслях и, несмотря на запрещение игумена, продолжал играть. Игумен Пахомий удалил его из пустыни и сообщил об этом в епархию, архиерею Иерониму. Но тот отнесся благодушно к поведению послушника-музыканта и даже его похвалил. Тогда Пахомий запросил мнение ректора Новгородской семинарии епископа Феофила, отличавшегося строгим характером,— Феофил ответил в безусловно запретительном тоне и даже написал на эту тему целый трактат [12].

Все эти сведения об искусных и самостоятельно мысливших, любознательных людях из среды монахов Саровской пустыни, так же как и

---

* Финифтяные — от «финифти» — эмали по металлу.

разносторонняя образованность казначея Киприана, в известной мере объясняли, почему в этом месте, казалось бы, для того совсем не подходящем, удалось изготовить список запретного «Путешествия из Петербурга в Москву».

Конечно, особый интерес представляли биографии и личные дела монахов, среди которых следовало искать автора или исполнителя чьей-то воли, сделавшего запись на румынском языке.

Дел таких было множество, но в описи их числилось гораздо больше, чем оказалось в наличии; иными словами — значительная часть их была утеряна; в частности, отсутствовало «особое» дело «об отце Феодоре Ушакове» — оно касалось дяди знаменитого адмирала, бывшего преображенца, постриженного в монахи по указу императрицы Елизаветы и впоследствии ставшего настоятелем Санаксарского монастыря.

Именно в этом монастыре советовал побывать краевед Ануфриев. И это было заманчиво не только потому, что там погребен адмирал Ушаков. Посещение Санаксарского монастыря — кто знает! — могло, между прочим, дать и неожиданную разгадку одного вопроса, если бы удалось найти соответствующую надпись на стене собора или на могильной плите.

Дело в том, что, по всем имеющимся данным, существовала несомненная близость фамилий Радищевых и Ушаковых, но степень этой близости была недостаточно ясна. Как известно, самым близким другом Александра Радищева и «вождем юности» его был безвременно умерший передовой русский мыслитель, студент Лейпцигского университета, Федор Васильевич Ушаков; другой Ушаков * — Александр Андреевич — приходился «единоутробным» братом жене Александра Радищева, Анне Васильевне Рубановской, мать которой в первом браке была за одним из Ушаковых; адмирал Федор Федорович, видимо, также являлся отпрыском этого даровитого рода, а то обстоятельство, что Радищевы и Ушаковы тяготели к одной и той же местности, казалось не случайным, лишний раз указывало на невскрытую связь между этими двумя родами и побуждало — в целях изучения ближайшего окружения А. Н. Радищева — ее прояснить...

2

Из записной книжки автора

«...К концу третьего дня работы в Архиве Беззубов сообщил мне, что он раздобыл автомашину и что, если мне нужно подготовиться к поездке, в моем распоряжении будет один день.

---

* В начале XIX века — тверской вице-губернатор.

А подготовиться было необходимо: предстояло побывать во многих населенных пунктах, и я хотел предварительно кое-что разузнать о них и уже потом расспрашивать там население о рукописях Саровской пустыни; интересовал меня, разумеется, радищевский протограф списка Б.

Однако прежде всего я провел такой опрос среди жителей самого Саранска, побеседовав с местными научными работниками — сотрудниками Научно-исследовательского института языка, литературы, истории и экономики и библиографами городских библиотек. Беседы эти не дали почти никаких результатов; только в библиотеке названного Научно-исследовательского института удалось обнаружить несколько рукописных книг из Саровской пустыни; среди них было «Житие Анны Кашинской» XVIII века в превосходно сохранившемся переплете из светло-желтой кожи; на крышке его — точно такое же, как и на корешке «лонгиновского» списка, только сильно увеличенное,— выделялось тиснение: крест из четырех трилистников, упирающихся остриями в центр *. «Житие» это, сказали мне, ранее находилось в библиотеке историка этого края А. А. Гераклитова. Так получила подтверждение версия Кудрявцева, что часть рукописей Саровского монастыря стала достоянием частных лиц.

После этого возможность обследовать ряд мест по дороге из Саранска в Темников стала для меня еще более привлекательной. Я разложил на столе перед собой карту Мордовской республики и начал просматривать взятый из Москвы справочный материал.

Изучая по карте местность вдоль линии предстоящего мне маршрута, я то и дело отклонялся в сторону и, сверяясь со своими записями, составлял перечень населенных пунктов, имевших для моей работы особый, средний и даже третьестепенный интерес.

Действуя таким образом, я выписал на листе бумаги названия нужных мне пунктов; это были города Краснослободск и Темников с ближайшими к нему селениями, где я надеялся найти старожилов, которых следовало расспросить.

Затем я стал перечитывать бывшие у меня под рукой выписки о Радищевых. Внимание мое привлекли выдержки из дела Московского верхнего надворного суда. Сделанные в свое время «в запас», они тогда почему-то не вызвали у меня каких-либо особых соображений, и лежали среди других выписок, «дожидаясь своего часа». И вот в Саранске, то ли под влиянием непривычной обстановки, то ли в связи с накоплением мною новых архивных данных, эти выдержки предстали передо мной в совершенно новом свете, как будто я просматривал их в первый раз.

---

* Библиотека Научно-исследовательского института языка, литературы, истории и экономики при Совете Министров Мордовской АССР, отд. 2, шифр: Ж-75, № 11426.

Это был текст трех отпускных, выданных Николаем Афанасьевичем Радищевым своим крепостным в марте 1791 года «не по форме»— без необходимой явки их в судебной палате — и внесенных в книгу записи крепостных актов 1794 — 1795 годов, то есть по прошествии трех или четырех лет.

Чем руководствовался Н. А. Радищев при регистрации этих отпускных с таким запозданием — неизвестно. Можно лишь высказать догадку, что такое промедление не было случайным, ибо какие-то обстоятельства заставили его так поступить.

Отпускная, записанная под № 56, была дана крестьянке деревни Москулиной, Даниловской окрýги*, Ярославского наместничества, Акулине Макаровой с сыном; отпускная за № 57 сделала свободным крестьянина той же деревни Артемия Михайлова с женой и детьми его; отпускную же, зарегистрированную под № 62, получил крестьянин деревни Бородинской Лебийской округи того же Ярославского наместничества Алексей Иванов с женой [13].

Все три отпускные были подписаны сыном Николая Афанасьевича — Петром Николаевичем — и управляющим Степаном Морозовым. Сам Николай Афанасьевич, видимо, с 1794 года не подписывал уже никаких документов, так как после ссылки сына Александра начал быстро терять зрение [14], а спустя три года ослеп совсем...[15]

На этот раз выдержки из дела Московского верхнего надворного суда вызвали у меня целый ряд мыслей, отвечавших на один из важных вопросов моего разыскания. Но мне хотелось обстоятельно и пространно развить эти мысли в дороге, и я, отложив в сторону эту выписку, стал перелистывать другую тетрадь.

В ней были заметки по землевладению и родословию. Продолжая интересоваться скрытой и неясной мне близостью Радищевых и Ушаковых, я решил освежить в памяти этот материал.

И я нашел в нем,— как это часто бывает, если взглянешь на старое, «свежим глазом»,— кое-что важное, чего ранее я не заметил. Очевидно, с этими выписками произошло то же самое, что и с выдержкой о регистрации отпускных Н. А. Радищева: они также пролежали долгое время втуне, дожидаясь своей поры.

Теперь, перечитав их, я уверился, что Радищевых и Ушаковых действительно связывало нечто очень устойчивое и что они были, возможно, и родственники, а уж во всяком случае земляки.

Как стало известно из опубликованных Я. К. Гротом заметок о его путешествии по Германии, в анкете Лейпцигского университета, заполненной со слов русских студентов, товарищей А. Н. Радищева, его друг Федор Васильевич Ушаков на вопрос: «отечество?» (откуда родом?)

---

* **Округа — почти то же, что уезд, но несколько крупнее.**

ответил по-латыни: «Equ[es] Novogard[iensis]»[16], то есть «дворянин новгородский». Но ответ этот, строго говоря, принадлежал не Федору Васильевичу Ушакову, а немецкому делопроизводителю или писцу. Федор Васильевич не мог так ответить потому, что был родом не из Новгорода, а из Нижнего-Новгорода, причем понимать это нужно не буквально, а более широко — в смысле данного наместничества или губернии; немец же, заполнявший анкету со слов русского студента и не знавший географии России, существенно исказил его ответ. На самом деле Федор Васильевич Ушаков и учившийся вместе с ним в Лейпциге брат его Михаил происходили из дворян Нижегородского уезда, владевших селом Константиновкой[17]; отец их, Василий Афанасьевич, в 40-х годах XVIII века был учителем «большой астрономии» в Морской академии[18], позднее же — воеводой в Арзамасе[19]. Брат Федора, Михаил, по возвращении из Лейпцига определился поручиком в Тобольский пехотный полк Финляндской дивизии[20], куда вскоре поступил и Александр Радищев на должность обер-аудитора — юридического советника при председателе дивизионного суда[21].

Почти все эти сведения, добытые благодаря любезной помощи старшего научного сотрудника ЦГАДА И. Г. Королевой, в свое время были недостаточно хорошо проанализированы мною, но, воскрешенные в памяти перед поездкой в Темников, приобрели для меня новый, хотя и не вполне еще ясный, смысл: одна ветвь ушаковского обильного рода была из той же местности, что и Аргамаковы и Радищевы; и те, и другие, и третьи являлись уроженцами смежных уездов; но почему Александра Радищева связывали с Ушаковыми такие узы дружбы — это было пока неясно; но постепенно укреплялось у меня подозрение, что здесь имела место и какая-то более тесная связь...

Утром 20 сентября, когда я, закончив просмотр выписок, хотел было еще раз все хорошенько продумать, с улицы донеслись два протяжных автомобильных сигнала, затем, спустя минуту, в номер гостиницы постучался Беззубов и объявил, что пора выезжать».

* * *

«Только что вышедшая из ремонта «Победа» сверкала на солнце зеленым лаком. Развалясь на переднем сиденье и отвернув ветровое стекло до отказа, с дружелюбным любопытством разглядывал меня шофер.

— Федор,— лаконично отрекомендовал его Беззубов.

Тот приветливо кивнул мне, натянул на ухо край синего, не очень туго сидевшего берета и, стрельнув вдоль улицы серыми ястребиными глазами, включил мотор.

Выехали из города быстро: немного покружили по окраине, вдруг

ни с того ни с сего подняли облака пыли и, миновав мачты Саранской радиостанции, вырвались на убегавшее в поля шоссе.

Необозримая возвышенность, то тут, то там пересеченная оврагами и балками, лежала вся в пестрых заплатах жнивий, пашен и озимых полей. У края земли дрожал и струился от зноя воздух. Была какая-то торжественность в этой великой щедрости света и тепла, расточаемых медлящим уйти летом. А ощущение покоя и отдыха впервые после многих месяцев трудной работы толкало на путь размышлений, оценки сделанного и того, что еще предстоит сделать, на путь медлительных и необходимых раздумий, готовых вот-вот мной овладеть.

Хорошо укатанный чернозем быстро убегавшей назад дороги был похож на свежий гудрон. «Победа» шла по взволнованному плато; по обе стороны шоссе лежали разноцветные взгорья и водороины. Беззубов молчал, нисколько не мешая мне наблюдать и думать. Федор — также; несмотря на его вполне городской и даже отчасти артистический вид, было в нем что-то ямщицки удалое, старинное-престаринное; он лихо вел машину, временами тихо с нею переговаривался, точно это была какая-нибудь сивка, и все время почему-то казалось, что он вот-вот взмахнет кнутом.

Укатанный чернозем проселка наводил на мысль, что после дождя он становится непроезжим. Хлеб был снят. Сельскохозяйственная техника отдыхала у обочин. Из придорожных изб выскакивали на дорогу и перебегали ее под самым носом автомашины мордовские ребятишки в длинных холстинных домотканых портках.

Старинная эта дорога связывала некогда с Москвой низовья Волги. В XVII веке проезжали здесь шаховы послы из Персии; потом двигались на Краснослободск ватаги Разина и шла рать Пугачева. Николай Афанасьевич Радищев ездил в Саровскую пустынь из своего Верхнего Аблязова тоже этим путем.

Далеко позади осталась Пензятка и вправо от нее — село Лямбирь. Л. Н. Толстой, закончив «Войну и мир» и отправившись путешествовать по России, через это село проехал в Саранск...

Чернозем под колесами кончился, и теперь, стреляя каменистым градом в кузов, неслось назад засыпанное щебенкой, жесткое, рыжее на солнце шоссе.

Между селами Лемдяй и Летки показался островок леса. Федор остановился — залить водой радиатор — и пошел с ведром искать колодезь. На нем был новенький синий пиджак и синие же брюки-галифе с голубыми кантами; голенища его сапог сверкали как зеркала.

Беззубов растянулся тотчас на траве, а я, углубясь в рощу, стал выискивать удобный пенек, чтобы кое-что на нем записать.

Ель теснила в роще березу; деревья стояли густо, на ровном, словно подстриженном, травяном ковре, привлекавшем своею нежно-изум-

рудной зеленью. Я взглянул на ближайшую ель и залюбовался ею. До чего же красивое дерево! И под ним — ни соринки! Ведь как чисто растет!..

Тут я заметил довольно высокий и гладкий пень, а рядом другой, пониже. «Кресло» и «письменный стол» были найдены. Нужно было как можно скорее закрепить пришедшие мне «на дороге» мысли, записать их пространно ли, коротко ли — как удастся,— пока длится привал...»

«Мысли на дороге»

«...Итак,— быстро заносил я в свою записную книжку,— мне кажется, что после нескольких дней работы в Саранске вопрос об авторе румынской записи в «лонгиновском» списке «Путешествия» приблизительно решен. Во всяком случае, для решения его сделано все возможное, и наметившийся у меня вариант разгадки, пожалуй, наиболее вероятный; сложился же он так. Из всех крупных вкладчиков и богомольцев, посещавших в конце XVIII века Саровскую пустынь, лицом, которое более всех других могло интересоваться «Путешествием» Радищева, был его отец. Эта книга явилась причиной его личного горя и едва не стоила жизни его сыну; но личное горе и страдания Николая Афанасьевича, когда он думал об этой книге, не могли не напомнить ему о горе и страданиях тех миллионов несвободных тружеников России, в защиту которых выступил его сын. Николай Афанасьевич был человек просвещенный; у нас нет сведений о его жестоком обращении с крепостными, хотя в пугачевское время ему все же пришлось вызвать в Верхнее Аблязово команду солдат[22]. Но он был в состоянии подниматься над сословными предрассудками и однажды, упрекая сына за брак со свояченицей, сказал ему: «Женись ты на крестьянской девке, я б ее принял, как свою дочь»[23]. Принадлежа к числу лучших, «добрых» помещиков своего века, он тем не менее не мог сочувствовать идеям Александра Радищева: у отца была своя правда, у сына — своя. Но вот вышла книга, разразилось несчастье, и положение изменилось: удар, потрясший сознание Николая Афанасьевича, должен был заставить его задуматься над правдою сына, защищаемой им в «Путешествии», отнестись к ней со вниманием и даже с известным, вынужденным уважением. Затем последовал второй удар: Николай Афанасьевич ослеп. А. Н. Радищев известил об этом А. Р. Воронцова в июне 1794 года. Между тем значительная потеря зрения, лишившая Н. А. Радищева возможности читать и писать, произошла гораздо раньше и, надо думать, была результатом потрясений, вызванных арестом и ссылкой его сына в Сибирь. Должно быть, именно по этой причине отпускные, данные Н. А. Радищевым своим крепостным весной 1791 года, были позднее подписаны (по доверенности) приказчиком Морозовым и сыном Петром. Не подлежит

также сомнению прямая причинная связь между этими отпускными и завещанием Александра Радищева, составленным в Петропавловской крепости после объявления ему смертного приговора. В этом завещании, начинавшемся страшным словом: «Свершилось», А. Н. Радищев наказывал детям «просить батюшку» дать отпускные служившим «при нем» (при Александре Николаевиче) дворовым людям[24].

Неизвестно, отпустил ли Николай Афанасьевич тех дворовых, о которых просил его сын в своем завещании, или же заменил их другими, но у него, можно думать, были основания временно скрывать от властей этот факт. Видимо, устанавливать связь между отпуском на волю своих дворовых и завещательной просьбой сына ему не хотелось, и, должно быть, поэтому выданные им в 1791 году отпускные были спустя только три или четыре года записаны в книгу Московского верхнего надворного суда.

Да и мог ли Николай Афанасьевич остаться безучастным к словам завещания? Ведь, в сущности, это была предсмертная просьба, ибо сын его, приговоренный сперва к смертной казни, ждал, что ему отрубят голову, почти полтора месяца — с 24 июля по 4 сентября. Волосы Александра Радищева после объявления ему приговора побелели. Зрение отца его помутилось. Мать, Феклу Степановну, разбил паралич[25]. В отчаянии от всех этих бед, Николай Афанасьевич стал искать утешения в религии. По всей вероятности, он счел обрушившиеся на него несчастья испытанием свыше и решил искупить неправедность своей жизни рядом добрых дел. К их числу относится освобождение крепостных, предпринятое Н. А. Радищевым во исполнение завещательной воли сына, и почти одновременно с этим — в начале 1791 года — пожертвование Саровской пустыни 50 четвертей ржи, овса и «грешневых круп». Николай Афанасьевич не мог не понимать, что сын его пострадал за правду, хотя правду эту, ему, отцу, владельцу двух тысяч душ в разных уездах Российской империи, не так-то просто было принять. Но и не принять ее вовсе он, видимо, также был не в состоянии. И кажется наиболее правдоподобным, что слепой, умудренный личным горем и страданиями Николай Афанасьевич нашел в себе силу духа и прозорливость, чтобы признать сыновнюю правду принадлежащей будущему и продиктовать неизвестному лицу запись, начинавшуюся словами: «Уединенного жития моего ради для будущих веков дар!»

Сложным было в то время душевное состояние Николая Афанасьевича, сложным — и его отношение к «Путешествию». От этой книги он пострадал, пострадали самые близкие ему люди. И все же этот опасный, запретный плод не мог его не привлекать...»

В эту минуту, когда я, взволнованный нахлынувшими на меня мыслями, торопливо их записывал, неожиданно появился подле меня Федор.

Устроившись на траве под ближайшею елью и располагаясь завтракать, он объявил, что мотор «дурит»— какая-то в нем неполадка — и что придется провозиться с ним еще с полчаса.

Воспользовавшись этим, я вернулся к своей записной книжке.

«До 1800 года,— продолжал я записывать,— когда на монастырском списке была сделана румынская запись, Николай Афанасьевич, быть может, даже не держал в руках «Путешествия» (ни печатного издания, ни рукописи), но он без сомнения, был наслышан о содержании уничтоженной книги; не исключено также, что отрывки из нее читались при нем вслух.

В монастыре ему представилась возможность получить в собственность это сочинение, притом особого состава текста да еще каллиграфически — на заказ — исполненного; интерес же к нему Н. А. Радищева наверняка возрос еще больше, если ему стало известно, что сын это свое сочинение дописал.

Благотворителю Саровской пустыни Николаю Афанасьевичу Радищеву, видимо, не стоило большого труда добиться там изготовления для себя копии «Путешествия», снятой с подлинника, которым распоряжалась другая благотворительница этой пустыни — его «добрейшая приятельница», двоюродная сестра его жены, Анна Ивановна Аргамакова; дело упрощалось еще и тем, что монастырский казначей Киприан был человек, разносторонне образованный, включивший позже в состав своей библиотеки такого близкого в жанровом отношении А. Н. Радищеву автора, как Стерн.

Слепой Николай Афанасьевич, обычно проводивший время «в обществе какого-нибудь монаха», став обладателем изготовленной для него рукописи, очевидно, поручил сделать на ней запись одному из иноков, находившемуся в Саровской пустыни, а до того побывавшему в Бессарабии и усвоившему — но недостаточно хорошо — румынский язык. Надо думать, что Н. А. Радищев продиктовал этому иноку содержание записи и уже тот перевел ее на румынский; сделано это было с целью маскировки, разумеется — довольно наивной, так как в тексте записи хотя и отсутствовало имя владельца списка, но были названы: более чем возможное место его изготовления — Саровская пустынь — и лица, тому способствовавшие,—«девица Аннушка» и «казначей Киприан».

Впрочем, Киприан попал в эту запись не сразу, а по прошествии некоторого, быть может, и очень малого, времени; вспомним, что румынский текст первоначально касался только «девицы Аннушки» и заканчивался датой: «1800 года»; лишь на втором этапе редакции записи появилась приписка, в которой упомянут был казначей.

Зашифрованность этого текста не подлежит сомнению. Очевидно, с целью же маскировки был перенесен на форзац рукописи эпиграф

из «Телемахиды», которому следовало находиться на заглавном листе «Путешествия». Но это было сделано потому, что данный список никакого заглавного листа не имел...

Кандидатура Николая Афанасьевича Радищева в авторы этого иностранного текста (точнее — в авторы его содержания) кажется еще потому наиболее подходящей, что первая строка записи («Уединенного жития моего ради...» и т. д.) соответствует обстоятельствам жизни Н. А. Радищева в конце XVIII века: ведь он провел какое-то время в Саровской пустыни, а затем так же отшельнически жил на пасеке вблизи принадлежавшего ему села...[26]

В итоге этого рассуждения возникла мысль, важная для всего моего разыскания в целом, и я поспешил ее записать. Мысль эта заключалась в следующем. Я обязан решить один основной вопрос: когда Радищевым написан текст, дополняющий издание «Путешествия» 1790 года,— до того, как было отпечатано это издание, или же после возвращения автора из Сибири, то есть спустя десять лет? Но ряд менее важных вопросов, возникающих при стремлении решить главный, я только пытаюсь решить предположительно или отчасти — в меру своих сил. И все же удивительно радостно сознавать, что, ставя впервые эти вопросы, касаешься глубинного слоя биографии Радищева, слоя свежего и нетронутого, как трава придорожной рощицы, где я записываю эти мысли в погожий сентябрьский полдень...

Тут нетерпеливый гудок «Победы» дал мне понять, что затянувшийся привал окончен, и я встал со своего пенька...»

* * *

«...Ровные плато сменяются скатами к бороздящим междуречное пространство оврагам и балкам. Не так давно — лет пятьдесят тому назад до своей распашки, эти водоразделы весною представляли целинную, седую от ковыля степь.

Проехали село Старое Шайгово, которое Беззубов назвал по-местному, сокращенно — Старша́й. Километрах в пятнадцати от него на северо-запад — село Старое Акшино, бывшее родовое имение Огаревых. Там провел свое детство и юность друг и соратник А. И. Герцена — Н. П. Огарев. В Старом Акшине посетила однажды бабушку Огарева престарелая М. И. Челищева, мать А. А. Челищева, члена Союза благоденствия, и, беседуя с нею, долго толковала о том, что декабристы — не бунтовщики и не изменники, а «истинные приверженцы отечества». Маленький Николай Огарев, присутствовавший при этой беседе, запомнил ее навсегда[27].

До чего же много в нашей истории, культуре и общественной жизни взаимно связанного! Ведь Петр Иванович Челищев, друг автора

«Путешествия из Петербурга в Москву», учившийся вместе с ним в Лейпциге, приходился родственником той самой старушке, слова которой о декабристах подслушал в детстве Огарев.

Вспомнив об этом, испытал я острое чувство связи между атмосферой русского освободительного движения XIX века, исследуемой мною творческой истории «Путешествия» Радищева и ее отношением к местности, по которой мчалась автомашина. Простор убегавших за горизонт пашен и бивший в лицо ветер усиливали свежесть моих ассоциаций, и все это вместе с остротой современного восприятия прошлого, как ни странно, создавало уверенность, что моя исследовательская мысль — на верном пути»...

* * *

«...И снова — всхолмленные и пересеченные водороинами пространства, квадраты озимей и жнива, неотразимый блеск солнца над ними и безоблачная синева повсюду, куда только может досягнуть глаз.

Радищев — декабристы — Герцен, Огарев — вехи русской общественной мысли, поражающие своей неумолимо закономерной очередностью...

И снова — исследовательские раздумья: рабочие гипотезы, соображения, догадки — и желание как можно скорее все это записать...»

«Мысли на дороге»

«...Ну что ж, вопрос об авторе румынской записи на монастырском списке «Путешествия», мне кажется, разгадан с наибольшей вероятностью; во всяком случае, ничего более убедительного, чем кандидатура Н. А. Радищева, пока предложить нельзя.

Но есть еще вопрос — об Анне Ивановне Аргамаковой: что заставило эту «благодетельницу» Саровской пустыни совершить такой необычный для женщины ее времени, ее круга и положения поступок? Ведь Анна Аргамакова должна была понимать, какую берет она на себя ответственность! Что побудило ее сохранить черновики уничтоженной книги Радищева и затем, получив его рукопись особого состава текста, устроить ее переписку в монастыре?..

«Девица» Анна Ивановна отличалась религиозностью. Так, известно, что она бывала не только в Саровской пустыни, но и в ближайшей к ней Дивеевской обители, где подарила «пуховую подушечку» (видимо, своей работы) настоятельнице Агафье Мельгуновой[28]. Чтобы сделать то, что сделала для Александра Радищева Анна Ивановна Аргамакова, нужно было относиться к нему с особым расположением, быть убежденной, что он пострадал за правду и что правда эта изложена им в «Путешествии из Петербурга в Москву».

Так, должно быть, оно и было. Но кажется наиболее близким к

истине, что Анна Ивановна не только была исключительно хорошо расположена к А. Н. Радищеву и верила в правоту его, но и попросту его любила. И не чувством ли, которое эта женщина пронесла, быть может, почти через всю свою жизнь, объясняется то, что она не вышла замуж и осталась «девицей», по крайней мере по 1800 год включительно, как о том можно судить по записи на списке Саровского монастыря?

В этом списке, как уже ранее говорилось, помимо важнейших дополнений к известным главам и тексту «Вольности» издания 1790 года, имеется небольшая, библейского содержания, поэма «Творение мира». Ее скрытый смысл до самого последнего времени ускользал от внимания историков литературы, оставалась непонятной и причина, заставившая Радищева включить названную поэму в свою книгу сразу же после оды «Вольность», как бы продолжая ее последнюю строфу...

Анна Ивановна вряд ли могла правильно понять поэму «Творение мира», как не могла и оценить по достоинству революционно-обличительный пафос «Путешествия» в целом. Для нее, человека верующего, огромную притягательную силу должно было иметь внешнее качество книги — стиль, обычный для житийной литературы, ее проповеднический, церковно-назидательный тон. Поэтому не следует делать из Анны Ивановны единомышленницу Радищева. Вероятно, она была всего-навсего пленена возвышенной и, как ей казалось, религиозной тематикой отдельных мест «Путешествия», в особенности поэмы «Творение мира», и почти мученической судьбой ее автора, которого она, возможно, любила. А он ведь, помимо всего, был и очень хорош собой.

Сам он, разумеется, был далек от примитивной религиозности. Верный философскому духу века, он, видимо, признавал верховный Разум, то есть был деистом. Однако и в жизни и в своем литературном творчестве он иногда прибегал к религии как к форме, если с ее помощью можно было замаскировать и безопасно выразить революционную мысль.

Находясь в Петропавловской крепости, он пытался осуществить одну свою идею, которую, если судить поверхностно, можно было бы приписать верующему, но религиозность была здесь лишь внешней стороной дела. Сын А. Н. Радищева, Павел, в написанной им биографии отца по этому поводу сообщал:

«...в бытность свою в крепости он велел написать себе образ одного святого, вверженного в темницу за слишком смело говоренную истину, с надписью: «Блажени изгнани правды ради». Но портретный живописец, Михайло, крепостной его человек, которого кисть (по выражению И. И. Дмитриева) «всегда над смертными играла: Архипа Сидором, Кузьму Лукой писала», не умел исполнить [его, отца] мысли и написал четыре фигуры святых, просто стоящих рядом»[29]. Однако видеть в этом радищевском замысле наивное желание верующего было бы не-

правильно: можно ли называть таковым писателя, считавшего, что царская власть и вера «союзно общество гнетут»?

В литературе отмечалось, что, находясь под следствием, в ожидании приговора, Радищев «сделал все, что мог, чтобы облегчить свое наказание»[30]. В частности, сюда следует отнести его попытку внушить страшному начальнику Тайной экспедиции Шешковскому, известному своей набожностью, что он, Радищев, написал «Путешествие» побуждаемый исключительно христианским милосердием и сочувствием к крепостным. Эту мысль он выразил в небольшой рукописи — в пересказанном им (в промежутках между допросами) «Житии Филарета Милостивого», где биография святого переплеталась с его собственной. Возможно, что другой попыткой Радищева продемонстрировать свое мнимое религиозное простодушие была его мысль заказать для себя образ мученика, пострадавшего за правду; к сожалению, Павел Радищев не указал, какого именно святого имел в виду его отец.

Евангельским текстом надписи («Блажени изгнани правды ради»*) Радищев, несомненно, хотел отразить факт своего «изгнания», то есть ссылки в Сибирь. Это в свою очередь означает, что эпизод с заказом Радищевым образа имел место между 4 и 8 сентября 1790 года — после объявления ему указа о замене смертной казни ссылкой и до того, как ему под конвоем пришлось покинуть Петербург.

Но почему крепостной портретист написал четыре фигуры? Это, видимо, имеет связь с четырьмя днями, которые Радищев провел с момента своего осуждения до отъезда в ссылку: портретист Михайло, видимо зная об этих четырех днях, не знал, в какой именно день последовал указ о замене Радищеву смертной казни ссылкой, и, не сверясь с житийной литературой, написал четырех святых в ряд.

Думая над этим еще перед выездом из Саранска, я заглянул в известный труд архиепископа Филарета «Русские святые», составленный по месяцам. У меня была мысль: попытаться этим простейшим ходом вырвать из мрака еще одну деталь радищевской биографии, проверив имена мучеников, приходящиеся на первые дни сентября.

Оказалось, что в начале этого месяца, а именно 5 сентября, православная церковь чествует память брестского игумена Афанасия Филиповича, белоруса, смело выступавшего против введения унии и иезуитов и казненного (обезглавленного) ими за это в 1648 году. В биографической справке о нем говорилось, что он, «сын благородных и благочестивых родителей, получил в молодых годах высокое образование»; эти данные совпадали с данными о происхождении и воспитании Александра Радищева; совпадала с его характером и манера игумена Афанасия смело говорить правду, а то, что Афанасий был обезглавлен,

* Матф., V, 10.

прямо напоминало угрозу, висевшую полтора месяца над Радищевым, осужденным на казнь «через отсечение головы»...

Дело было, по всей вероятности, так: должно быть, 5 сентября Радищеву объявили указ о замене ему смертной казни ссылкой, и он, на протяжении шести недель, с момента объявления ему приговора, ожидавший смерти, решил по-радищевски — тонко и мудро — отметить этот возвративший его к жизни день.

Надо думать, что он прежде всего справился, какого «святого» чествует 5 сентября церковь, и потребовал себе в камеру книгу «Четьих миней», содержащую «жития святых». Для тюремного начальства проявление такого интереса к духовной литературе Радищевым в день его «помилования» должно было показаться вполне естественным. Впрочем, он мог и без этого быть знакомым с житием Афанасия Филиппо̀вича и знать день его памяти, так как Афанасий был патроном его, Радищева, деда по линии отца.

Затем был заказан образ; вероятно, Радищев хотел видеть «святого» держащим в руках свою отрубленную голову, как обычно изображались такие «усекновенные» мученики; очевидно, художнику надлежало отразить и страшную несвершившуюся судьбу писателя — его возможный конец на плахе — и действительную его участь — и з г н а н и е в Сибирь.

Совмещение Радищевым черт, взятых из житийной литературы, с собственными биографическими уже встречалось в пересказанном им до приговора «Житии Филарета Милостивого». Очень похоже, что, будучи «помилован», он повторил тот же прием: адресуясь к своему крепостному портретисту Михайле, Радищев, быть может, осторожно наталкивал его на мысль написать лик Афанасия похожим на свой собственный, радищевский. С точки зрения верующих, такую затею можно было счесть нескромной и дерзновенной, и, должно быть, сын писателя, Павел, не без основания упомянул о ней так глухо, намеком: дескать, крепостной Михайло, который обычно писал Архипа Сидором, а Кузьму Лукою, не понял и не смог воплотить мысль отца. Но Радищев был «вольнодумцем», а своей миссии первого писателя-революционера в России он — как увидим дальше — придавал исключительное значение. В трактате своем «О человеке, о его смертности и бессмертии» говорит он: «Иоган Гус издыхает во пламени, Галилей влечется в темницу, друг ваш в Илимск заточается»,— то есть ставит себя в один ряд с Гусом и Галилеем — величайшими мучениками культуры; значит, мог он поставить себя рядом и с малоизвестным белорусским святым.

Радищев не только в «Путешествии», но и почти во всех других своих произведениях широко применявший «эзоповский» стиль — иносказательность и маскировку, конечно, и в данном, не литературном случае, заказывая для себя образ, применил зашифрованный, таящий в

себе огромную силу, пропагандистский прием: по-видимому, поручая этот заказ крепостному, он хотел распространить в самых широких массах слух о себе как о страдальце за правду своей истребленной книги.

Но если он сам, из политических соображений, поддерживал в других мнение о себе как о мученике, то как же было не считать его мучеником верующей Анне Ивановне — женщине с простой и, видимо, наивной душой?..»

* * *

«...Уже осталось позади село Новое Синдрово; затем дорога, прорезая то густоовражистые, то лесостепные, то вовсе безлесные пространства, привела к Мордовским Полянкам, а за ними вскоре, изгибаясь за зеленым ковром поймы, блеснула Мокша и показался вдали Краснослободск.

В половине XVII столетия городок этот, называвшийся тогда Красною Слободою, имел значение царской житницы, или, как в те времена говорили, государева загородного двора. Населенный военными людьми — пушкарями, стрельцами — и в большом числе дворцовыми крестьянами, Краснослободск поставлял Москве зерновой хлеб, мед, сено, лошадей, свиней. Местный краевед Терехин писал в конце предыдущего века, что через город этот не проходит ни одна почтовая и ни одна большая дорога, а поэтому, откуда и куда бы человек ни ехал, Краснослободск всегда останется в стороне.

Но с тех пор положение изменилось: шоссе врезàлось теперь в базарную площадь районного центра Краснослободска с его старинным, окрашенным в розовый цвет собором, столовой райпо — двухэтажным каменным зданием, бывшей лавкой купцов Соловьевых, новыми деревянными домишками под зелеными железными крышами и яблоневыми садами за сквозящими палисадами, где с отягченных урожаем ветвей свисали мичуринские плоды.

В 1833 году А. С. Пушкин по дороге из Болдина заезжал в Краснослободск и останавливался в доме пензенского помещика Савостьянова; этот помещик сообщил Пушкину некоторые подробности о пребывании Пугачева в Саранске. Но возможно, что Савостьянов поведал поэту и о местных событиях 1773 года, ибо в Краснослободске тоже побывал Пугачев...»

* * *

«...Обед в столовой райпо с Беззубовым и Федором. Разноголосый шум беседы трактористов, бригадиров и заготовителей. Я пытаюсь записать свои дорожные мысли, примостившись с краю стола.

После обеда — посещение местной библиотеки. Как и следовало ожидать — никаких следов рукописей Саровской пустыни. Заведующая библиотекой посоветовала мне расспросить старожилов, дала несколько адресов. Но местные жители не сказали мне ничего интересного. Один из них — бывший учитель — искренне удивился вопросу и, видимо, даже не совсем хорошо понял, о чем его спрашивают; двое же других — дюжие, лабазного типа краснослободцы — явно насторожились, причем искорки не то какой-то боязни, не то плохо скрытого недоброжелательства промелькнули в их глазах...»

* * *

«...Около трех часов все еще великолепного дня покинули Краснослободск и сразу же оказались на черноземной проселочной дороге.

Беззубов заметил:

— Здесь, если дождь пойдет, не выберемся — так развезет...

Удивительным было ощущение равнинной плоскости полей, пересекаемой автомашиной, и одновременно — высоты, на которой эта плоскость залегла. Небо сделалось низким; до горизонта — рукой подать; и от этого низкого неба и мнимой ограниченности пространства последнее тепло лета казалось не чем иным, как стесненным дыханием земли...»

* * *

«...Промелькнули Селищи — порядок изб с высокими, крытыми соломой, крышами и обелиском над могилой декабриста А. В. Веденяпина; остались позади Тарханы, только не лермонтовские, чембарские, а темниковские; и вот уже до Темникова — цели нашего путешествия — всего километров двадцать пути...»

* * *

«...Кондровка с ее картонной фабрикой промелькнула на берегу суровой, петлявшей в низких сиротских берегах Мокши. За нею — снова пологая возвышенность с рыжими аккуратными пашнями, а на горизонте узкой черно-синей полоской залег лес.

Но вот с одного из холмов открылась где-то в низине колокольня, затем пропала, вскоре возникла снова и осталась маячить. Несколько минут спустя показался районный центр Темников. Мы прорéзали его окраину и, не заезжая в город, направились в объезд, по бездорожью, в деревню Алексеевку, чтобы поспеть до сумерек в соседний с нею Санаксарский монастырь.

Алексеевка. В самой большой и ладной избе — правление колхоза имени адмирала Ушакова. Адмиральский дом не сохранился в деревне. Широкую улицу стерегли редкие сосны; их становилось все больше и больше по мере приближения к излучине Мокши, и уже целый лес молодых сосен прикрывал стены монастыря.

Массивные кирпичные вереи ворот вели в укромное, дышащее тишиной пространство, замкнутое белым прямоугольником монастырских корпусов. Их верхние (вторые) этажи под двускатными кровлями уже розовели в лучах заката. В глубине этого прямоугольника — творение одного из учеников Растрелли, весь в молниях трещин, стоял собор. У северной его стены, за чугунной оградой,— могила адмирала Ушакова и памятник из темно-серого гранита с бюстом адмирала работы М. М. Герасимова. Поблизости от ограды толпились воспитанники училища механизации сельского хозяйства, помещавшегося в бывших кельях и покоях монастыря.

Я смотрел на гордое, словно подставленное морскому ветру, лицо Ушакова и думал о том, что̀ именно заставило его и основателя этого монастыря, его дядю Ивана, уроженцев Борисоглебского уезда, Ярославской губернии, провести здесь, вблизи Санаксарского монастыря и в нем самом, остаток своих дней? Должно быть, и впрямь существовали какие-то еще неизвестные мне узы родства, связывавшие Ушаковых ярославских с Ушаковыми нижегородскими, а этих последних с Аргамаковыми и Радищевыми... Внезапно домовитый и вкусный запах свежевыпеченного хлеба хлынул из раскрывшихся вблизи дверей.

В полуподвальном помещении напротив находилась колхозная пекарня. О ней рассказывал мне в Саранске краевед Ануфриев. Это здесь он видел чугунную столешницу с какою-то надписью... В сопровождении Беззубова я переступил порог пекарни. Юные «механизаторы» с любопытством двинулись за нами вслед.

На выскобленных и чисто вымытых столах была насыпана мука, валялись обрывки и комья нераскатанного теста и громоздились румяные «кирпичи» белого хлеба, только что вынутого из печи. Я проверил все столы: столешницы были у них деревянные, чугунной — ни одной. Затем взгляд мой, скользнув по печной громаде, остановился на чугунном, отполированном временем шестке. Его размеры — примерно 180×45 см.— мгновенно заронили во мне подозрение, что это могильная плита. «А ведь может статься,— подумал я,— что на ней имеется эпитафия, разъясняющая что-либо из жизни и родословия Ушаковых. Это, вероятно, и есть та столешница, о которой говорил Ануфриев; только тогда она была частью стола, а потом из нее, должно быть, сделали шесток». Я подошел к печи вплотную, отыскал место, где вдоль шестка отвалился кусочек глины, и на мгновение, несмотря на то что было горячо, просунул палец под плиту. С исподней ее стороны ощу-

щались четкие, выпуклые буквы. Я сказал Беззубову, что мне необходимо прочесть эту надпись. Он вышел из пекарни и вскоре вернулся с колхозным сторожем — коренастым, бородатым стариком, опиравшимся на железную клюку. Старик открыл заслонку: куски малинового жара шевелились в печи с едва слышным шелестом и журчанием, и над ними, как бы перелетая по воздуху, вспыхивали колдовские синие огоньки. «Полна коробушка золотых воробушков! — сказал старик и поворошил малиновый жар клюкою.— Горяч еще шесток-то... Ну, ничего... Тащите ломы!..» Два шустрых паренька принесли по лому, легко поддели шесток ломами, высадили его из гнезд и тихо опустили на земляной пол. Оборотная сторона плиты была покрыта серым слоем еще горячего пепла. Старик смахнул его кожаной рукавицей, и глазам нашим открылась выполненная церковнославянскими литерами надпись, какой я отнюдь не ожидал:

Против дома сего
погребены в едином гробе
художеством золотари

ИВАН КРАСНОЩЕКОВ, ИВАН ХАРЛАМОВ

1779 года

«Золотарями» в старину назывались русские мастера, занимавшиеся позолотой дерева, в частности — иконостасов. Что случилось с этими двумя мастерами, очевидно умершими одновременно, быть может — даже в один и тот же день и час? Погибли они, упав с высоты на каменный пол с обвалившихся подмостьев? Или стали жертвой какого-то другого несчастного случая, о котором уже ничего невозможно узнать?.. Как бы то ни было, но имена этих двух безвестных русских мастеров-золотильщиков обнаружились только потому, что я не прошел мимо шестка колхозной пекарни. И хотя эпизод этот, казалось бы, не имел отношения к моему разысканию, он был осознан мною как поучительный, полный глубокого смысла урок: в исследовании не пренебрегать никакими второстепенными, побочными документальными материалами ни при каких обстоятельствах, никогда, не проходить мимо, как бы ни были сами по себе незначительны те или иные детали, встречающиеся на пути.

Последующие полчаса, проведенные в Санаксарском монастыре, также не прибавили ничего нового к тому, что я уже знал об Ушаковых; я не нашел там ни памятливых людей, ни каких-либо старинных рукописей, и все же у меня было чувство удовлетворенности потому, что проверки ради я не прошел мимо, а обследовал этот монастырь...»

* * *

«...Темников, куда мы возвратились тем же путем (через деревню Алексеевку), подобно Краснослободску, прижимался к Мокше, к ее сиротским песчаным, низким берегам.

Городок этот с его деревянными домами, дощатыми тротуарами и строгой архитектуры собором XVIII столетия был единственным крупным населенным пунктом, расположенным сравнительно недалеко (в 40 с лишним километрах) от бывшего Саровского монастыря.

Здесь, в этом городке, я надеялся проверить путем опроса местного населения, не лежат ли у кого-либо из старожилов в сундуках или на полках саровские рукописи, среди которых (конечно, это было маловероятно, но все-таки не невозможно) могли оказаться и список поэмы «Творение мира», и протограф всего «Путешествия из Петербурга в Москву».

Выбравшись каким-то косым переулком на площадь, я не мог не вспомнить, что около трехсот лет назад на ней была сожжена царским воеводой героическая женщина — старица Алёна, крестьянская дочь, родом из-под Арзамаса, при приближении Разина переодевшаяся в мужскую одежду и возглавившая отряд из восставших крестьян.

Вспомнилась и другая замечательная личность — Иван Александрович Худяков, последователь революционных демократов, приезжавший в Темников собирать в окрестностях его пословицы, сказки и предания. В 1865 году Худяков ездил в Лондон для установления связи с Бакуниным, Герценом и Огаревым, и первое известие о возникшем тогда Международном товариществе рабочих проникло в Россию через него... [31]

В ясном вечернем небе уже низко стоял багровый круг солнца, когда я входил в подъезд Темниковского краеведческого музея; при этом я успел заметить, что у края земли, на западе, появилась узкая, свинцово-синяя полоса.

В полупустом зале музея на столике у окна стоял под стеклом отлично сделанный макет Саровской пустыни — самого крупного церковного феодала в окру́ге, владевшего двадцатью с лишним тысячами десятин земли.

А в книжном шкафу у того же окна оказалось десятка два книг из интересовавшей меня монастырской библиотеки; но все это были книги печатные, рукописных же — ни одной...»

* * *

«...В этом маленьком городке было очень много школ — средних, семилетних, начальных, даже спортивная и музыкальная школа — и целых шесть библиотек.

Я направился в самую большую из них — библиотеку Учительского института. Заведующая библиотекой, выслушав меня, сказала, что в городских книгохранилищах никаких рукописей Саровской пустыни не имеется, но таковые — по слухам — хранятся в Темникове у некоторых частных лиц.

Одетая в пестренький ситец, миловидная средних лет женщина смотрела на меня внимательными васильковыми глазами; светлый венец кос был уложен вокруг ее головы.

— Советую вам,— сказала она, немного подумав,— поговорить об этом с местным краеведом Чернухиным...

Тут мою собеседницу вызвали по какому-то делу в соседнюю комнату, а я, оставшись один, стал приглядываться к присутствующим. Внимание мое привлек сухощавый, благообразный, очень загорелый старичок, стоявший с пачкой книг у окна. Белый полотняный костюм подчеркивал степень его загара. Его книги были перевязаны шпагатом и, как следовало полагать, предназначались к сдаче; но один небольшого формата томик старичок держал в другой руке отдельно и, видимо, не собирался сдавать. Старая брезентовая сумка была надета у него через плечо; из нее торчали большие, садовые ножницы и листья какого-то растения. Фигура старичка четко выделялась на фоне пылавшего в окне заката, багрянец и недобрая синева которого уже явно предвещали дождь. Он взглянул на меня сквозь толстые стекла своих никелированных очков умными, блестящими, как у ребенка, угольно-черными глазами.

— Вы, кажется, из Москвы? — обратился он ко мне.

Я утвердительно кивнул головою, и он продолжал приятным, звучным голосом:

— Я тоже недавно туда ездил. Не нравится мне у вас.

— Отчего же не нравится?

— То есть, что говорить, хорошего, конечно, много. Но, видите ли, я — ученый цветовод. Живу сейчас в Темникове, у дочери, на покое — в саду копаюсь, Герцена и Огарева читаю... Так вот, видите ли, у вас в Москве к цветам не подступишься — дóроги! А советский человек должен радоваться; что-что, а цветы должны быть у нас нипочем!..

Произнеся это, «ученый цветовод» быстро двинулся вперед, так как подошла его очередь на сдачу литературы по внешнему абонементу, и, положив на подоконник бывший в его левой руке томик, стал развязывать свою пачку книг.

Я подумал, что надо же было мне заехать в глухой городок Темников, чтобы услышать такое верное, хотя и глубоко наивное, соображение!.. Тут в поле моего зрения попал положенный на подоконник то-

мик; на корешке его было вытиснено: «Н. П. Огарев». Полоска плотного белого картона, заложенная между страниц книги, заставила ее раскрыться. Взгляд мой невольно потянулся к подчеркнутым карандашом, знакомым строкам, и я прочел:

«...Красота женщины, колыхание моря, любовь и ненависть, философское раздумье, тоска Петрарки, подвиг Брута, восторг Галилея перед великим открытием и чувство, внесенное в скромный труд Оуэна,— все это составляет для человека поэтическое отношение к жизни...»[32]

«Да! — воскликнул я мысленно.— О книге, которая хотя бы в малой мере соответствовала такому эпиграфу, можно и должно мечтать!..»

* * *

«...Почти в каждом районном центре необъятной нашей России проживает какой-нибудь скромный, любознательный и несоответственно районным масштабам просвещенный местный житель, именуемый краеведом, действительно знающий и беззаветно любящий свой край.

Таким знатоком своего края оказался в Темникове Александр Александрович Чернухин, человек сравнительно молодой, поджарый, чуть горбоносый, очень сдержанный в словах и движениях, то и дело устремлявший на меня выжидательный взгляд.

Я познакомился с ним в библиотеке. Идя вдоль площади, удаляясь от Учительского института, мы беседовали, в равной мере заинтересованные друг другом. Зная, что моему перу принадлежит книга об адмирале Ушакове, Чернухин сообщал о нем такие, чисто темниковские, сведения, каких я не знал. Так, например, оказалось, что умер Ушаков не в деревне Алексеевке, как обычно утверждается в литературе, а в Темникове, в собственном доме, приобретенном им незадолго до смерти; оттуда, после отпевания в городском соборе, понесли его в Санаксарский монастырь, причем впереди процессии, по местному обычаю, разбрасывали рожь. Интересно было и другое сообщение моего спутника: по его словам, в Темникове до самого последнего времени существовала, переходя из рук в руки, карта Ионических островов; принадлежала она, видимо, адмиралу Ушакову и являлась исторической, так как он должен был пользоваться ею, освобождая от французов захваченные ими острова.

Все это было любопытно, но меня гораздо больше интересовало другое, и я, улучив момент, спросил Чернухина: нет ли у кого-либо в Темникове рукописей из Саровской пустыни? Он ответил на мой вопрос утвердительно и тотчас же назвал несколько фамилий и адресов...»

* * *

«...Но все они, кого я посетил в этот сентябрьский темниковский вечер, — состарившиеся в уездной, а затем в районной глухомани люди, мужчины и женщины, бывшие торгаши и церковники, сохранившие религиозные предрассудки, — все они, словно сговорившись, давали один и тот же ответ: «Рукописи из Сарова?.. Нет, не видали и не слыхали...» Была здесь та же настороженность, что и у «лабазников» в Краснослободске, та же во взглядах боязнь и такое же скрытое недоброжелательство; как будто говорили мне: «Знаем мы вас: вам только покажи рукопись — привяжетесь, да еще, чего доброго, отвечай». При всем том они были отменно любезны, то есть играли свою роль отлично, хотя и не могли утаить ни любопытства — зачем мне понадобились монастырские рукописи, ни явного надо мной превосходства, ибо весь их вид говорил, что они, быть может, кое-чем и владеют, но об этом мне не узнать.

С чувством досады и незаслуженной горькой обиды брел я берегом Мокши, направляясь к гостинице, где меня должны были ждать Беззубов и Федор. Надвигались сумерки. Река текла в низких берегах. Я находился в низине, и от этого наползавшие с запада и бывшие теперь уже вполнеба аспидного цвета тучи казались горным хребтом ужасающей высоты...»

* * *

«...Гостиница, вернее — темниковский Дом колхозника; небольшая опрятная комната с тремя кроватями; пахнет сырой, непросохшей штукатуркой: только что побелены стены и потолок.

Могуче раскинувшийся на кровати Беззубов, выслушав мой рассказ о безрезультатных беседах с местными жителями, произнес с сокрушением:

— И как им не стыдно в глаза смотреть и врать!..

— Наволчились... — отозвался укладывавшийся спать Федор, не то оговорившись, не то просто ввернув удачное словцо, в данном случае более выразительное, чем обычное «наловчились». — Ну, давайте ночь делить: кому больше достанется, — добавил он, зевая, повернулся на бок и, как мне показалось, тотчас же заснул.

Его примеру вскоре последовал и Беззубов.

Я же долго лежал с открытыми глазами, задремывал и просыпался снова; в четвертом часу утра меня разбудил монотонный, слитный шум за окнами: казалось, несметная армия крохотных человечков топотала по мягкой, пыльной дороге. Похожий на сумерки рассвет был скрыт белесой пеленою: шел дождь...»

* * *

«Случилось то, чего мы больше всего боялись: нас застигло в Темникове ненастье, и дорога с минуты на минуту могла стать непроезжей. Поэтому, как только дождь немного унялся, Федор наладил «Победу». Чернухин пришел проводить нас, и я взял с него слово, что, если у когонибудь из местных жителей окажется рукопись «Творения мира» или «Путешествия» Радищева, он немедленно мне сообщит...»

* * *

«...Машина плохо слушалась руля; неведомая сила ставила ее поперек шоссе или тащила в обочину; то и дело приходилось съезжать на пашню и ехать «сторонкой». Федор часто выходил из кабины и брел по грязи, высматривая на добрый километр вперед дорогу, затем возвращался и занимал свое место, предварительно обмыв в дождевой луже передки и голенища щегольских своих сапог.

За Селищами стало разведриваться. Но едва я успел вслух этому порадоваться, как Федор заметил: «Да не, глядите, какая туча́ заходит!» — и показал куда-то вдаль рукою, словно нацелился кнутовищем на лошаденку. Тут машина вильнула; он с силой выровнял ее и затем, пригнувшись к рулю, произнес ласковым шепотом: «Но, машинка, не балу́й!».

* * *

«...В полдень — Краснослободск. Поиски горючего, заправка и смена баллона. Когда выехали из города, поля накрыло частой сетью дождя.

До самого вечера медленно, с великим трудом, тащились по раскисшему грунту, а когда смерклось, угодили в колдобину и прочно застряли. Беззубов решил «покориться судьбе» и стал готовиться к ночлегу, а Федор вылез из кабины и уверенно шагнул в темноту.

Дождь то стихал, то начинал идти с какою-то человеческой, одушевленной поспешностью. И мне, в ожидании дальнейшего разворота событий, не осталось ничего другого, как предаться размышлениям о путешествии, которое я завершал...»

«Мысли на дороге»

«...Как же следует оценить эту мою поездку в Темников? Ведь она ничего не дала для моего разыскания! И уж конечно сомнительно — нужно ли об этой поездке писать?»

Такие вопросы задавал я себе, сидя в застрявшей среди темного поля машине, с завистью следя за фарами грузовиков, проползавших мимо, и тут же на собственные вопросы отвечал: «Да разве можно сказать,

что это моя «археографическая экспедиция» ничего не дала мне, хотя ни в Темникове, ни в других населенных пунктах я действительно никаких рукописей на нашел? Ведь ближайшая к Саровскому монастырю территория — насколько позволяли мои возможности — оказалась обследована мною, а это, независимо от результатов, был мой прямой долг. Кроме того, я получил живое представление об «историко-культурном пейзаже» местности, с которою в XVIII веке были связаны Аргамаковы и Радищевы. И кто знает, может быть, только благодаря непосредственному соприкосновению с этим «пейзажем» некоторые важные вопросы моей работы удалось впервые как следует продумать и с большой вероятностью решить. И затем — самое главное: во время этой поездки я понял, почему удалось мне приоткрыть радищевскую тайну и что нужно предпринять для полного ее раскрытия. «Я искал,— сказал я себе,— и впредь должен искать там, где уже все искали, и там, где еще не искал никто».

Но тут я подумал: как же мало мы знаем о нашем прошлом, если всего каких-нибудь сто шестьдесят лет отделяет нас от Радищева, от интересующего нас момента его биографии, а этот момент и все сопутствовавшие ему условия и обстоятельства уже превратились в тайну, в нечто подспудное, затерявшееся в неведомой глубине!

И мне вспомнилась притча о могучей силе забвения и о бессилии человеческой памяти, написанная в фантастической манере арабским космографом XIII века ал-Казвини́.

Случилось ему побывать, рассказывает он, в одном цветущем, многолюдном городе. Город был очень древний, и времени основания его никто из жителей не знал... Спустя пятьсот лет ал-Казвини посетил те же края и не нашел там ни малейших следов прежней жизни; крестьяне косили на месте древней столицы траву. «Давно ли разрушен город?» — спросил путник крестьянина и услышал: «Дивный вопрос предлагаешь ты мне, старик! Эта земля никогда не отличалась от той, какою ты теперь ее видишь. Никогда никаких городов здесь не бывало, и нам ничего не говорили о том ни деды наши, ни отцы...» Прошло еще пятьсот лет, и путник, возвратившийся снова на то же место, увидел там море. «Давно ли земля ваша покрылась водою?» — спросил он у рыбаков и в ответ услышал: «Странный вопрос задаешь ты нам, старец! Да место это никогда не было иным!..» Потом высохло море — выпила его пустыня, а затем в сердце ее зазеленел небольшой оазис. А когда в последний раз наведался туда ал-Казвини, увидел он снова громадный цветущий город; жители его с гордостью и самодовольством говорили: «Начало нашего города теряется в глубокой древности, и не только мы сами не знаем, как давно он существует, но и предки наши ровно ничего не знали о том...»

— Что ж, — сказал я шепотом самому себе, — грустная притча!..

Но исследовательская проницательность нашего времени обязывает нас поспорить с древним космографом и попытаться отвоевать у непостижимого прошлого кое-какую его часть...»

* * *

«...Федор неожиданно вынырнул из темноты, и притом — не один, а со спутником, оказавшимся капитаном милиции, которого он бог весть как высмотрел на шоссе. Вдвоем они быстро нашли выход и после недолгих усилий вызволили машину из ямы. Вскоре — вчетвером, с направлявшимся в Саранск капитаном, — мы оказались на сносной дороге — глинистом, с примесью щебня, грунте, прикрытом слоем дождевой воды.

«Победа» шла, как торпедный катер, разрезая затопившие дорогу воды. Дождь утихал. В десятом часу вечера на нас надвинулись рубиновые огни Саранской радиостанции, а затем и цепь городских огней.

Без четверти десять Федор затормозил у подъезда гостиницы. Я вышел из кабины, глотнул холодный, сырой воздух, и ноги мои заскользили по тротуару: он был сплошь усеян мокрыми, срезанными дождем и ветром листьями. Лето кончилось. Завтра — осенний рабочий день...»

3

Еще три дня работы в Саранском архиве позволили выявить важный дополнительный материал.

В первый же по возвращении из поездки день занятий был обнаружен документ очень странного содержания, являющийся указом Тамбовской духовной консистории «строителю» (игумену) Саровской пустыни, иеромонаху Исайе; указ этот пересказывал полученное консисторией предписание епископа Тамбовского и Шацкого Феофила в следующих тревожных словах:

«...потребно нам некоторые сведения получить необходимо от казначея Саровския пустыни иеромонаха Киприана, того ради консистории отнюдь не медля, по первой почте послать указ — повелеть помянутого казначея по получении [сего] того же дня выслать при репорте в Тамбов непременно, не приемля никаких отговорок ни от него, ни монастырю во отпуск его не ставить никакого препятствия в резон. И для того сия консистория приказали: тебе, строителю, послать указ и велеть казначея по получении сего тотчас выслать в консисторию»[33].

Документ этот датирован 17 сентября 1800 года; лицом, поставившим под ним свою подпись первым, был архимандрит Козловского монастыря Варлаам.

Тон предписания был необычный; сразу же настораживали отдельные слова и выражения: «некоторые сведения», «необходимо», «отнюдь

не медля», «по первой почте», «непременно», «не приемля никаких отговорок», «тотчас». Указ Тамбовской духовной консистории свидетельствовал о том, что в Саровской пустыни в 1800 году произошло какое-то чрезвычайное происшествие, связанное с казначеем Киприаном и требовавшее самого срочного расследования, причем дело это было настолько секретным и важным, что епископ не счел нужным раскрыть его сущность в указе настоятелю монастыря.

Архимандрит Варлаам, первым поставивший свою подпись под консисторской бумагой, был особо доверенным лицом епископа, что также указывает на важность события. А дата документа — 17 сентября 1800 года — ведет к догадке, которую иначе, как наиболее вероятной, назвать нельзя.

В румынской записи на монастырском списке «Путешествия» говорится, что рукопись эта подарена неизвестному «девицей Аннушкой» и казначеем Киприаном в 1800 году.

«Девица Аннушка», как удалось выяснить, оказалась Анной Ивановной Аргамаковой. По состоянию местных дорог самым удобным временем года для посещения Саровской пустыни Аргамаковыми и Радищевыми было лето или ранняя осень — до наступления затяжных дождей.

Таким образом, если список «Путешествия» был вручен заказавшему его лицу в июле или августе 1800 года, само собой напрашивается предположение, что именно это из ряда вон выходящее событие монастырской жизни спустя какой-нибудь месяц с лишним вызвало известное нам предписание епископа Феофила и указ Тамбовской духовной консистории от 17 сентября.

Такое предположение обязывало к поискам дополнительных материалов, которые могли бы пролить свет на эту новую загадку.

В первой описи фонда № 1 значилась связка писем епископа Феофила к «строителю» Саровской пустыни Исайе. Однако, прежде чем просмотреть их, следовало ознакомиться с биографией Феофила, — кстати сказать, того самого, что в бытность свою ректором Новгородской семинарии написал трактат, осуждающий послушника-гусляра. Нужные сведения проще всего было поискать в «Русском биографическом словаре» — справочном издании Русского исторического общества. Заметка о епископе Феофиле оказалась напечатанной в одном из его томов [34]. В ней сообщалось, что в архиве Саровской пустыни хранится 266 писем епископа и что на их основе написана помещенная в 1911 году в «Тамбовских епархиальных ведомостях» статья «Преосвященный Феофил (Раев) и тамбовское монашество». Пришлось тотчас же достать комплект «Тамбовских епархиальных ведомостей» и ознакомиться с этой статьей.

Затем были просмотрены хранящиеся в Саранском архиве письма

епископа Феофила. По прочтении их выяснилось, что в напечатанной в 1911 году статье использованы далеко не все эти письма; с другой стороны, в архивной связке недостает некоторых писем, цитируемых автором статьи из «Тамбовских епархиальных ведомостей». Поэтому пришлось сделать выписки из обоих источников — архивного и печатного.

«...в жизни и такие случаи бывают, — признавался Феофил в одном из своих писем игумену Исайе, — каковых иногда на бумаге и писать нельзя» [35].

Фраза эта как нельзя более подходит к занимающему нас эпизоду и, возможно, к нему и относится. Как бы то ни было, но суть загадочного эпизода держалась в строжайшей тайне, и в приводимых ниже отрывках из писем епископа, касающихся проступка Киприана, о деле этом, кроме намеков, не содержится ничего.

Феофил — Исайе

1800 г.
8 октября

«...вы пишете, чтобы не требовать Киприана, но сего никак учинить неможно, ибо его отношение такого рода, что никак отменить его неможно, и вы его наискорее отправьте в Тамбов; говорю вам: не ужасаться ничего, мы будем стараться благоразумно и кротко все решить; вот вам на целый век наука и примечание...» [36]

Из этих строк видно, что игумен Исайя не хотел «высылать» в Тамбов Киприана, «ужасаясь» того, что на казначея «заведут дело» и оно получит огласку, а это грозило личной ответственностью и «строителю» за происшествие в пустыни. Не намерен был раздувать его и епископ, потому и обещавший «благоразумно и кротко все решить».

Феофил — Исайе

1800 г.
(Очевидно, середина или конец октября)

«...как я прежде обещал вам, так и совершить намерен, чтобы по спросу у казначея отца Киприана покрыть случай ваш духом кротости моея в такой надежде, что вы непременно постараетесь общими силами не навлекать на святую обитель таких и подобных пороков...

...я казначея возвращаю вам...» [37]

Письма епископа Феофила и указ Тамбовской духовной консистории о высылке к допросу казначея Киприана осенью 1800 года очень похожи на отголоски д е л а о переписке в Саровской пустыни «Путешествия из Петербурга в Москву».

Кто же донес или мог донести об этом епископу? Таким доносите-

лем мог оказаться и кто-либо из монахов и какой-нибудь богомолец-помещик, побывавший в Сарове и оттуда проехавший в Тамбов. Подходящей для этой роли фигурой являлся, между прочим, крепостник-книголюб М. Ф. Каменский — тот, который служил в Молдавии, видимо, понимал по-румынски и впоследствии был убит в лесу своим крепостным. Каменский в 1783—1785 годах был рязанским и тамбовским генерал-губернатором и позднее, по сохранившейся с этими местами связи, неоднократно посещал Тамбов. Епископ Феофил писал о нем игумену Исайе весной того же 1800 года: «Бывши в Тамбове в проезд свой сего марта 20 дня, посетил меня, старца, в моей келье граф и генерал-фельдмаршал господин Каменский и, будучи у меня, весьма приятно отзывался о вашей ласковости, явленной ему в приезд во обители вашей...» [38] Каменский навестил пустынь в марте и, конечно, мог вторично навестить ее в сентябре.

Но, разумеется, донести епископу на Киприана могли и другие лица, обычно занимавшиеся подобного рода делом и, в частности, доносившие на него самого. Так, в Синод поступали от неизвестных лиц сведения о попустительстве Феофила Саровской пустыни, где неизменно превышались разрешенные законом штаты: ей было положено иметь только тридцать иноков, а количество их к концу XVIII века дошло до двухсот. При этом закон обходился с помощью незамысловатой хитрости: многие «монашествующие» показывались в ведомостях временно проживающими в пустыни, и некоторые из них действительно проживали там временно, переходя из одной обители в другую. «Бога ради, — писал в Саров об этих кочующих иноках Феофил, — не принимать бродяг: от них можно беду нажить» [39]. Но именно такой «бродяга» мог сделать известную нам румынскую запись и вскоре затем покинуть пустынь, — не этим ли и объясняется отсутствие в монастырском архиве почерка его руки?..

До нас дошли установления, введенные в Тамбовской епархии епископом Феофилом: консистории было предписано без экстрактов, то есть кратких записок, никаких важных дел не решать; дела же о проступках священнослужителей оканчивать незамедлительно; для этого консистории была дана особая форма, по которой «виновный собственноручно свидетельствовал признание в своем проступке» [40]. Мы не знаем, был ли Киприан допрошен устно или давал свои показания письменно; во всяком случае (как это стало ясно позднее), ни в фонде Тамбовской духовной консистории, ни в фонде Синода такого письменного показания обнаружить не удалось.

Скорее всего, оба они — и «строитель» пустыни и епископ — не рискнули доверить данный случай бумаге и, не желая нести за него ответственность, если слух об этом деле выйдет за пределы епархии, отнюдь не склонны были его разглашать.

Надо думать, что здесь-то и скрыта причина, почему Феофил, который обычно «порочных монахов не щадил и наказывал без милосердия»[41], так милостиво обошелся с Киприаном, покрыв его «грех» «духом кротости» своей.

По возвращении из Тамбова Киприан формально еще оставался казначеем, но с января 1801 года уже был отстранен от этой должности: в приходных и расходных книгах Саровской пустыни за 1801—1802 годы подпись его исчезает и появляются подписи других лиц[42].

В 1802 году Киприан отправляется в Петербург в качестве поверенного пустыни — наблюдать за ходом дела о спорных монастырских землях; спустя два года дело это решается, но Киприана в Саров больше не возвращают, и он остается жить в Александро-Невской лавре, где и умирает в 1806 году[43]. «Жил 48 л. 4 месяца», — сообщает о нем «Петербургский некрополь», воспроизводя надпись, сделанную на могильном камне Лазаревского кладбища[44]. Дата смерти казначея Киприана была обнаружена также в записи, внесенной в «Дневник-летопись Саровского монастыря».

Запись о смерти его помещена на 132-м листе этой рукописи. А на обороте листа 148-го оказалась другая запись: «22 декабря 1806 года скончалась благотворительница нашей обители Анна Ивановна Аргамакова в Москве и погребена в Новодевичьем монастыре»[45].

Нельзя было преувеличить значение этой найденной в архиве детали, так как, если до сих пор приходилось все время останавливаться перед запертою дверью тайны, обнаруженная деталь являлась ключом, который мог бы эту дверь открыть.

Зная дату смерти Анны Ивановны и место ее погребения, можно было, отыскав в Московском областном архиве метрическую книгу с записью о ее кончине, выяснить, в чьем доме и где именно она умерла. А определив московский адрес А. И. Аргамаковой и — тем самым — какого прихода числилась она прихожанкой, было уже нетрудно найти исповедную книгу и в ней — подробный перечень окружавших ее лиц.

Все это имело важнейшее значение потому, что Анна Ивановна, владевшая подлинником или оригиналом «Путешествия» особого состава текста, могла и не оставить его на хранение в пустыни, а увезти рукопись с собой. А за шесть последующих лет, прожитых ею, разве не могла она поручить кому-либо из близких ее друзей или родственников изготовление второго, а быть может, и еще нескольких списков с протографа, видимо, находившегося в ее руках?..

Собственно говоря, о втором списке особого состава текста, обозначаемом исследователями литерой «В», проданном в 1939 году Г. И. Сафроновым Государственному литературному музею, можно было предположить, что он также изготовлен с рукописи Анны Ивановны.

Но история этого списка еще не была выяснена. Поэтому пришлось вернуться к «таблице предвидений» и внести в одну из ее клеток догадку, что с оригинала А. И. Аргамаковой, возможно, был сделан не один, а несколько списков.

Дверь вполне могла приоткрыться в таком именно направлении. Оставалось лишь проверить это в Москве.

4

И вот опять — непомерная толща стен Новоспасского монастыря над Москвой-рекою, старинная роспись стен в хранилище, тусклое золото иконостасов, заставленные связками дел стеллажи в алтаре и в приделах храма — Московский исторический областной архив.

В Ленинград и Тамбов посланы запросы: нет ли в фондах Синода или Тамбовской духовной консистории де́ла о казначее Киприане? А пока архивисты на местах пытались на эти запросы ответить, разыскание шло своим чередом — под монастырскими сводами продолжал разматываться клубок.

Прежде всего были обследованы метрические книги Пречистенского со́рока церквей за 1806 год. Так как в «Дневнике-летописи» Саровской пустыни значилось, что Анна Ивановна Аргамакова умерла в Москве в декабре 1806 года и была погребена в Новодевичьем монастыре, можно было почти безошибочно предположить, что метрическую книгу с записью о ее кончине следует искать среди книг того со́рока, к которому относился этот монастырь.

Так оно и оказалось: в толстом томе, переплетенном в доски и обтянутом грубой холстиной, среди метрических книг церквей Пречистенского со́рока 1806 года была обнаружена следующая запись, сделанная в метрической книге Зачатьевского девичьего монастыря:

> «В декабре 22 числа
> в доме надворной советницы Прасковьи Александровны Ушаковой умре по христианской должности * полковническая дочь девица Анна Ивановна Аргамакова, которой от роду было 53 года...» [46]

Эта короткая запись вызывала ряд соображений, возникавших при чтении ее одно за другим.

Во-первых, было крайне интересно и удивительно, что в материал исследования снова вторгалась тема Ушаковых. Земляки и свойственники Александра Радищева, не состояли ли они, кроме того, в каком-то родстве с автором «Путешествия»? Как бы то ни было, но тот факт, что

---

* По христианской должности — исполнив долг христианина.

Анна Ивановна умерла в доме П. А. Ушаковой, считать случайным, пожалуй, было нельзя.

Не менее интересным являлось и другое — то, что Прасковья Александровна Ушакова была лицом, известным в грибоедовской литературе: это о ней в воспоминаниях современников глухо говорилось, что дом ее — где-то недалеко от Зубовской площади — посещали грибоедовские родственники, а также, видимо, Настасья Федоровна Грибоедова и ее дети — Марья и ее впоследствии прославленный брат Александр [47].

Таким образом, всплывала опять тема Грибоедовых, сплетаясь с темой Ушаковых.

И, наконец, эта метрическая запись удостоверяла, что Анна Ивановна умерла «девицей»; и не потому ли она не вышла замуж, что любила человека, за которого не могла выйти, но чувство к которому сохранила до конца своих дней?

Метрическая запись, обнаруженная благодаря найденной в Саранском архиве монастырской летописи, выводила на новые поисковые тропы, открывала для разыскания новый простор.

Всякое исследование, в том числе историко-литературное, имеет свою логику. Запись о смерти Анны Ивановны оказалась в метрической книге Зачатьевского монастыря; это означало, что Анна Ивановна была его прихожанкой; следовательно, чтобы узнать, каково ее отношение к П. А. Ушаковой, в доме которой она скончалась, надо было заглянуть в исповедную книгу 1806 года названного монастыря.

Просмотр этой книги не дал ничего существенного — не позволил выявить каких-либо интересных по связям с А. И. Аргамаковой прихожан; удалось лишь выяснить, что Прасковье Александровне Ушаковой было в ту пору пятьдесят восемь лет и что она была вдовою; что же касается Анны Ивановны Аргамаковой, то она числилась в списке ее жильцов [48].

Оставалось невыясненным, почему Анна Ивановна, дочь богатых родителей, жила как жиличка в чужом доме; с какого времени она там поселилась и не имела ли до этого собственного дома в Москве; если же таковой был, следовало отыскать исповедную книгу того прихода, к которому данный дом относился, и по ней установить фамилии соседей А. И. Аргамаковой, проживавших в этом приходе, что могло представить непредвиденный интерес.

Вернее всего было думать, что она свой дом продала и уже после этого поселилась в доме Ушаковой, а так как всякая совершенная в Москве сделка регистрировалась в одном из городских судов, был предпринят в первую очередь просмотр описей этих фондов за 1790-е годы. Но никаких дел об А. И. Аргамаковой там не оказалось. Затем начался просмотр описей Московской управы благочиния. Этот в высшей степени пестрый по своему составу фонд поражал разнообразием входив-

ших в него документальных материалов: сведений о явках паспортов приезжавших в Москву лиц за разные годы, распоряжений о зажигании фонарей на улицах и бульварах, о содержании дворов в чистоте; то какая-нибудь купчиха «испрашивала дозволения» на постройку в своем дворе бани; то известный всему городу богач сообщал приметы сбежавшего от него дворового, а никому не ведомый стряпчий просил «дозволить» ему поставить в своем доме комедию; одно дело касалось запрета предпринимателю-иностранцу показывать «невидимку»; другое — «непредставления в театре соблазнительных пиес».

И вот из этой бытовой пестроты, из всего этого нескончаемого потока фактов, просьб, предписаний и жалоб, выглянуло наконец искомое, — казалось бы сухой документ хозяйственного значения, которому тем не менее пришлось сыграть в этом разыскании важную роль.

Вот эта деловая бумага:

«Подано июля 3 дня 1797 года Ведомства Московской управы благочиния в Экспедицию архитектурных дел.

Покойного коллежского советника Ивана Игнатьева сына Аргамакова от дочери ево девицы Анны Ивановны *.

Заявление

Имею я собственной свой дом, состоящей в Арбатцкой части в 4 квартале под № 530-м, в приходе Георгия Победоносца, что на Сполье **, доставшейся мне по купчей прошлого *** 1794 года от сестры моей родной секунд-майорши **** Марьи Розенбергши, в котором желаю вновь построить сарай, каретный анбар, два погреба и перенести на другое место канюшни с покрытием кровель тесом... к чему без позволения оной Экспедиции приступить не могу...» [49]

Под этим заявлением стояла собственноручная подпись просительницы, сделанная красивым, четким почерком.

Итак, выяснялось, что Анна Ивановна по крайней мере до середины 1797 года имела в Москве собственный дом и, очевидно, в нем проживала; в документе указывались: часть города, квартал, номер дома и церковный приход.

---

* Анна Ивановна именуется в приводимых документах то полковнической дочерью, то дочерью коллежского асессора, что явление обычное, так как в табели о рангах XVIII века эти чины были равнозначными для гражданских и военных лиц.

** Сполье — Всполье.

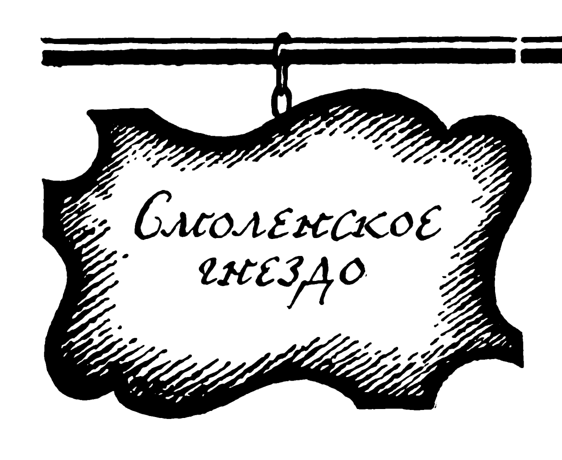
*** Прошлого — здесь — в смысле «прошедшего».

**** То есть жены секунд-майора.

О сестре А. И. Аргамаковой, Марье Ивановне, как уже говорилось ранее, встречались упоминания в книгах Вотчинной коллегии; но то, что она была замужем за «секунд-майором» Розенбергом, являлось для данного разыскания фактом новым и по некоторым причинам требующим доследования.

Дело в том, что в исповедных росписях церкви Георгия на Всполье (которые, конечно, немедленно были просмотрены) за 1794 год значился полковник Богдан Карлович Розенберг[50]; значился он и в росписях за другие, более ранние, годы, только в одних ведомостях он — с явным искажением — именовался Розенберером, а в других — Розенберхом, но всюду полковником; в связи с этим оставалось предположить, что либо этот Розенберг не был мужем Марьи Ивановны, либо Анна Ивановна или составлявший ее заявление стряпчий ошибочно назвали полковника «секунд-майором». Разрешить этот вопрос было крайне важно, ибо, если мужем Марьи Ивановны являлся полковник, заявление А. И. Аргамаковой в Московскую управу благочиния приобретало исключительный интерес.

К такому выводу приводило следующее соображение: сравнительно недавно московским архивистом Т. Г. Снытко были опубликованы новые данные по истории заговора против Павла I, организованного на Смоленщине в 1797 году; в этой статье о деятельности подпольного кружка Ермолова — Каховского между прочим сообщалось, что штаб-квартира заговорщиков находилась в Дорогобужском уезде, в селе Котлино, в доме, принадлежавшем, как и все это село, «вдове полковника Розенберга Марье Ивановне»[51]. Вряд ли можно было предположить, что одновременно существовали две Марьи Ивановны «Розенбергши» и что обе они были «полковницами»; к тому же такое неожиданное обстоятельство, уводившее нить поиска на Смоленщину, сближало две обособленные линии этого исследования (Андрея Николаевича Радищева и Анну Ивановну Аргамакову) и делало еще более интересной причину, заставившую Андрея Николаевича в начале 1790 года выехать из Москвы в Дорогобуж.



1

Из записной книжки автора



„...В центре Москвы, на Кузнецком мосту, 3, в подвальном этаже старого, буржуазной стройки, дома, помещается мало кому известный Городской исторический научно-технический архив (ГИНТА); состоит он в ведении Архитектурно-планировочного управления Мособлисполкома; «профиль» этого архива узок: здесь хранятся «паспорта» домов с начала второй половины XVIII века по 1917 год.

Тут можно найти и планы старинных, давно не существующих строений и чертежи выросших на их месте, более поздних зданий, а также узнать, кому они принадлежали в то или иное время. Материалы эти хранятся на стеллажах, вмещающих — по дореволюционному делению города — «полицейские части»; каждая полка — это «улица» или «переулок»; каждая папка на ней — отдельный «дом».

Имело смысл отыскать среди домов Пречистенской части тот, в котором умерла Анна Ивановна Аргамакова, а затем проверить, не сохранился ли он до нашего времени. Изданные в 1818 году «Алфавитные списки» московских домовладельцев помогли мне найти нужный дом.

Оказалось, что двор и строения Прасковьи Александровны Ушаковой находились в Ушаковском же переулке. Но адрес этот требовал уточнения, так как переулков с таким названием было в Москве начала XIX века три: 1-й Ушаковский, в настоящее время называемый Коробейниковым, 2-й — ставший теперь Хилковым — и 3-й — Турчаниновским. Пришлось перерыть дела, занимавшие две длинные полки, пока удалось найти план интересующего меня дома и установить, что его следует искать в нынешнем Хилковом переулке — бывшем 2-м Ушаковском; оказалось, что дом частично уцелел и существует под № 2.

О частичном сохранении этого дома приходится говорить потому, что от владения П. А. Ушаковой, состоявшего из двух деревянных и двух каменных жилых строений, из которых только одно двухэтажное каменное занимало площадь в «114$^{1}/_{4}$ кв. сажен» [1], осталась едва десятая часть.

Два удлиненных, арочного типа окна с разноцветным стеклом витражей выходят в убегающий в сторону реки переулок. Окна — на небольшой уцелевшей части фасада; со двора же — в каменной толще стены — пробиты два малых оконца, из которых, кажется, смотрит сама старина. Это и все, что осталось от дома XVIII века, застроенного неуклюжим позднейшим домом фабриканта Бутикова, словно навалившимся на старинный ушаковский дом.

Напротив него — остатки барской усадьбы и обширного сада, некогда спускавшегося к Москве-реке; уцелел громадный ампирный дом, в самое последнее время почему-то превращенный в здание современного архитектурного стиля; в этом доме в 1831 году бывал Пушкин — у знакомой Гончаровых, В. Я. Сольдан.

Удивительна плотность историко-культурного слоя в этом маленьком квадрате «Сен-Жерменского предместья Москвы»: всего лишь два дома, разделенных узкой мостовой переулка, — и сколько значительнейших имен связано с ними! Пушкин, Ушаковы, Грибоедовы, Аргамаковы и, конечно, Радищев, ибо здесь провела свои последние года Анна Ивановна, возможно даже хранившая в этом самом ушаковском доме рукопись особой редакции «Путешествия из Петербурга в Москву».

Переулок Молочный, перпендикулярный Хилкову, уводит во 2-й Зачатьевский, названный так по Зачатьевскому девичьему монастырю*. Анна Ивановна была его прихожанкой, и если ей под конец жиз-

---

* От него уцелели лишь стены да надвратная церковь XVII века, реставрированная в 1959 — 1960 годах.

ни пришла мысль сделать еще один список «Путешествия» с хранимой ею рукописи, она могла повторить имеющийся у нее опыт и устроить переписку текста в ближайшем к месту ее жительства монастыре...

Обо всем этом думал я, бродя по переулкам, смежным с Хилковым, и намечая линии дальнейших поисков. Из Тамбова и Ленинграда уже пришли архивные справки: дело казначея Киприана не значилось ни в каких описях; что же касается рукописей библиотеки Саровской пустыни, то часть их попала в Куйбышев, а часть — сначала в Пензу, а затем в Москву, в ЦГАДА. Но «Путешествия» среди них не было... Теперь следовало заняться сестрой Анны Ивановны, Марьей Ивановной «Розенбергшей», и прежде всего установить, полковником или секунд-майором был ее муж...»

* * *

«...Необходимость снова привела меня на Большую Пироговскую, 17. Там, в Архиве древних актов, я очень быстро установил, что Богдан Карлович Розенберг был полковником и чин этот получил при выходе в отставку, еще в 1775 году [2].

По-видимому, Анна Ивановна ошибочно назвала его секунд-майором при составлении «челобитной». Итак, были довольно веские основания считать Б. К. Розенберга, владельца дома в приходе московской церкви Георгия на Всполье, мужем Марьи Ивановны, продавшей этот дом своей сестре.

Таким образом, предположительно устанавливалось, что «полковница» Марья Ивановна «Розенбергша», помещица «сельца» Котлина, находившегося в Дорогобужском уезде, предоставившая свой дом под штаб-квартиру участников заговора против Павла I, была сестрой Анны Ивановны Аргамаковой.

Но это еще требовалось доказать.

Для начала нужно было разузнать о «сельце» Котлине, принадлежавшем Марье Ивановне, и о ее ближайших соседях. Такие сведения можно было получить в том же Архиве древних актов, просмотрев «Экономические примечания» Дорогобужского уезда. «Примечания» эти были составлены землемерами для всех уездов и губерний Российской империи в период Генерального межевания, проводившегося в России во второй половине XVIII века; целью Генерального межевания было утверждение произведенных дворянами земельных захватов, а также учет того, что данное хозяйство могло производить.

Все «Экономические примечания» имели в качестве приложения алфавиты «дач» и владельцев. Поэтому в «Примечаниях» Дорогобужского уезда было очень легко найти помещицу Марью Ивановну Розен-

берг. Оказалось, что ей, помимо «сельца» Котлина, принадлежали в том же уезде еще шесть деревень и пустошей. Ознакомившись с кратким описанием этих владений, я столкнулся с очередной взволновавшей меня загадкой, которую, как я это понял, мне предстояло во что бы то ни стало разгадать.

«Сельцо» Котлино, полупустошь Жерновка, пустошь Сапелкина и деревни Лебедева и Кудрявцева, числившиеся за «полковницей» М. И. Розенберг, были показаны в «Примечаниях» ранее принадлежавшими Федору Грибоедову[3]. Ряд вопросов возникал в связи с этим. «Что это значит? Не скупила ли «Розенбергша»,— спрашивал я себя,— грибоедовские земли? И если — да, то с чем это было связано? Или, может быть, следует предположить, что Марья Ивановна стала «полковницей» Розенберг во втором браке и что Федор Грибоедов был ее первый муж?»

Последнее соображение при дальнейшем его продумывании становилось чрезвычайно и непредвиденно интересным. Как известно, бабку поэта Александра Грибоедова звали Марьей Ивановной, но девичья ее фамилия в грибоедовской литературе никогда не называлась; дед же с материнской стороны был Федор Алексеевич Грибоедов. Если бы оказалось, что М. И. Розенберг была в первом браке за Ф. А. Грибоедовым, историкам литературы пришлось бы признать неожиданный и очень значительный факт: это означало бы, что Марья Ивановна Розенберг, сестра Анны Ивановны Аргамаковой и сама урожденная Аргамакова,— была бабкой А. С. Грибоедова и двоюродной теткой А. Н. Радищева. Это был тот самый случай, когда генеалогия как подсобная историческая дисциплина могла бы дать интересный для советского литературоведения результат.

И я внес это предположение в одну из клеток моей «таблицы предвидений», чтобы сосредоточить внимание и направить поиск по данному пути...»

* * *

«...При просмотре планов имений Дорогобужского уезда (с целью выявления соседей Марьи Ивановны) удалось сделать еще одно интересное наблюдение: в непосредственной близости к ее пустоши Сапелкиной находилось «сельцо» Савино — владение подпоручика Федора Афанасьевича Радищева, двоюродного дяди писателя. Земля его двумя межами граничила ранее с деревнями Федора Грибоедова — Лебедевой и Кудрявцевой, — и на плане «сельца» Савина сосед Федор Грибоедов, свидетельствуя правильность показаний землемера, расписался в числе понятых[4].

Смоленская ветвь Радищевых обзавелась в этих местах землею в

20 годах XVIII века и, видимо, распространилась очень далеко на Запад; надо думать, что одним из следов этого распространения является название проточного озера — Радищево — в Познани, на северном берегу реки Варты...[5]

Так постепенно, в результате новых материалов, находимых в архивах и в печатных источниках, вскрывалась связь фамилий Аргамаковых, Грибоедовых и Радищевых, прочно скрытая за далью времен.

С особым упорством просматривал я печатные труды по истории дворянского землевладения в «радищевских» местах — в Арзамасском и смежных с ним уездах. Неожиданность подстерегала меня в книге П. Мартынова, подробно описавшего Симбирский уезд.

В одном из разделов этого труда, в описании села Степное Анненково, иначе называемого Черемховый Ключ, говорилось: «Сержант Александр Иванович Анненков продал часть этого имения в 1754 году коллежскому советнику Ивану Игнатьевичу Аргамакову, а затем все имение перешло внуке И. И. Аргамакова Марье Ивановне*, вышедшей потом замуж за статского советника** Федора Алексеевича Грибоедова»[6].

Догадка о родстве Радищевых с Грибоедовыми подтверждалась совсем с другого конца, и притом даже не архивным, а печатным источником, кстати сказать — не замеченным историками литературы. Но задача моя не упрощалась: я считал необходимым доказать все сызнова и строго документально, чтобы исключить всякую возможность совпадения имен и фамилий; кроме того, очень важно было выяснить: являются ли Марья Ивановна Грибоедова и Марья Ивановна Розенберг одним и тем же лицом?..

В Военно-историческом архиве я разыскал «Экономические примечания» Дорогобужского уезда, составленные офицерами Главного штаба. С необыкновенной подробностью описали они «сельцо» Котлино на правом берегу Днепра, «имеющего здесь ширину всего в 25 сажен», и прилегавшую к «сельцу» деревню Марьину — на левом берегу речки с поэтическим названием «Перемча̀».

«В сельце — дом господской деревянной, — говорилось в описании, — и при нем сад с плодовитыми деревьями... Крестьяне на оброке, промышляют хлебопашеством; женщины упражняются в домашних рукоделиях»[7].

И я, ознакомившись с этим текстом, так отчетливо представил себе имение Марьи Ивановны с его патриархальным бытом и — на фоне это-

---

* П. Мартынов ошибочно называет Марью Ивановну «внукой» Ивана Игнатьевича Аргамакова: как видно из дел Вотчинной коллегии и других документов, она была его дочерью.

** Гражданский чин статского советника соответствовал в XVIII веке военному чину капитан-поручика.

го быта — деятельность заговорщиков, что у меня возникло непреодолимое желание на время оставить попытку разрешить загадку «полковницы Розенбергши» и заняться историей Дорогобужского подпольного кружка...»

2

В 1782 году, во время путешествия цесаревича Павла Петровича по Европе под именем графа Северного, встретил его на последней станции под Берлином почетный конвой из эскадрона гусар. Статный ротмистр, командир эскадрона, привлек внимание цесаревича, и пруссак был приглашен на службу в Россию. Там он немедленно получил чин майора и стал «возвышаться». Взойдя на престол, Павел произвел его в генерал-лейтенанты и назначил инспектором кавалерии; фамилия фаворита была Линденер.

Зимой 1797 года, во время вспыхнувших в Орловской губернии крестьянских волнений, Павел повелел Линденеру усмирить восставших, заставив их «повиноваться власти и уважать войска».

Линденер, усмирив затем крестьян в Калужской губернии, дислоцировал там свой корпус, и в Калуге обосновался его штаб.

В эту пору крестьяне волновались и в других губерниях — в Московской, Псковской, Новгородской, Вологодской, Ярославской, Нижегородской, Владимирской, Пензенской и Костромской. Вековечная мечта о воле поднимала их на борьбу во многих местах империи. Но недовольство — в той или иной мере — распространялось на все сословия, и Тайная экспедиция едва справлялась с потоком самых разнообразных «секретных» дел.

Вольномыслие проникало также в армию, проявляясь среди рядовых и офицеров.

Так, в конце царствования Екатерины II рассматривалось дело солдата Василия Андреева, говорившего «дерзновенные слова о царях»[8].

В 1797 году рядовой Херсонского гренадерского полка Малахов отказался присягать и был сослан «для удобнейшего размышления» в Сибирь, на каторгу[9].

А отставной прапорщик Иван Рожков в том же году объявил публично, что «государи все — тираны, злодеи и мучители, и ни один совершенно добродетельный человек не согласится быть государем»[10]; Рожков был также сослан в Сибирь.

В феврале 1798 года офицер расквартированного в Дорогобуже Петербургского драгунского полка, майор Суровцов, признался своему непосредственному начальству, что он *должен* донести государю «о непременной нужде собрания депутатов от всех губерний и издания новых законов». Суровцов был отставлен, *как сошедший с ума*[11].

Вскоре был арестован и взят в Тайную экспедицию по обвинению в вольнодумстве командир того же Петербургского драгунского полка, полковник П. С. Дехтерев. Его быстро выпустили, но из полка исключили, и он, возвратясь на Смоленщину, поселился у своего приятеля, отставного подполковника А. М. Каховского, в Краснинском уезде, в его имении Смоленичах. Петербургским же драгунским полком в это время стал командовать их общий друг — полковник П. В. Киндяков.

Не прошло и месяца, как последовал донос уже на полковника Киндякова. Неблагополучие в полку стало для Павла I явным, и по его повелению в Дорогобуж прибыл для следствия инспектор кавалерии Линденер.

По словам его адъютанта А. А. Кононова, оставившего свои записки, на берегу Днепра была разбита палатка, и в ней расположился генерал-следователь. «Брали,— рассказывает Кононов,— то одного, то другого, то относились к предводителю дворянства, когда дело касалось до лиц отставных, живших в уезде. Страх овладел всеми; останавливаться на улицах для разговоров было воспрещено под опасением ареста. Таинственность и совершенное незнание, в чем состояло дело, удваивали страх»[12].

Выслуживавшийся перед императором Линденер, вне всякого сомнения, сгущал в своих донесениях краски и придавал чрезмерное значение мелочам. Так, в депеше своей от 16 июля он доносил, что у полковника Киндякова «завелось собрание... легкомыслящих», что брат его, отставной офицер, ходит в якобинском платье, весь в черном, а прочие офицеры, собираясь у полкового командира в шлафроках и халатах, «с вольностию» возлежат на канапе [13].

Но были, очевидно, и какие-то более серьезные признаки «колебания основ» в Дорогобуже; недаром же князь Мещерский, шеф Петербургского драгунского полка, доносил 15 июля Павлу I, что «дух исключенного полковника Дехтерева еще в полку весьма остался», но ему, шефу, удалось принудить полк к повиновению, «несмотря ни на что» [14].

Между тем нити розыска тянулись к Смоленску, и Линденер, прибыв туда в самый разгар лета, очень быстро — благодаря новому полученному доносу — обнаружил подпольный политический кружок.

В него входили: отставной подполковник А. М. Каховский, его брат по матери — подполковник А. П. Ермолов, полковники П. С. Дехтерев и П. В. Киндяков, капитан В. С. Кряжев, управляющий канцелярией смоленского военного губернатора, в прошлом — крепостной графа П. И. Панина, а также ряд других офицеров и гражданских чиновников из Смоленска и Дорогобужа — всего около тридцати человек[15].

Члены кружка имели конспиративные клички; свою штаб-квартиру в имении Каховского — Смоленичах — они условно именовали «гале-

рой», а самих себя — «канальским цехом»; деятельность их была направлена «к перемене правления», причем идея цареубийства прямо обсуждалась на заседаниях кружка.

Как выяснилось, заговорщики, собираясь в доме Каховского, читали вслух трагедию Вольтера «Смерть Цезаря» и шумно выражали свое одобрение автору, когда зачитывалась сцена убийства, завершающаяся словами: «Цесарь был тиран; да погибнет и память его!»

«Вот так бы и нашего!» — воскликнул при этом однажды Каховский[16].

Они вели беседы с простыми людьми и пускались в «дерзкие рассуждения» между собою об «умножающихся налогах», о «военной строгости», об «образе правления» и, видимо, вообще осуждая русский общественный строй [17].

Среди членов кружка было немало родственников А. М. Каховского, в том числе и Г. А. Каховский, отец будущего декабриста. Хозяин дома состоял также в близком родстве со многими местными уроженцами: Пассеками — Петром Петровичем, попавшим впоследствии в состав «Алфавита декабристов», и Василием Васильевичем, томившимся с 1796 года в крепости за сочинение «крамольного» акростиха с именем императрицы Екатерины и размножение в списках «Путешествия» Радищева. П. П. и В. В. Пассеки приходились А. М. Каховскому двоюродными братьями, а подполковник А. П. Ермолов, как уже говорилось, был его родной — по матери — брат. Мать декабриста П. Г. Каховского происходила из рода смоленских дворян Повало-Швейковских; один из представителей этого рода, Иван Семенович, известен как участник заговора декабристов, другой — его предок — был членом раскрытого Линденером подпольного кружка.

Переплетение идейных, кровных и земляческих уз между смоленскими предшественниками русского освободительного движения XIX века представляет глубокий интерес. Родителям декабриста П. И. Пестеля принадлежало село Васильево, того же Краснинского уезда, где находилось имение А. М. Каховского. Декабрист И. Д. Якушкин — тоже смолянин, уроженец села Жуково, Вяземского уезда. А не очень дальним соседом Якушкиных был владелец великолепной Хмелиты — лейб-гвардии капитан-поручик Федор Алексеевич Грибоедов, дед автора «Горя от ума».

Имение А. М. Каховского славилось своей библиотекой и физическим кабинетом, где хозяин проводил научные опыты. На почве русского и западно-европейского просветительства, в атмосфере, насыщенной передовыми идеями, боролись с самодержавием «отцы декабристов», предваряя те настроения русской общественности, которые привели лучших ее представителей на Сенатскую площадь четверть века спустя...

Инспектору кавалерии повезло: в его руки попали важнейшие до-

кументы. Но родственные связи местных жителей затрудняли следствие, и смоленский гражданский губернатор Л. В. Тредиаковский*, сообщая об этом Линденеру, писал:

«...ваше превосходительство, представьте мое состояние: я здесь иностранец, а все, одним словом сказать, между собою связаны родством. Я нигде сего не видал, так что и преосвященный здешний не велел благородных без своего разбора, венчать, боясь, чтоб родня на родне не женились, то я восемь месяцев хлопочу один и не могу иметь верного сведения от других. Часто случается, говоря о поведении кого-нибудь из чиновников и думая, что постороннему рассказываешь, а очутится брат двоюродной или внучатной. Вот, ваше превосходительство, в каких я обстоятельствах...»[18]

Однако в еще более трудном положении оказался вскоре сам Линденер.

Молодой Ермолов, будущий «проконсул» Кавказа, командовал в это время ротой 2-го артиллерийского батальона в Несвиже; захватив его переписку с братом и отослав ее на просмотр Павлу I, Линденер отправил в Несвиж предписание — арестовать Ермолова и доставить в Калугу, в его, Линденеров, штаб.

Тем временем Павел I — очевидно, под влиянием кого-то из своих приближенных — решил не придавать значения ермоловской переписке и донесениям из Дорогобужа, но, сочтя их заслуживающими немедленного забвения, повелел бумаги «Дорогобужского дела» уничтожить, а следствие прекратить.

Линденер не посмел ослушаться указа — истребил следственные материалы и отпустил обратно в Несвиж доставленного в Калугу Ермолова, хотя в руках инспектора кавалерии уже были в этот момент бумаги, изобличающие участников тайного противоправительственного кружка.

Обидевшись, он даже позволил себе в докладной записке Павлу I нечто вроде упрека. «По делу... дорогобужского следствия,— писал он,— в Санктпетербурге... обижено правосудие»[19]. И затем излагал суть дела по «новооткрывшимся» материалам уже с полной уверенностью в своей правоте. Каховскому, доносил он, удалось создать тайную организацию, имевшую кружки в Смоленске, Дорогобуже, и в некоторых воинских частях; помимо штаб-квартиры заговорщиков в имении Смоленичи, была у них еще другая штаб-квартира — в Дорогобужском уезде; генерал-следователь о ней сообщал:

«...Дехтерев, Каховский, Киндяков... и прочие всегда назначенные сборища имели в селе Котлине, от Дорогобужа в 15 верстах, у полковницы Розенбергши, и в таковой связи с нею были, что Дехтерева екипаж,

* Сын поэта В. К. Тредиаковского.

бумаги и прочее у себя до сего времени скрывала, зная, что в Дорогобуже следствие о них было; для запечатания там находящихся бумаг отряжен с дворянским предводителем той округи инспекционный адъютант Кононов»[20].

«В протчем есть и будет в сей губернии покой и тишина,— обнадеживающе заканчивал Линденер свое донесение,— а и тех, ныне за Смоленскою губерниею открывшихся заблужденных якобинцев удобно возвратить к разуму в случае нужды посредством отечественных березовых лоз»[21].

Но в последующих докладных записках тон его изменился — стал менее самоуверенным и отнюдь не таким спокойным.

Допрошенный им Кряжев показал, что «Каховский с товарищами никогда не перестанут исполнять своего против высочайшей особы и правления намерения»; стало также известно, что один из членов кружка — полковник Бухаров — однажды выразился: «Легко можно нанять, кто бы государя императора умертвил»[22].

Самым же непримиримым из заговорщиков Линденер считал Дехтерева: один из главарей «канальского цеха», он призывал к немедленному выступлению, надеясь, что офицерам удастся увлечь за собой солдат; на собраниях «цеха» он показывал палку с карикатурным изображением Павла I, которое сам вырезал, а находясь в Велиже, имел при себе дворового человека Никифора Ерофеева, взятого из дома знакомой помещицы, где тот исполнял роль шута. Дехтерев брал с собой этого крепостного на прогулки, водил по кабакам, по улицам, на разводы караулов и заставлял его преуморительно изображать Павла Петровича, потешая народ[23].

Несвободный дворовый человек, высмеивая публично императора, отбывал таким путем крепостную повинность, а боровшийся с павловской тиранией, вдохновленный освободительными идеями Дехтерев мог спокойно (как это видно из одного его письма к М. И. Розенберг) отправиться в карательную экспедицию «для поправления некоторого замешательства от крестьян» [24].

Эта противоречивость характера, типичная для просвещенного русского дворянина конца XVIII века, нашла свое яркое отражение в словесном дружески-сатирическом портрете Дехтерева, написанном его приятелем, поэтом-преображенцем С. Н. Мариным.

Марин,— кстати сказать, близкий родственник А. Н. Радищева,— обращаясь к своему современнику, известному в тогдашней офицерской среде художнику-карикатуристу полковнику Герарду, писал:

Герард, мастер молодецкой
Рисовать карикатур!
Своей кистью ты немецкой
Много написал фигур.

Ты за кисть примайся снова
И пиши мне Дех <терева>
Удивительной портрет...
Чтоб сидел он пред камином,
Стерна, плакавши, читал,
Притворялся б господином
И Антон пред ним стоял...

Перо приятеля, надо думать, запечатлело в этих немногих строках наиболее характерные черты Дехтерева: способность бурно сочувствовать обездоленным, увлекаясь Стерном, притворную спесь обедневшего дворянина и тлеющую искру крепостничества в его барской душе...

За Дехтеревым в донесениях Линденера следовали братья Петр и Павел Киндяковы — племянники «полковницы» М. И. Розенберг, уроженцы Симбирского уезда, где отец их владел селом Киндяковом (описанным в романе Гончарова «Обрыв»).

О полковнике Петре Васильевиче Киндякове* инспектор кавалерии сообщал, что он, проживая в селе Котлине, у своей тетки, тамошней помещицы «Розенбергши», устраивал у себя на квартире собрания офицеров с публичным чтением запрещенных книг; на этих собраниях произносилась «хвала французской республике» и читались вслух Гельвеций, Монтескье и «прочие таковые книги, поселяющие дух вольности»[25]**; у братьев Киндяковых были найдены при обыске две золотые табакерки с портретами Валериана и Платона Зубовых, что уводило нить розыска в Петербург...

«...брат Киндякова (Павел), — не унимался Линденер, строча донесения,— артиллерии отставной офицер, приехав из Петербурга и жив с ним, братом своим, ...имел частые отлучки в Смоленск, Вязьму и по окрестностям Дорогобужа, к кому же имянно, неизвестно...»[26]. Кроме того, Павел Киндяков постоянно встречался с приехавшими зачем-то в то же село Котлино братьями Алексеем и Сергеем Николевыми. А. С. и С. С. Николевы состояли в близком родстве с Грибоедовыми и были друзьями Пассеков: между прочим, у одного из потомков этих Николевых сохранился список «Путешествия из Петербурга в Москву»[27].

Линденер утверждал, что заговор раскинул свою сеть на огромном пространстве, что связи подпольщиков «между Москвою, Калугою и за оною*** находятся», и в целях предупреждения опасности настаивал на принятии все новых и новых мер.

---

* Дочь Петра Васильевича Киндякова Екатерина впоследствии вышла замуж за А. Н. Раевского, приятеля А. С. Пушкина.

** М. В. Нечкина считает более чем вероятным, что на этих собраниях читалось также «Путешествие» Радищева («Движение декабристов», т. II. М., 1955, стр. 89).

*** «За оною (Калугою) находятся», то есть имеют прямое к ней отношение.

И Павел I, ознакомившись с донесениями Линденера и с содержанием захваченной им переписки, понял, что делом этим пренебрегать невозможно. Прежде всего он повелел арестовать Ермолова и доставить его в столицу. На допросе он топал ногами и кричал: «Ты — брат Каховского! Вы — оба из одного гнезда и одного духа!» — и выслал Ермолова в Кострому.

Затем были высланы в разные места Каховский, Дехтерев, братья Киндяковы и другие члены «канальского цеха». Все они получили свободу при восшествии на престол Александра I, в 1801 году*.

И все же, несмотря на многочисленные аресты, значительная часть документов, отражающих деятельность заговорщиков, ускользнула из рук Линденера, так как по приезде его в Дорогобуж 30 июня 1798 года «на другой день ездил к помещице Розенбергше племянник Павел Киндяков, который и сжег у нее в доме многие бумаги...»[28]

Очевидно, «Розенбергша» благоволила к своим племянникам, была осведомлена об их замыслах и — надо думать — даже им сочувствовала; они же в свою очередь чтили и нежно любили тетку; так, Павел Киндяков в апреле того же 1798 года ей писал: «Милая матушка тетушка, ...ныне какой-та праздник в полку; просють вас пожаловать...» И в приписке к письму пояснял: «У нас севодни освящение знамен и будет небольшая церемония; приезжайте к нам, милая, обедать, а церемония начнется в 11 часов... Прощайте, целую у вас ручки, привезите с собой и Фединку»[29].

Что же побудило «полковницу» М. И. Розенберг укрывать в своем доме подпольщиков и почему она пользовалась таким их уважением и доверием? Это было так же загадочно, как и вопросы: кто такой «Фединка» и почему Марья Ивановна не была привлечена к следствию, невзирая на то, что этого очень желал Линденер.

Тем не менее все эти вопросы представляли интерес второстепенный; гораздо важнее было узнать, каково истинное отношение Анны Ивановны Аргамаковой к владелице села Котлино Марье Ивановне Розенберг.

3

Из записной книжки автора

«...В Москве, у Кировских ворот, стоит недавно воздвигнутый памятник Грибоедову. На постаменте, поддерживающем фигуру поэта,— дата его рождения: 1795-й год.

* Организатор смоленского подпольного кружка А. М. Каховский впоследствии вновь вступил в военную службу; в 1812 году был уже генералом и командовал кавалерийской дивизией; он внушил своему двоюродному брату Денису Давыдову мысль

Между тем и печатные и архивные источники говорят об этом по-разному: они называют и 1795-й, и 1794-й, и 1793-й, и 1796-й, и даже 1790-й годы. Но 1795-й год является уже потому неверной датой, что 13 января этого года, как записано в метрической книге московской церкви Успения на Остоженке, родился брат А. С. Грибоедова, Павел, очевидно вскоре умерший. Факт этот был установлен А. И. Ревякиным всего лишь десять лет назад [30].

Ошибочно утвердившаяся дата рождения А. С. Грибоедова — пример мнимо достоверных сведений, из которых нередко состоят биографии известных и знаменитых лиц. Да и жизнь самого автора «Горя от ума» вряд ли можно считать известной нам во всех ее явных и сокровенных изгибах. Недаром же Д. А. Смирнов, собиравший материалы для грибоедовской биографии в течение целого двадцатипятилетия, обнаружил в них какую-то семейную тайну и, не пожелав обнародовать найденное, запечатал его в конверт.

«У меня есть одно, хоть и небольшое, сочинение,— признавался он хранителю отдела рукописей Публичной библиотеки А. Ф. Бычкову,— содержание которого я не только не могу и не намерен объявить моим современникам, но и даже слишком близким после меня нисходящим линиям...»

Пушкин же в «Путешествии в Арзрум» писал:

«Жизнь Грибоедова была затемнена некоторыми облаками: следствие пылких страстей и могучих обстоятельств...»

Н. К. Пиксанов считает, что слова Пушкина относятся к дуэли двух петербургских повес — Шереметева с Завадовским, в которой Грибоедов участвовал секундантом. Но с догадкой Пиксанова нельзя согласиться: об этой дуэли Пушкин не стал бы говорить столь туманно и многозначительно; дело это по тем временам являлось обычным, и о нем было широко известно и в Петербурге и в Москве.

Нет, сказал я себе, тут речь не о дуэли. Иносказательная и загадочная фраза Пушкина, до сих пор не разгаданная литературоведами, кажется, дает мне путеводную нить. Нельзя утверждать, что Пушкин, говоря о «пылких страстях», имел в виду темперамент А. С. Грибоедова, а не какой-либо другой особы. Но, быть может, следует предположить какую-то связь этой пушкинской фразы с той самой грибоедовской тайной, которую знал Смирнов. По-видимому, в его статье предназначавшейся сначала к сдаче на хранение в Публичную библиотеку, как раз говорилось о чьих-то «пылких страстях» и «могучих обстоятельствах» жизни А. С. Грибоедова, определивших его судьбу.

применить на войне партизанский метод действий, а также раскрыл тайну «девицы-кавалериста» Надежды Дуровой («корнета Александрова»). Сведения эти сохранились в роде Каховских и записаны одним из его представителей (ЦГВИА, ф. 281, ед. хр. 67, л. 54-об.).

Думать же, что этот намек Пушкина касался отношения Грибоедова к тайному обществу, не следует, так как Смирнов не стал бы делать из этого тайну, да еще тщательно оберегаемую от родственников спустя тридцать с лишним лет.

И я подумал, что фамильная тайна, раскрытая Смирновым и, видимо, известная также Пушкину, быть может, имеет отношение к бабке Грибоедова — Марье Ивановне, фамилия которой во втором браке, по моему предположению, была Розенберг.

Мелькнувшее соображение заставило меня возобновить попытки расшифровать эту загадку путем просмотра мемуарной литературы и документов по дворянскому землевладению, а также прошений «на высочайшее имя», поступавших от разных лиц.

Разумеется, проще всего казалось обратиться к фамильным бумагам Грибоедовых, но их семейный архив почти весь погиб. Историк М. И. Семевский в 50-х годах прошлого века пытался искать грибоедовские бумаги в подвале запустевшего барского дома села Хмелиты, но кроме отдельных документов ничего не нашел. Другая часть грибоедовского архива находилась в селе Пружинино, Нерехтского уезда, Костромской губернии,— в имении матери поэта, Настасьи Федоровны; после ее смерти имение это перешло к барону Врангелю, а позднее досталось генерал-лейтенанту Энгельгардту; врангелевский приказчик при передаче усадьбы приказчику нового владельца собрал два воза грибоедовских бумаг и продал их в соседнее село Бурмакино, бакалейному лавочнику, по 5 рублей за воз[31]. Наконец, около 1870 года сгорело родовое имение Грибоедовых — Сущево, в Покровском уезде, Владимирской губернии, где за четыре года до того умер Д. А. Смирнов*. В огне погибли и собранные им материалы. Таким образом, все три грибоедовских фамильных архива оказались утраченными; поэтому разрешить стоявший передо мной вопрос было нелегко.

Между тем выяснить, имела ли отношение бабка А. С. Грибоедова, Марья Ивановна, к полковнику Б. К. Розенбергу, было крайне важно, и я прежде всего решил ознакомиться с биографией этого человека. Сведения о нем пришлось разыскивать в документах разных архивных фондов, и прошло некоторое время, пока мне удалось их собрать.

Богдан Карлович Розенберг,— как это выяснилось из его прошения, поданного Екатерине II в январе 1783 года,— в молодости был бравым

---

* Родители автора «Горя от ума» оба были Грибоедовы: Сергей Иванович (отец) приходился Настасье Федоровне (матери) троюродным дядей. В 1799 году мать С. И. Грибоедова, бабка поэта по линии отца, Прасковья Васильевна, урожденная Кочугова, продала своему малолетнему внуку Александру Сергеевичу Грибоедову родовое свое имение Сущево. Сделка эта была зарегистрирована в книге записей купчих Владимирской палаты гражданского суда (ЦГАДА, ф. 1753, оп. 2, д. 100, л. 164-об.).

офицером, находился во многих походах, а также при осадах и штурмах разных городов; во время Семилетней войны участвовал в сражении при Гросс-Егерсдорфе, спустя десять лет лихо дрался в Польше с конфедератами, а в первую русско-турецкую войну отличился в сражениях при реке Ларге и реке Кагул[32]. В 1775 году Б. К. Розенберг, выйдя в отставку с чином полковника, был определен для разбора оружия в Оружейную палату[33] и в том же году назначен директором в Московский ассигнационный банк[34]. В этой должности он пробыл по 1782 год включительно, в следующем — 1783-м году получил место директора Петербургского ассигнационного банка[35], но вскоре «за болезнями» был уволен «от всех дел»[36].

В это же самое время он появляется в исповедных росписях прихода московской церкви Георгия на Всполье, где девятью годами позже Анна Ивановна Аргамакова купила у своей сестры Марьи «Розенбергши» дом.

Вот, собственно говоря, и все, что удалось узнать о полковнике Розенберге из архивных материалов и литературы. Следует лишь добавить, что на одном документе, относящемся к его банковской деятельности, была обнаружена его подпись. Если по почерку можно судить о характере, то эта щегольская подпись отражала характер Б. К. Розенберга как обходительный, твердый и деловой.

И тут, когда все сведения о нем были собраны, в поле моего зрения попал любопытный отрывок текста из книги М. А. Гершензона «Грибоедовская Москва».

Рисуя быт московского барства начала XIX века, автор описывал типичный дом Марьи Ивановны Римской-Корсаковой, сын которой, Сергей Александрович, был женат на Софье Алексеевне Грибоедовой — тетке поэта. Московский дом Римских-Корсаковых «в приходе церкви Преображения в Паутинках»*, уцелел до настоящего времени, это — двухэтажное здание на площади Пушкина, между домом «Известий» и кинотеатром «Центральный». Рассказывая, как протекало утро в этом помещичьем доме, автор названной книги писал:

«...Марья Ивановна встает рано, в 7 часов, когда в 6; только если накануне поздно вернулась с бала, она проспит до 9. Помолившись богу, она выходит в гостиную и здесь пьет чай с наперсницей-горничной Дуняшкой. Только отопьет чай, идут министры с докладами. Главный министр — Яков Иванович Р о з е н б е р г (разрядка моя.— *Г. Ш.*); он давно живет в доме и вполне свой человек. Яков Иванович докладывает счета, подлежащие оплате. Марья Ивановна недовольна: расходы огромные, деньги идут, как сор, а из деревни не шлют...»[37]

---

* Отсюда и Паутинковский переулок в Москве, с течением времени переиначенный в Путинковский.

Из этой бытовой зарисовки видно, что «главным министром» близкой грибоедовской родни — Римских-Корсаковых — был давно укоренившийся в доме «свой человек» Яков Иванович Розенберг. Поэтому — одно из двух: либо здесь имело место простое совпадение фамилий и Яков Иванович приходился Богдану Карловичу однофамильцем, либо — в совокупности с известным уже ранее — следовало допустить, что Розенберги вообще были для Грибоедовых своими людьми. И, быть может, автор «Горя от ума», с детства видевший немцев (в частности — Розенбергов) в доме своих родителей* и в домах родственников, не случайно воскликнул устами Чацкого:

Как с ранних пор привыкли верить мы,
Что нам без немцев нет спасенья... **

Как бы то ни было, но отрывок текста, попавший мне на глаза при просмотре книги М. А. Гершензона, побудил меня с еще большим рвением продолжить разыскание о Марье Ивановне «Розенбергше», так как окружавшая ее загадка представляла исключительный интерес.

Однако, несмотря на все мои усилия, обследование новых документальных материалов не давало результата; не оправдали на этот раз надежд и документы Вотчинной коллегии, и я решил испробовать еще один, особо направленный, поисковый ход.

Так как Марья Ивановна имела в Дорогобужском уезде целый ряд сел, деревень и пустошей, трудно было допустить, чтобы она, в отличие от большинства помещиков своего времени, не имела ни с кем из своих соседей земельных тяжб.

В документах, отражающих такие спорные дела, обычно вскрывается вся подноготная родовых и семейных отношений тяжущихся. Найти такое судебное дело было крайне важно, но для этого требовалось отыскать фонд Дорогобужского уездного суда.

Делам, составляющим этот фонд, следовало находиться в Государственном архиве Смоленской области, но, по наведенной для меня справке, такого фонда там не оказалось; пришлось обратиться все в тот же Архив древних актов, где хранится множество фондов местных учреждений, большей частью представляющих их остатки — так называемые хвосты.

Размышляя о том, как мало у меня шансов найти в документальном океане ЦГАДА нужное мне дело, я направился к начальнику Архива — эту должность тогда занимал Г. Т. Фролов.

В его кабинете, обставленном старинными книжными шкафами светлого полированного дерева, стоял туман табачного дыма, пробитый косым солнечным лучом.

---

* Воспитателями А. С. Грибоедова были немцы — И. Б. Петрозилиус и Б. И. Ион.

** В первоначальной редакции: «Что ничего нет выше немца».

— Чем могу служить? — спросил начальник.

— Григорий Тимофеевич,— сказал я смиренно,— мне нужен один хвост.

— Этого добра у нас до пса много,— проговорил он дружелюбно.— А чей хвост нужен?

— Дорогобужского уездного суда.

— Хорошо. Наведем справку и, если таковой есть, выдадим.

Я поблагодарил и удалился. А на другой день меня вызвала к себе заместительница начальника архива — З. В. Крайская, женщина очень суровой внешности и столь же доброй души.

— Имеется всего несколько дел Дорогобужского уездного суда,— объявила она ледяным тоном.— Содержание их неизвестно, и ни в какой описи они не значатся. Сомнительно, чтобы среди этих пяти или шести дел вы нашли то, что вам нужно. Кроме того, их невозможно достать...

— Их необходимо достать!..— возразил я с горячностью и стал объяснять, почему это необходимо.

— Поймите,— перебила она меня,— эти материалы заложены; чтобы до них добраться, нужно разобрать два штабеля дел.

Я еще раз привел свои доводы и добавил, что готов сам произвести эту работу.

Видимо, это ее смягчило, и она сказала, сохраняя, впрочем, суровость:

— Зайдите через три дня...

Но она сама вызвала меня вторично на четвертый день после этого разговора и указала на небольшую связку довольно ветхого вида дел на своем столе.

— Вот,— сказала она с оттенком упрека в голосе.— Какого это труда стоило! Хоть бы вы что-нибудь тут нашли!

Не пытаясь оправдываться, я молча развязал связку и стал просматривать заголовки на обложках дел. Их было всего шесть.

Первое, второе и третье оказались для меня неинтересными, но заголовок четвертого заставил меня вздрогнуть. «Дело вотчинное порутчика Федора Грибоедова...» — прочел я, ликуя, и, не дочитав заголовка, попросил сейчас же выдать мне это дело в читальный зал...

Мне понадобилось не больше пяти минут, чтобы, пробежав глазами несколько документов с обтрепавшимися и уже истлевающими краями, обнаружить то, что я так долго искал.

«... первый мой муж,— писала «полковница» Марья Ивановна Розенберг,— лейб-гвардии капитан-порутчик, что был потом статским советником, Федор Алексеев сын Грибоедов...» [38]

Марья Ивановна начинала этим признанием челобитную, поданную ею 6 сентября 1792 года на имя императрицы Екатерины II.

Итак, документ, устанавливающий тождественность Марьи Ивановны Грибоедовой с Марьей Ивановной Розенберг, был найден. Это являлось еще и потому интересным, что Марья Ивановна под фамилией своего второго мужа не фигурирует как бабка А. С. Грибоедова ни в печатной литературе, ни в какой-либо из архивных картотек.

Но главным, разумеется, здесь было другое: выяснялось, что Анна Ивановна Аргамакова и Марья Ивановна Грибоедова действительно были сестрами; таким образом, бабка А. С. Грибоедова приходилась двоюродной теткой А. Н. Радищеву; авторы двух знаменитых русских литературных произведений, оказывается, были в довольно близком родстве.

Само же дело, позволившее это установить, не представляло интереса; оно отражало обычный для того времени спор помещиков об имении — дорогобужских землевладельцев Домуховского и Вистицкого с капитан-поручиком Ф. А. Грибоедовым,— спор, длившийся двенадцать лет.

Из дела было видно, что Федор Алексеевич в 1786 году умер [39] и тяжбу продолжала его вдова Марья Ивановна; около 1792 года она уже была замужем за полковником Розенбергом, а в 1796-м стала его вдовой...[40]

Таким образом, в моей «таблице предвидений» еще одна клетка оказалась прочно занятой оправдавшимся предположением.

Дело Дорогобужского уездного суда решало один из занимавших меня вопросов и в то же время требовало некоторых уточнений для дальнейшей работы; я сделал их, просмотрев свои выписки из метрических, исповедных и других книг.

Во-первых, я выяснил, что Марья Ивановна вышла второй раз замуж между 1790-м и 1792 годом, так как в книге записи подорожных 1790 года, хранящейся в Московском областном архиве, записана подорожная, выданная до Дорогобужа Марье Ивановне «Грибоедовой» [41], а в 1792 году она уже носила фамилию Розенберг.

Во-вторых, сверясь с данными исповедных книг тех московских церковных приходов, где проживали Марья Ивановна [42] и ее второй муж, Богдан Карлович, я установил, что он был моложе ее на одиннадцать лет [43].

В-третьих, я нашел нужным сравнить возраст Марьи Ивановны и ее сестры Анны Ивановны; это сравнение также оказалось небезынтересным: первая из них родилась в 1738 году, вторая — в 1753; разница в годах составляла пятнадцать лет.

Столь большая разница в летах заставила меня предположить, что они были не родными сестрами, то есть не от одной матери, предположить это, несмотря на то, что А. И. Аргамакова в своем заявлении в Управу благочиния назвала М. И. Розенберг своей родной сестрой. Но



Уцелевшая часть дома, принадлежавшего в конце XVIII века тетке А. С. Грибоедова — П. А. Ушаковой (Москва, Хилков переулок, д. № 2).

в те времена слово «родной» употреблялось не только в значении ближайшего кровного родства, но и в смысле более отдаленной родственной связи; поэтому я решил еще раз, внимательно, просмотреть сделанные мною в разных архивах выписки об Иване Игнатьевиче Аргамакове и членах его семьи.

Найдя в своих записях заголовок одного дела, касавшегося земельных владений М. И. Аргамаковой и еще не обследованного мною, я отправился туда, где оно находилось,— в Московский областной архив.

В этом деле, входившем в состав фонда Московской губернской канцелярии, прямо говорилось, что Марья Ивановна была дочерью Ивана Игнатьевича Аргамакова и Василисы Ивановны, урожденной Аннен-

ковой [44]. Таким образом, Марья Ивановна и Анна Ивановна родными сестрами быть не могли.

Из сопоставления этих новых данных с прежними выяснялось, что И. И. Аргамаков был женат три раза и что Марья Ивановна — его дочь от первого брака — с дочерью симбирского помещика Анненкова; Анна же Ивановна и сестра ее Екатерина родились от третьего брака — с Еванфией Ивановной, девичью фамилию которой я по моим выпискам установить не смог.

Но тут мне пришла на помощь мемуарная литература, подбираемая мною в этот момент по особому территориальному признаку, а именно — дневники и воспоминания уроженцев «Смоленского гнезда».

Среди этих мемуарных материалов наибольший интерес представляют «Воспоминания» В. И. Лыкошина, помещика Вяземского уезда; отрывки из них приводились в печатных работах неоднократно; полностью же эти воспоминания, как и дневники сестры В. И. Лыкошина, Миропии Ивановны, и его близких родственников — Рачинских и Колечицких — не публиковались; к тому же часть этих материалов сравнительно недавно поступила в архив.

Отдельные неопубликованные места этих воспоминаний являются яркой иллюстрацией семейных отношений Грибоедовых с их роднею, а по части некоторых неясных вопросов, возникающих в ходе данного исследования,— подлинным к ним ключом...

Уже в кратких, приводимых в печатных работах извлечениях из этих записок, мое внимание привлек ряд подробностей, мимо которых пройти было невозможно. Так, в «Воспоминаниях» В. И. Лыкошина говорилось о близком его родстве с Грибоедовыми и Ушаковыми — «со старой тетушкой» Прасковьей Александровной (в доме которой умерла Анна Ивановна Аргамакова); об усадьбе же Федора Алексеевича Грибоедова Хмелите автор писал, что это был «самый любимый родственный дом» [45].

Еще более любопытным являлось его указание, что в Хмелиту приезжали гостить «сестры [А. Ф.] Грибоедова и племянницы его Полуектовы, веселая компания, любившая поврать» [46].

Так как сестра Анны и Марьи Аргамаковых, Екатерина, была замужем за В. Б. Полуектовым, то «племянницы» А. Ф. Грибоедова должны были быть ее дочерьми. В. И. Лыкошин неправильно называет их «племянницами» Алексея Федоровича; они доводились ему кузинами; неточность же объясняется тем, что автор воспоминаний писал их, уже будучи глубоким стариком.

Эти расставленные в печатной литературе вехи направили мой поиск на чтение тех же воспоминаний в их подлинном, более пространном виде, и я отправился в Литературный архив.

Там, в большом фонде Рачинских, я сразу же обнаружил родослов-

ную родственников их — Лыкошиных и Колечицких. Эта-то родословная и ответила мне на вопрос о девичьей фамилии третьей жены И. И. Аргамакова, Еванфии Ивановны. Оказалось, что отцом ее был помещик Смоленского уезда Иван Станкевич, женатый на Прасковье Никитичне Татищевой, сестре историка; это был ее второй брак [47]; внучка ее по линии первого брака (с Иваном Теряевым), Прасковья Александровна, в замужестве Ушакова, приходилась Анне Ивановне и Марье Ивановне Аргамаковым двоюродной сестрой [48].

Родословная, найденная в бумагах Рачинских, и «Воспоминания» В. И. Лыкошина устанавливают родственную связь сестер Аргамаковых и П. А. Ушаковой, с одной стороны, и П. А. Ушаковой и Грибоедовых — с другой.

В записках В. И. Лыкошина и его сестры Миропии часто упоминается гостеприимный дом «старой тетушки Ушаковой», где бывала и мать будущего поэта — Настасья Федоровна Грибоедова. В этот патриархальный большой каменный дом съезжались, особенно в великопостные дни, грибоедовские и ушаковские родственники и самые случайные гости, вроде «сенатского секретаря, рассказывавшего, как у них 70 лет длилось дело, начавшееся от курицы, перелетевшей через соседний забор!..» [49]

Я снова возвращаюсь к родословной из фонда Рачинских, и новые важные обстоятельства бросаются мне в глаза: оказывается, Анна Ивановна Аргамакова была внучатной племянницей историка Татищева, а сын Ивана Станкевича, Филагрий, имел дочь Прасковью, вышедшую замуж за Дмитрия Якушкина; их сын, Иван Дмитриевич,— виднейший декабрист [50].

«Мать моя,— говорит В. И. Лыкошин в своих записках,— была очень дружна с двоюродной сестрою своею Прасковьей Филагриевной Якушкиной, и, когда муж ее заболел и умер у нас в доме, она оставалась года три с детьми своими у нас, так как имение их было совершенно расстроено. Две дочери и сын ее были одних с нами лет, и мы жили и учились как в одной семье» [51].

Значит, декабрист Иван Дмитриевич Якушкин был не только другом детства А. С. Грибоедова (что известно из литературы), но и его т р о ю р о д н ы м б р а т о м. Так документы по дворянскому землевладению и родословию помогли сблизить и усилить важные в общественном отношении связи. Радищев — Грибоедов — Якушкин! Поистине замечательная последовательность, отраженная и в развитии русских освободительных идей!..

Я просматриваю последние строки найденной родословной, вновь встречаю имя Еванфии Ивановны (Аргамаковой), читаю, что «от нее произошла семья Полуектовых», и — на всякий случай — решаю выяснить состав этой семьи.

Заглядываю в свои выписки из разных источников, где можно найти упоминание об этой фамилии, и нахожу: дети Екатерины Ивановны Полуектовой — сын, Борис Владимирович, женат на Любови Федоровне Гагариной, сестре Веры Федоровны, жены П. А. Вяземского; дочь, Наталья Владимировна, за Николаем Ильичом Мухановым, дядей декабриста [52]; это те самые Полуектовы, что приезжали к А. Ф. Грибоедову погостить в Хмелиту,— «веселая компания, любившая поврать».

Перелистываю заметки дальше. Выдержка из письма П. А. Вяземского к жене от 29/30 июня 1832 года: «...были Муханов, Полуектова, Блудов, Пушкин...» [53] Близкие родственники Грибоедова и Радищева — Полуектовы, по фамилии которых в XVIII веке были названы в Москве два переулка, входили в круг личных связей Пушкина, забытых и не упоминаемых в литературоведении наших дней.

Да и Мухановы были ближе ему, чем обычно об этом думают: брат декабриста, Александр Александрович, подробно записывал мысли поэта в свой дневник *.

На Пушкине в известном смысле замыкался круг родственных связей Ушаковых. Племянник Прасковьи Александровны, автор нескольких повестей и рассказов, Василий Аполлонович Ушаков был знаком с Пушкиным. Знал, видимо, Пушкин и Александра Андреевича Ушакова** «единоутробного» брата первой жены Радищева — Анны Васильевны Рубановской, близкого родственника Екатерины Николаевны Ушаковой, которую поэт любил...» [54]

* * *

«...Итак, в «таблице предвидений» заняло прочное место еще одно оправдавшееся предположение: Анна Ивановна Аргамакова имела отношение к Дорогобужу, так как недалеко от этого города находилось имение ее сестры.

Дом Марьи Ивановны Грибоедовой-Розенберг в селе Котлине был местом тайных сборищ смоленских подпольщиков; мечтая о низвержении тирана и сообща обдумывая план своих действий, они читали

---

* В разрозненных черновых листах дневников А. А. Муханова имеется, в частности, следующая интереснейшая запись, относящаяся предположительно к 1827 году: «П<ушкин>, говоря о Наполеоне, сказал: «Он был побежден не пушечными выстрелами, а дипломатическим шопотом. Характер дипломатии нашего времени изменился, он, как и в 17-м столетии,— та же ползущая пресмыкающаяся, но это — змей боа, задавляющий тигра!» (Отдел письменных источников Государственного исторического музея (ф. 117, ед. хр. 21, л. 21).

** В составе библиотеки А. С. Пушкина, хранящейся в Пушкинском Доме, имеется «Собрание разных песен Мих. Чулкова» (ч. I, СПБ, 1770) с записью на чистом листе после крышки переплета: «Из книг Александра <Андреевича> Ушакова 1827, 2/I», а на стр. 9-й (ненумерованной): «Павел Р.», скорее всего: «Павел Р<адищев>».

вслух книги, «поселяющие дух вольности», в том числе, видимо, и «Путешествие из Петербурга в Москву».

Последнее кажется еще потому особенно вероятным, что в доме Марьи Ивановны могли находиться списки разных редакций «Путешествия»: ведь Андрей Николаевич Радищев, родственник писателя и его сослуживец по Петербургской таможне, совершил весьма подозрительную поездку из Петербурга в Дорогобуж.

Он отправился туда в конце декабря 1789 года, то есть в то самое время, когда А. Н. Радищев приступил к печатанию своей книги и когда черновые материалы «Путешествия» были ему уже не нужны.

Андрей Николаевич по прибытии в Москву, очевидно, явился к Анне Ивановне и был направлен в Дорогобуж уже ею.

Радищевские списки и черновики, надо думать, были переброшены в укромное место — в дом грибоедовской бабки в селе Котлине, хранились там в течение долгого времени и были возвращены автору спустя год или два после его возвращения из Сибири. Очень похоже, что переброску этих бумаг в дом Марьи Ивановны Грибоедовой организовала Анна Ивановна Аргамакова, ее сестра...»

* * *

«...Но загадка Марьи Ивановны «Розенбергши» была далеко еще не разгадана, и я предпринял попытку более глубоко проникнуть в тайну, запечатанную Д. А. Смирновым в конверт.

Так как указ об отставке Б. К. Розенберга был найден мною в Дворцовом отделе ЦГАДА, я решил просмотреть все описи дел этого фонда, состоящего главным образом из «всеподданнейших» просьб разных лиц.

Почти все эти просьбы касались выдачи пособия или назначения пенсии. Об этом просили: танцмейстер Розетти, упавший на сцене с высоты пяти сажен, солдатская жена Афросиния Круглова и корабельные плотники Адмиралтейств-коллегии; некоторые же прошения выражали не совсем обычные просьбы и были написаны трогательным языком,— так, отставной копиист Григорий Казанцев ходатайствовал о жемчуге, «который необходим ему для лечения от болезни», а тринадцатилетняя девочка Анна Герина, оставшаяся круглою сиротою, просила о пособии на платье, «в чем в церковь ходить».

И вот среди массы этих «челобитных», так живо и разнообразно представляющих эпоху, в одном из дел 1797 года я, видимо, нашел ключ к тайне «запечатанного конверта», то есть то, что искал.

Внесенная 20 марта в реестр запись гласила:

«Вдова полковница Марья Розенбергова просит дозволения прижитому до брака с мужем ее сыну принять фамилию и права оного»[55].

Марья Ивановна почему-то предпринимала попытку «узаконить» своего внебрачного сына, когда ее второго мужа уже не было в живых!

Уже одного этого было достаточно, чтобы понять стремление Д. А. Смирнова скрыть от современников и потомков содержание своего «небольшого сочинения» на возможно более долгий срок. А так как Смирнова главным образом интересовала биография А. С. Грибоедова, то и это особое обстоятельство личной жизни Марьи Ивановны заинтересовало его, очевидно, как факт, сыгравший в судьбе ее внука какую-то роль.

Но какую именно? Узнать это можно было, только раскрыв до конца тайну запечатанного и затем, по-видимому, сгоревшего конверта. Поэтому нельзя было выпускать попавшую в руки нить.

Следствием письменных просьб, или «челобитных», как они назывались в то время, являлись императорские указы; впрочем, это случалось не всегда. Нередко Павел I надрывал прошение, и оно в надорванном виде возвращалось просителю; это называлось «вернуть с наддранием», причем в «Петербургских ведомостях» публиковали списки «челобитных», которые были в таком виде возвращены.

Однако в данном случае обошлось без «наддрания». Обратившись к изданным указам Павла I, я нашел нужный мне указ 1797 года, от 26 сентября:

«Всемилостивейше снисходя на прошение полковницы Розенберговой, повелеваем: сыну ее Федору пользоваться правом фамилии и наследства отца его, полковника Розенберга...» [56]

Очевидно, речь шла о том самом «Фединке», которого П. С. Киндяков в письме к Марье Ивановне просил захватить с собой на праздничный обед в полк.

Чтобы узнать обо всем этом подробнее, нужно было найти «челобитную» Марьи Ивановны, поданную ею на «высочайшее имя». След таковой удалось отыскать там же, в ЦГАДА,— в делах императорского Кабинета, среди переписки Д. П. Трощинского, занимавшего в 1797 году должность статс-секретаря.

Черновик письма, адресованного им генерал-прокурору для исполнения, уведомлял последнего о согласии императора удовлетворить просьбу «полковницы Розенберговой» о дозволении принять до брака рожденному ее сыну фамилию его умершего отца [57].

В конце письма Трощинский сообщал, что препровождает генерал-прокурору прошение М. И. Розенберг «в оригинале».

Однако отыскать этот подлинник оказалось невозможным, так как бóльшая часть дел Канцелярии генерал-прокурора была уничтожена во время разбора сенатского архива в конце XIX века (из шести с лишним тысяч дел осталось всего восемьсот восемьдесят пять).

Таким образом, фамильная тайна Марьи Ивановны осталась отчасти огражденной от любопытства исследователей, да и раскрывать ее во всех подробностях не было необходимости: эта тема занимала меня лишь в той степени, в какой касалась она А. С. Грибоедова; очевидно, по той же причине интересовался ею и Д. А. Смирнов.

Но именно в этом плане была полная возможность нарисовать вероятную ситуацию, в которую, видимо, попал из-за бабкиного внебрачного сына Федора автор «Горя от ума».

И я, ограничив свою задачу, не стал заниматься решением второстепенных вопросов: что́ заставило Марью Ивановну подать прошение о сыне Федоре лишь в 1797 году, после смерти своего второго мужа, и почему она, фактически облагодетельствованная Павлом I, все же оказалась на стороне лиц, образовавших против него заговор; оставив нерешенными эти вопросы, я занялся основным.

Какое значение для А. С. Грибоедова могло иметь присвоение дяди Федору фамилии и прав его отца Розенберга? Это лишало внука Марьи Ивановны права наследования, так как наследовать должен был ее сын, а не внук.

Родители же Грибоедова не могли что-либо завещать ему потому, что имения их были заложены и перезаложены в Опекунском совете. И сам Грибоедов в 1826 году, на допросе в Комиссии по делу декабристов, ответил: «...у меня никакого недвижимого имения... нет» [58].

Материальная необеспеченность тяготила его постоянно.

В августе 1824 года он писал своему другу С. Н. Бегичеву, что хотел к нему заехать, «но проклятый недочет в прогонах все испортил, взять было неоткуда, Лев и Солнце* давно покоятся в ломбарде».

А в марте 1826-го сообщал тому же Бегичеву, что получил взаймы от Булгарина «ассигнациями сто пятьдесят рублей».

Ничего не изменилось для Грибоедова и в ближайшие два года. Неопубликованное письмо Александра Муханова к брату Николаю подтверждает это. А. А. Муханов 26 марта 1828 года писал: «...Сердечный мой поклон Вяземскому и Пушкину, так же и Грибоедову; сердечно радуюсь, если правда, что государь щедро наградил его заслуги и если эта награда выведет его до некоторой степени из-под зависимости семейных отношений...» [59] (разрядка моя.— *Г. Ш.)*.

Муханов имел в виду награждение Грибоедова после успешно заключенного им Туркманчайского мира с персами. Разумеется, это могло лишь «до некоторой степени» поправить дела молодого дипломата. Но вскоре последовала «награда» несравненно более щедрая — назначение Грибоедова чрезвычайным посланником и полномочным министром

---

* «Лев и Солнце» — персидский орден.

в Тегеран. Оно давало ему наконец материальное благополучие, хотя и являлось «почетной ссылкой»: правительство убирало автора «зловредной» комедии подальше от Петербурга и Москвы.

Он согласился после мучительной внутренней борьбы, подчиняясь необходимости: отклонить предложение было трудно; кроме того, «великие страсти» его богатой бабки создали для него «могучие обстоятельства» семейной зависимости, а предложенный ему пост в Персии сулил возможность эту зависимость разорвать.

И все же он колебался. Отказаться было почти невозможно. Но можно было от этого уклониться и хотя бы на время отодвинуть срок отъезда. Удалось же ему получить длительный отпуск за границу «для лечения минеральными водами» в 1824 году, когда он состоял при Ермолове*. Нельзя ли было сделать нечто подобное и в 1828-м?

Оказывается, что мысли такие у Грибоедова были. Уже после указа о его назначении, последовавшего 15 апреля, он еще подумывал о путешествии за границу, надеясь, быть может, «уйти от судьбы». Среди писем П. А. Вяземского есть письмо к жене, недатированное, но помещенное в сброшюрованной переписке Вяземского между 14 и 20 апреля за 1828 год. Упомянув о том, что «Пушкину отказали ехать в армию», и объявив о своем намерении отправиться в июне в Лондон, а оттуда «недели на три в Париж», он писал: «Вчера были мы у Жуковского и сговорились пуститься на этот европейский набег Пушкин, Крылов, Грибоедов и я...» [60]

6 июня автор «Горя от ума» выехал из Петербурга.

Через полгода в Тегеране произошла катастрофа.

«Немногие люди знали ему цену»,— писал о Грибоедове Пушкин.

Должно быть, знали ему цену и те, кому было нужно его убить.

Когда князь Д. И. Долгорукий производил в Тегеране следствие об убийстве, состоявший при нем П. А. Нащокин получил в дар от одного влиятельного перса кинжал, которым, по его словам, был убит русский везир. Кривой, с белой костяной ручкой, отточенный с обеих сторон, кинжал этот много лет спустя достался одному коллекционеру. Биограф Грибоедова, Н. В. Шаломытов видел этот страшный предмет в начале текущего века: на ножнах кинжала была выгравирована редчайшая по своей уточненности дата убийства — «1829 года, января 30 дня, в 9 часов 17 минут утра»; футляр, в котором кинжал хранился, также заслуживал внимания: на крышке его золотым тиснением была сделана надпись: «Горе от ума»...[61].

---

* Несмотря на полученный 1 мая 1824 года из Азиатского департамента отпуск, Грибоедов по каким-то «домашним обстоятельствам» воспользоваться им не смог (Архив внешней политики России, ф. «Грибоедов», д. 7а, л. 15).

Так загадка Марьи Ивановны Грибоедовой-Розенберг оказалась, надо думать, в основном разгаданной: ее второе замужество позволило установить близкое родство между А. С. Грибоедовым и А. Н. Радищевым, а присвоение ее внебрачному сыну Федору фамилии и прав ее второго мужа обездолило ее внука и, видимо, послужило одной из причин, повлекших его к трагическому концу...»

4

Сергей Муханов, брат Николая Муханова, женатого на родственнице Грибоедова, Наталии Полуектовой, был при Павле I шталмейстером,— лицом, ведавшим дворцовыми конюшнями; помимо этой обязанности, у него была и другая, не имевшая отношения к лошадям.

Павел I каждое утро с неизменной пунктуальностью справлялся — с какой стороны дует ветер? — и этот вопрос поочередно задавал Муханову, обер-шталмейстеру Кутайсову и великому князю Александру Павловичу; если же ответы этих трех лиц расходились, императора охватывал гнев. Чтобы избежать такой неприятности, они уговорились выходить каждое утро на воздух и, только убедившись, с какой стороны ветер, отвечать на неизбежный вопрос.

В обстановке чудачеств, террора и нелепых запретов протекало царствование — мимолетный «век» Павла, крепостника и солдафона, которого все без исключения сословия называли одинаково: «тиран».

Изгоняя отовсюду французскую моду, он запретил танцевать вальс, мужчинам — зачесывать на лоб волосы, а женщинам — носить синие юбки и белые блузки; были запрещены такие «опасные» слова, как «отечество» и «гражданин».

Тайная экспедиция, по словам современника, была более занята делами, чем Вотчинный департамент.

Лейтенанта Акимова за эпиграмму на строительство Исаакиевского собора сослали в Сибирь, вырезав ему язык.

Полковника Грузинова, отказавшегося принять императорский дар — тысячу крестьян — казнили.

(Павел I во время одной лишь своей коронации роздал около двухсот тысяч «душ».)

В Тайную экспедицию был доставлен крестьянин Афанасий Федоров «за называние императора курносым и плешивым».

Там же оказался акцизный служащий Петр Габихт, говоривший, что «государь не стоит сельдяного хвоста».

А осенью 1800 года был сечен плетьми нижегородский крестьянин Алексей Степанов, написавший «дерзкую историю о царе Раз-

вее» — укоризненное сочинение о Павле I, развеявшем надежды крестьянства на переход от «господ» в казну.

Пруссачество Павла накаляло атмосферу в армии, в особенности в среде офицерства, где ходили по рукам и читались вслух сатирические стихи поэта-преображенца С. Н. Марина.

Написаны они были под явным влиянием «Вольности» Радищева:

...Внимай, что царь тебе вещает *,
Он гласом споры прерывает,
Рукою держит эспантон,—
Смотри! каков в штиблетах он!..

...Я все на пользу вашу строю:
Казню кого или покою,
Аресты, каторги сноси,
И без роптания терпи!..

Марин, приятель П. С. Дехтерева и его политический единомышленник, подобно ему мечтавший об устранении Павла I, в своем полковом петербургском окружении не был одинок. Некоторые его однополчане, в частности братья Александр и Алексей Аргамаковы, ждали только своего часа, чтобы начать действовать. И час их настал.

Замечательно, что и Марин и эти двое его полковых товарищей были родственниками Радищева. Мать Александра и Алексея Аргамаковых, Федосья Ивановна, сестра писателя Д. И. Фонвизина, имела в Москве дом в приходе церкви Георгия на Всполье, рядом с домом Анны Ивановны Аргамаковой. Оба сына Федосьи Ивановны до прохождения службы числились живущими в этом доме, как показано в исповедной росписи за 1795 год[62].

Старший из них, Александр, дежурный адъютант гренадерского батальона Преображенского полка, обязан был докладывать императору о пожарах в столице; отлично зная все дворцовые переходы, коридоры и двери, он в ночь с 11 на 12 марта 1801 года, светя потайным фонарем, провел заговорщиков во дворец.

Павел, ежедневно спрашивая у своих приближенных, откуда дует ветер, конечно, интересовался и политическим ветром: не следует ли ему ждать опасности и с какой именно стороны?

Слухи о готовящемся перевороте дошли до него, и он принял меры: повелел спешно вызвать в столицу своих фаворитов — Аракчеева, Линденера и Ростопчина.

---

* Ср. «Вольность», строфу 8-ю: «Закон се божий — царь вещает». Сравниваемая строка указывает на знакомство Марина с текстом «Путешествия» по списку особого состава, так как в издании 1790 года ее нет.

Расправа с Павлом I первоначально была назначена на 15 марта (день убийства Юлия Цезаря, что, видимо, являлось одною из нитей, связывавших петербургских заговорщиков со смоленскими). Участники заговора, узнав, что Павел о чем-то догадывается, решили поспешить.

Подпоручик Марин легко управился с подчиненным ему внутренним караулом, охранявшим императорские покои, а дежурный адъютант Александр Аргамаков вбежал в переднюю кабинета и подал сигнал к дальнейшему, крикнув: «Пожар!»

Родичи Радищева действовали решительно.

Когда заговорщики оказались лицом к лицу с Павлом, Николай Зубов ударил его своей золотой табакеркой в висок.

Здесь нельзя не вспомнить о двух золотых табакерках с портретами Валериана и Платона Зубовых, найденных во время обыска в Дорогобуже у братьев Киндяковых. Не играли ли эти табакерки роль вещественного пароля, помогающего участникам заговора устанавливать между собою связь?..

Почти все источники сходятся на том, что Павел был задушен шарфом Аргамакова.

А фавориты опоздали. Аракчеев прибыл утром 12-го марта, и его от заставы «повернули» обратно. Линденер не успел даже выехать из Калуги. Ростопчин доехал из своего имения только до Москвы.

Днем 12-го полковник Н. А. Саблуков, стоявший у дворца со своим лейб-эскадроном, начал приводить его к присяге. Прежде всего он обратился к рядовому гренадеру Григорию Иванову:

« — Что, братец, видел ты государя Павла Петровича? Действительно он умер?

— Так точно, ваше высокоблагородие, крепко умер!

— Присягаешь ли ты теперь Александру?

— Точно так... Хотя лучше покойника ему не быть...»

А в это время на улицах Петербурга веселые голоса уже распевали только что сложенную песенку:

Павле, Павле, кто тебе давле?..

Радовались люди — старые и малые — и вдалеке от столицы; между прочим, и на Смоленщине, где за три года до смерти Павла был раскрыт подпольный кружок.

Родственник Грибоедовых, В. И. Лыкошин, хорошо запомнил, как было встречено известие о смерти Павла I в его родной деревне Казулине, и впоследствии записал: «...Каждый боялся обнаружить радостное чувство, произведенное этим известием. В церковь повели и нас, ребятишек, присягать новому юному императору. Мне развязали

косу, которая была связана в пук лентой, перестали волоса стричь спереди à la sergette*, что было дотоле обязательно, и оставили с тех пор наши волоса на свободе волноваться по плечам...»[63].

* * *

Члены разгромленного в 1798 году смоленского кружка благодаря своим земляческим и родственным связям хорошо знали Грибоедовых и Радищевых; можно почти не сомневаться, что знали они и «Путешествие из Петербурга в Москву».

А их потомки и продолжатели — декабристы, всколыхнувшие двадцать семь лет спустя Россию, сделали своим поэтическим знаменем, наряду с «Деревней» Пушкина и «Думами» Рылеева, радищевскую оду «Вольность» и грибоедовское «Горе от ума».

В преддверии событий 1825 года, лет за десять до них, образовалось литературное общество «Арзамас». Из поэтов в него вошли: Александр и Василий Пушкины, Жуковский, Вяземский, Батюшков, Денис Давыдов и другие, а также будущие деятели тайных обществ: Николай Тургенев, Никита Муравьев, Михаил Орлов.

Последний предложил «арзамасцам» завести журнал, статьи которого своей идейной новизной и смелостью «пробудили бы внимание читающей России». Перечень этих задуманных и подготовленных статей сохранился в бумагах Жуковского; одна из них (без указания автора) называлась: «О неприличии ссылки Радищева в Сибирь и о более приличнейшем его отправлении на каторжную работу»[64]. Разумеется, это был памфлет.

Радищева и его «Путешествие» не забывали в «Арзамасе». В протоколах общества имеется описание одного шуточного обряда,— через него пришлось пройти В. Л. Пушкину, чтобы быть принятым в «Арзамас»: он должен был «низложить» стрелой из лука «безобразное чучело», имеющее на груди надпись: «Чудище обло, озорно, огромно, стозевно и лаяй». Так стих Тредиаковского, взятый Радищевым эпиграфом к «Путешествию», вошел в обряд «арзамасцев», вторично символизируя русский самодержавный строй[65].

По прошествии нескольких лет в следственном «Высочайше учрежденном Комитете для изыскания о злоумышленном обществе» каждому из декабристов задавали вопрос: «С какого времени и откуда заимствовали вы свободный образ мыслей, т. е. от сообщества ли, или внушения других, или от чтения книг или сочинений рукописных, и каких именно?» Отвечая на этот вопрос, В. Кюхельбекер, Штейнгель и Петр

* Речь идет о челке, напоминающей легкую шерстяную ткань.

Бестужев упомянули «Путешествие» Радищева; Штейнгель и Завалишин, кроме того, назвали Грибоедова и его «Горе от ума».

Были попытки видеть в этой комедии и в других произведениях ее автора наличие черт, говорящих о влиянии Радищева. Может быть, это и так. Но нельзя забывать, что обоих писателей сближал прежде всего «наболевший» вопрос — о раскрепощении крестьянства и всей общественной жизни в России, а это заставляло их брать сходный социально-бытовой материал.

Во всяком случае, Грибоедов должен был знать текст «Путешествия» хотя бы уже потому, что сочинение это было хорошо известно среди декабристов — его земляков, друзей и родственников; это были: Одоевский, Якушкин, Рылеев, Каховский, Оболенский, Волконский, Муханов, Оржицкий и ряд других.

«Грибоедовым связаны многие люди между собою»,— отмечала агентурная записка III Отделения, составленная в 1828 году[66]. Фраза эта указывала в то время лишь на обширные связи поэта с его современниками; но сейчас, когда события, по выражению Александра Бестужева, отдалились «на исторический выстрел», она приобретает и некоторый обобщающий смысл: Грибоедовым исторически были связаны вольнодумцы конца XVIII века и деятели русских тайных обществ начала XIX; между Радищевым и декабристами он образовывал великолепный мост.

Сам Грибоедов не попал в «Алфавит декабристов» — настольную справочную книгу Николая I, несмотря на то что поводов и оснований у него было достаточно, чтобы в нее попасть.

О подлинном отношении автора «Горя от ума» к заговору сохранилось важное свидетельство его друга А. А. Жандра, которое записал Д. А. Смирнов.

«— Очень любопытно, Андрей Андреевич,— передает Смирнов свою беседу с Жандром,— знать настоящую, действительную степень участия Грибоедова в заговоре 14 декабря.

— Да какая степень? Полная.

— Полная?! Но ведь он же сам смеялся над заговором, говоря, что сто человек прапорщиков хотят изменить весь государственный быт России.

— Разумеется, полная,— пояснил Жандр.— Если он и говорил о ста прапорщиках, то это только в отношении к исполнению дела, а в необходимость и справедливость его он верил вполне...»[67]

Не менее важно собственное признание Грибоедова о его мыслях и настроениях этой поры.

В письме из Крыма, от 12 сентября 1824 года, к закадычному другу своему Степану Бегичеву он сообщал о своем восхождении на Чатырдаг:

«...не приморскими видами я любовался, перебирал мысленно многое, что слыхал и видел, потом вообразил себя на одной из ростральных колонн Петербургской биржи. Оттуда я накануне моего отъезда (разрядка моя.— *Г. Ш.*) любовался разноцветностью кровель, позолотою глав церковных, красотою Невы, множеством кораблей и мачт их. И туда взойдет некогда странник (когда один столп, быть может, переживет разрушение дворцов и соборов) и посетует о прежнем блеске нашей северной столицы, наших купцов, наших царей и их прислужников...» [68]

Это пророчество Грибоедова, записанное им за три с половиной месяца до восстания, в сущности, повторяет (только в более спокойном, эпическом тоне) призыв Радищева в его «Путешествии из Петербурга в Москву»:

«О! если бы рабы, тяжкими узами отягченные, ярясь в отчаянии своем, разбили железом, вольности их препятствующим, главы наши, главы бесчеловечных своих господ, и кровию нашею обагрили нивы свои!..»

В конце января 1826 года, арестованный в крепости Грозной и сопровождаемый фельдъегерем по дороге в столицу, автор «Горя от ума» остановился в Твери.

В доме, где фельдъегерь нашел удобным расположиться, Грибоедов увидел фортепьяно и тотчас сел играть.

«Девять битых часов,— рассказывает С. Н. Бегичев,— его не могли оторвать от инструмента!» Девять часов подряд играл Грибоедов, брат прославленной московской пианистки, ученицы знаменитого Фильда, и сам испытавший на себе влияние этого артиста, пальцы которого, по словам Верстовского, падали на клавиши подобно крупным каплям дождя.

В маленьком обывательском тверском домишке, как одержимый, играл на фортепьяно странный очкастый постоялец с густыми темными бровями «в накладку», длинным носом, украшенным маленькими ноздрями, и задумчивым взглядом умных и добрых глаз; верхняя губа его была с напуском, тонкая линия рта дышала скрытой иронией и гневом, а лукавый, мягко очерченный подбородок охватывали концы острого воротничка.

Должно быть, это была импровизация, монолог без слов — минутная разрядка душевного напряжения, ибо он не знал, как обернутся для него декабристские связи на допросах по прибытии в Петербург...

Но все обошлось благополучно. Грибоедова спас, во всяком случае значительно помог ему доказать свою невиновность, Ермолов — тот самый Ермолов, который четвертью века раньше, будучи всего лишь подполковником, являлся одним из столпов смоленского подпольного кружка.

Правитель Кавказа и командир отдельного Кавказского корпуса, он предупредил своего подчиненного Грибоедова за какой-нибудь час перед арестом и дал ему возможность уничтожить бумаги. Несмотря на разницу в летах и далеко не одинаковое служебное положение, они были связаны тесными узами и с глазу на глаз говорили друг другу «ты».

П. В. Долгоруков, автор «Петербургских очерков», написанных им в эмиграции, утверждает, что Ермолов через Грибоедова сносился с тайным обществом[69]. Известно, что Николай I, не веря Ермолову, побаивался Кавказской армии и что декабристы намечали его во временные правители России, если им удастся произвести переворот.

Но он не поддержал восстания; по его собственному признанию, он вряд ли бы совладал с собою в декабре 1825 года, если бы в ранней молодости не получил жестокий урок.

Кое-кто из участников заговора, отметая эти оправдания, пытался обвинять его, и одно из таких обвинений было напечатано Герценом за границей в виде анонимной статьи.

Автором ее был декабрист, разжалованный в солдаты поручик лейб-гвардии Финляндского полка, Николай Романович Цебриков. Он писал:

«...Ермолов мог бы предупредить арестование стольких лиц и потом смерть пяти мучеников, мог бы дать России конституцию, взяв с Кавказа дивизию пехоты, две батареи артиллерии и две тысячи казаков, пойдя прямо на Петербург...» [70]

Из записной книжки автора

«...Я никак не мог предположить, что с именем декабриста Николая Цебрикова я буду впоследствии вынужден связать один из важнейших списков «Путешествия» и что мне еще придется подробно изучать биографию этого лица...»



1



„Законы моего отечества карают за свободное слово. Все, что есть честного в России, обречено видеть торжествующий произвол чиновничества, гонение на мысль, нравственное и физическое избиение молодых поколений, бесправие обираемого и засекаемого народа — и молчать...»

Так начиналось открытое письмо царю Александру III, написанное мужественной русской женщиной и опубликованное ею за границей в 1890 году.

Как раз исполнилось сто лет с момента выхода и — одновременно — уничтожения «Путешествия» Радищева. В русской печати эту дату отметила, кажется, всего лишь одна статья — В. Е. Якушкина; он поместил ее в «Русских ведомостях», где вскоре напечатал другую статью — о «Горе от ума».

Изданная в этом году в Женеве политическая речь — «Письмо к императору Александру III» — ярко, своеобразно и, может быть, не случайно осветила радищевский юбилей. Автором ее была Мария Константиновна Цебрикова, племянница декабриста Николая Цебрикова, упрекавшего Ермолова в провале «14 декабря».

Находясь в Париже, она получила из Женевы экземпляры «Письма» и другой своей брошюры — «Каторга и ссылка», привезла в Петербург оба эти издания и вручила их швейцару генерала Рихтера, ведавшего приемом прошений на имя царя.

«...Если бы вы видели жизнь народа,— обращалась она в своем «Письме» к Александру III,— не по тем казовым концам, которые вам выставляют на глаза во время поездок ваших по России, знакомились с русским народом не в лице одних волостных старшин и сельских старост, когда они в праздничных кафтанах подносят вам хлеб-соль на серебряных блюдах, купленных на собранные гривны с души, у которой подчас нет и копейки на соль и для которой чистый хлеб — пряник про свят день, то вы бы с такою легкостью сердца не решали бы меры, делающие еще более мучительным лежащий на народе гнет...

...Вы увидели бы его труд, его нищету, видели бы, как губернаторы ведут войско пристреливать рабочих, не подчиняющихся мошенническим штрафам и ставке платы, когда и при прежней можно жить только впроголодь, выдерживая голодный тиф, или умирая от него; вы увидели бы, как губернаторы ведут войско пристреливать крестьян, бунтующих на коленях...

...Мера терпения переполняется...»

Брошюра заканчивалась угрожающе-пророческими словами: «Вы не услышите проклятий потомства, их услышат дети ваши, и какое страшное наследство передаете вы им...»[1]

В пору реакции, наступившей вслед за убийством Александра II, «Письмо» Цебриковой, при всей его умеренности, напоминавшей, по собственным ее словам, оппозиционную речь в английском парламенте, свидетельствовало о необыкновенном гражданском мужестве автора; это замечательное произведение русской публицистики было недаром отмечено критикой как «великий почин».

Цебрикову арестовали. На допросе она заявила: «Вы бессильны убить мысль. Мой предок Княжнин потерпел за стих: «Самодержавие повсюду бед содетель», а дядя Николай Цебриков сидел в Алексеевском равелине в крепости, и когда вода в Неве поднималась, она закрывала окно...»

Александр III, прочитав «Письмо», расхохотался и сказал было: «Отпустить старую дуру!» Но, подумав, добавил: «Нет, теперь нам с нею в одном городе жить невозможно. Нельзя ли запереть ее в монастырь?..»

На «всеподданнейшем» докладе, представленном ему по этому делу, он «начертал»: «Брошюры при дерзкие». Не отличаясь грамотностью, Александр III неразделяемые слова писал раздельно: «при нимает», «а вось».

На этом история «Письма» закончилась. Цебрикову, несмотря на ее почтенный возраст и расстроенное здоровье, сослали в Вологодскую губернию; все же это было лучше, чем заточение в монастыре...

* * *

Представляло особый интерес упоминание М. К. Цебриковой о Княжнине как о своем предке: в ее биографии это открывало неожиданную перспективу, уводившую в конец XVIII века, к политическим процессам Радищева, Новикова, Княжнина.

В 1789 году драматург Яков Борисович Княжнин написал проникнутую республиканским духом трагедию «Вадим Новгородский». В 1791 году он умер; спустя год его историческая пьеса о гибели «сына вольности» Вадима была издана, но вскоре по правительственному указу истреблена.

Имел ли место прижизненный процесс Княжнина или его следует считать только посмертным? Совокупность ряда свидетельств приводит к выводу, что дело это началось еще при жизни автора и закончилось, когда его уже не было в живых.

Хорошо известны слова Пушкина о том, что Княжнин «умер под розгами».

Автор «Словаря достопамятных людей Русской земли» Д. Н. Бантыш-Каменский сообщает, что Княжнин был допрашиван Шешковским в конце 1790 года, «впал в жестокую болезнь» и скончался в начале следующего года — 14 января.

Но могло ли случиться, чтобы автора привлекли к ответственности за книгу, которая еще не вышла? Не был ли он допрашиван по другому поводу? С. Н. Глинка, воспитанник Сухопутного шляхетного кадетского корпуса, где Княжнин преподавал словесность, дает ответ на этот вопрос.

Оказывается, почти одновременно с трагедией «Вадим Новгородский» Княжниным была написана статья «Горе моему отечеству» — о необходимости в России реформ. «Но тогда,— говорит Глинка,— гул бури Французской революции застращал умы, и патриотические мысли Княжнина показались неуместными. Он не пережил этого случая...» [2]

Надо думать, что Княжнина могли притянуть в 1790 году к ответу и за его трагедию и за статью: оба эти сочинения он читал друзьям и, кроме того, передал пьесу в театр для постановки; вездесущий Шешковский вполне мог об этом узнать.

Но среди бумаг и реестров решенных дел Тайной экспедиции не сохранилось никаких следов делопроизводства об авторе «Вадима». Это, скорее всего, объясняется тем, что Шешковский, имевший обыкновение иногда приглашать заподозренных лиц к себе домой «для беседы», видимо, допрашивал Княжнина у себя на дому.

До нас дошел анонимный рассказ о таких приватных «беседах» Шешковского и о «домашнем наказании», которому он подвергал своих посетителей. Вот этот рассказ:

«В комнате Шешковского находилось кресло особого устройства. Приглашенного он просил сесть в это кресло, и как скоро тот усаживался, одна сторона, где ручка, по прикосновении хозяина, вдруг раздвигалась, соединялась с другой стороной кресел и замыкала гостя так, что он не мог ни освободиться, ни предотвратить то, что ему готовилось. Тогда, по знаку Шешковского, люк с креслами опускался под пол. Только голова и плечи виновного оставались наверху, а все прочее висело под полом. Там отнимали кресло, обнажали наказываемые части и секли. Исполнители не видели, кого наказывали. Потом гость приводим был в прежний порядок и с креслами поднимался из-под пола. Все оканчивалось без шума и огласки» [3].

Намек Глинки на то, что Княжнин «не пережил этого случая», очень возможно, относится именно к такой «домашней» расправе с ним.

Автор «Вадима» не был революционером и не верил в силы народа; но ненависть к самодержавию сближает его с автором «Путешествия». Кроме того, у обоих писателей одновременно — как бы по согласованию — возникает мысль, что только свободный достоин имени патриота. «Под игом рабства находящиеся не достойны украшаться сим именем», — говорит в «Беседе о том, что есть сын отечества» Радищев. «Отечество быть может у рабов?» — вопрошает в своей трагедии Княжнин.

И как отражение этой идейной близости и общей судьбы обоих произведений происходит объединение их в одном рукописном сборнике начала XIX века, где рядом, скопированные переписчиками, стоят «Вадим Новгородский» и «Путешествие из Петербурга в Москву» [4].

Из записной книжки автора

«...Рукописный сборник из Коллекции рукописей и карт Архива древних актов, в лист, на голубой бумаге с водяными знаками 1803 и 1805 гг. Содержание сборника — пестрое, причем отдельные мелкие произведения явно маскируют основное содержание сборника — списки «Вадима» Княжнина и «Путешествия» Радищева. Список «Путешествия» сделан с издания 1790 года, несколько против него сокращен и существенных разночтений не имеет; текст его умещается на 91 листе.

В остальном этот список «Путешествия» не представлял интереса. К тому же интересовали меня — в связи с моим разысканием — только списки особого состава, значительно дополняющие текст первого издания. А таких списков было известно всего два.

История первого из них (списка Б), доставшегося в XIX веке московскому богачу-коллекционеру Голубкову и приобретенного затем Лонгиновым, оборвалась во второй главе данной работы на предположении, что рукопись эта досталась Голубкову при покупке им в Клинском уезде села Веденского, принадлежавшего в XVIII веке Николаю Афанасьевичу Радищеву. По словам сына автора «Путешествия», Павла, Николай Афанасьевич отдал это село сыну Александру по возвращении его из Сибири — для уплаты долгов.

В августе 1791 года в № 66 «Санкт-Петербургских ведомостей» появилось объявление о продаже (Н. А. Радищевым) клинских его деревень, входивших в село Веденское; были ли они тогда проданы — неизвестно; во всяком случае, часть этого села позднее досталась близким знакомым А. С. Грибоедова — Кологривовым, у одного из которых в 1845 году ее купил Голубков.

Теперь, когда — через Анну Ивановну Аргамакову и ее сестру Марью Ивановну — в истории особого текста «Путешествия» ясно обозначилась «аргамаково-грибоедовская перспектива», обретала и более твердую почву догадка о том, как попала эта рукопись к Голубкову; здесь смыкалось кольцо.

Тут же возникало новое соображение: а так называемый список В, хранящийся в Литературном архиве, не сделан ли он (несмотря на множество мелких разночтений) с того же подлинника, что и список «лонгиновский»? Но ответить на такой вопрос можно было, только изучив список В и его историю, а о нем мне не было известно почти ничего.

В картотеке ЦГАЛИ список В был зарегистрирован как ранняя редакция «Путешествия», относящаяся к 80-м годам XVIII века. В этот Архив он попал из Государственного литературного музея, приобретенный в 1939 году от Г. И. Сафронова, которого мне на первых порах не удалось найти.

Но так как разыскать его или по крайней мере что-либо разузнать о нем было необходимо, я возобновил в этом направлении свои поиски, приступив одновременно к изучению списка с внешней его стороны.

Почерк рукописи следовало, скорее всего, отнести к первой четверти или к самому началу XIX века; картонный, оклеенный коричневой бумагой переплет и титульный лист с заглавием, написанным готическими литерами, были типичны для рукописных книг 30-х годов.

После титульного листа был вклеен вкладной лист с записью, сделанной нехарактерным почерком более позднего времени. Запись эта

являлась биографической справкой об А. Н. Радищеве, заимствованной из статьи М. Н. Лонгинова, помещенной в августовской книге «Современника» за 1856 год. На обороте вкладного листа тем же почерком был дан перечень восьми масонских книг, изданных Н. И. Новиковым, «которым продажа запрещена».

Из содержания записи можно было сделать вывод, что автор ее, владевший данным списком в 60-х годах XIX века, интересовался Радищевым и Новиковым и был человеком более прогрессивных взглядов, чем Лонгинов, так как верноподданнические интонации, пронизывающие статью последнего, в записи оказались сознательно обойдены...

Очень важно было определить, когда переписан этот список: до издания «Путешествия» 1790 года или позднее? В первом случае подтвердилось бы мнение исследователей и архивных работников, считающих эту редакцию ранней *; я же имел основания думать, что это не так...

Чтобы узнать, не позже какого времени изготовлена рукопись, достаточно найти хотя бы на одном из ее листов фабричное клеймо, называемое филигранью, а также бумажным или водяным знаком, хотя знак этот не имеет никакого отношения к воде.

В течение столетий западноевропейские и русские фабриканты снабжали выпускаемую ими бумагу разнообразными водяными знаками; они были светлее самой бумаги и легко просматривались на свет.

Сюжет и литерная часть водяного знака создавались иногда при чрезвычайных обстоятельствах. Так, Наполеон, перейдя в 1812 году Неман, приказал изготовить для деловой переписки бумагу со своим «водяным» портретом и надписью, свидетельствующей «о занятии им России»; неизвестно, выполнили ли французские фабрики приказ императора, но в применении такой бумаги у него не оказалось нужды.

Список же «Путешествия», хранящийся в ЦГАЛИ (ф. 1719, ед. хр. 3), не имел отчетливо видимых водяных знаков; во всяком случае, при обычном просмотре никаких следов филиграней обнаружить было нельзя**.

По моей просьбе администрация Литературного архива направила этот список в Институт криминалистики вместе с несколькими рукописями конца XVIII— начала XIX веков.

---

* Л. И. Кулакова справедливо считает, что определение списков Б и В как самых ранних редакций «Путешествия» «зиждется на явном недоразумении». («Известия АН СССР». Отделение литературы и языка, т. XV, вып. 2-й. М., 1956, стр. 152).

** Г. П. Макогоненко в своей книге «Радищев и его время» (М., 1956, стр. 411) утверждает, что эта рукопись ЦГАЛИ имеет «водяные знаки 1794 — 1796 годов». В действительности же такие водяные знаки имеются в другой рукописи — в «лонгиновском» списке Пушкинского Дома.

Я подозревал, что список В изготовлен значительно позже 1790 года; поэтому такой сравнительный анализ мог либо опровергнуть мою догадку, либо ее подтвердить.

В ожидании ответа криминалистов я решил предпринять еще одну попытку разузнать что-либо о Г. И. Сафронове и снова отправился в район Новодевичьего монастыря.

Годом ранее я потерпел там неудачу: адрес, указанный Георгием Ивановичем Сафроновым при продаже им рукописи, не позволил мне разыскать его; с другой стороны, по тому же адресу, в том же доме, но в другой квартире, проживал до 1941 года Юрий Иванович Сафронов, юноша, погибший на фронте во время Великой Отечественной войны.

Все разъяснилось очень просто: Г. И. и Ю. И. Сафроновы были однофамильцами. Георгий Иванович действительно жил одно время в доме № 4 по улице Малые Кочки, но в домовой конторе мне дали сначала неверную справку. Теперь же выяснилось, что разыскиваемый мною Сафронов живет в Москве, в Теплом переулке (поблизости от Архива древних актов!). Оставалось только наведаться к нему либо пригласить его к себе в гости... Но мало ли какие у него могли быть соображения... Захочет ли он со мной разговаривать?.. И я задумался: как поступить?..

Как раз в это время в Литературный архив поступило заключение криминалистов: бумага списка В оказалась одинаковой с бумагой других посланных на экспертизу рукописей по «флуоресценции в ультрафиолетовых лучах аналитической кварцевой лампы», проценту тряпичной массы, оттенку и толщине.

Но датировать список эксперты не решились. Они лишь обнаружили в нем одну важную особенность: на отдельных листах списка были замечены едва различимые фрагменты водяных знаков. Это была новость, настолько интересная и неожиданная, что я на время забыл о Сафронове и вновь занялся непосредственно списком В...»

* * *

«...Действительно, на верхнем поле рукописи, у самого среза, оказались очень небольшие следы филиграней; их можно было заметить на двадцати шести листах.

Тщательно срисовав их и затем поразмыслив над ними, я убедился в своем бессилии составить по этим частичкам целое и, захватив с собой скопированные фрагменты, отправился в Ленинскую библиотеку — в Отдел редких книг.

На четырнадцатом ярусе, среди картотек и металлических стеллажей с книгами, я увидел Сократа Александровича Клепикова, старшего

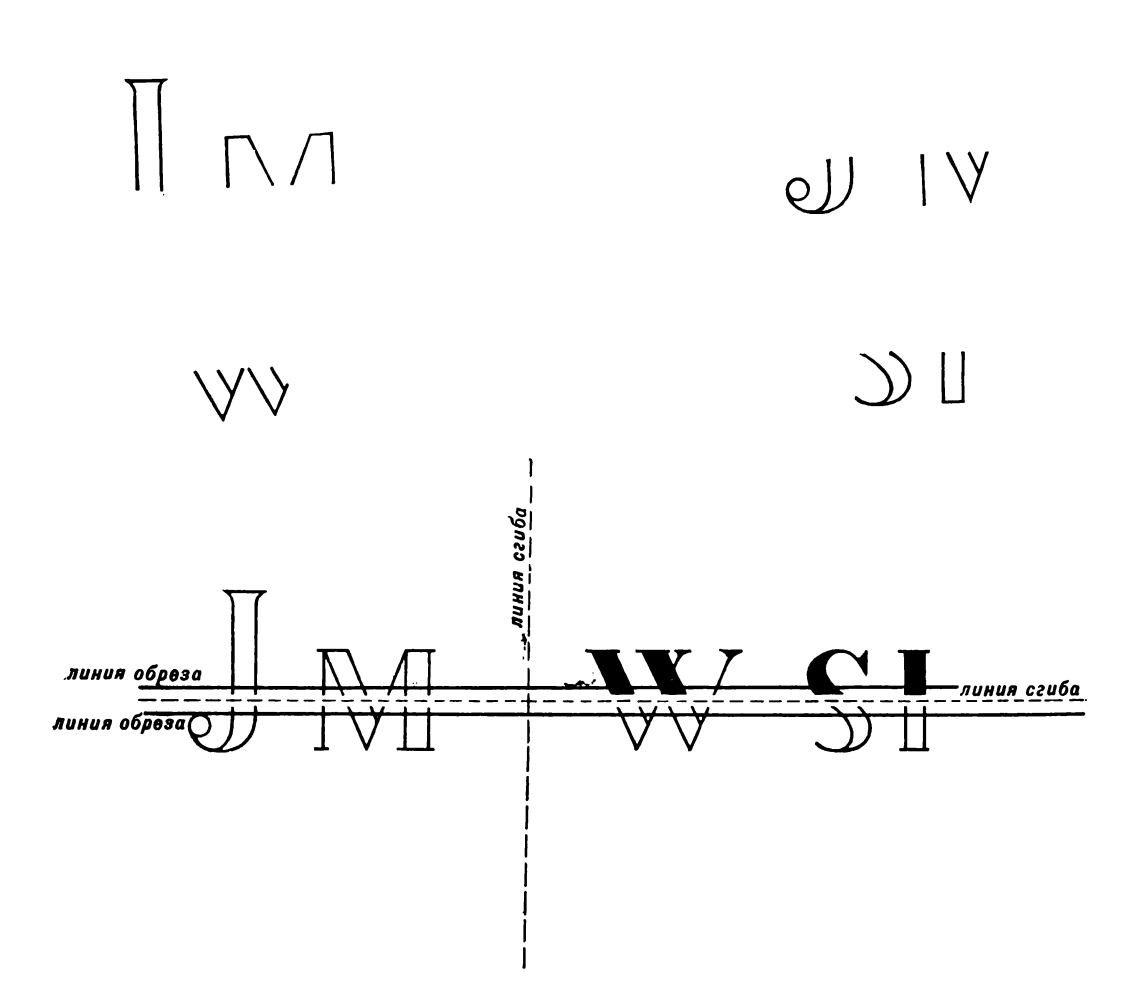


Схема восстановления С. А. Клепиковым водяного знака на бумаге списка В.

научного сотрудника отдела, отдавшего изучению бумажных знаков десятки лет кропотливого труда.

Я давно пришел к убеждению, что люди делятся на стяжателей и бессребреников и что наиболее ценные научные работы пишутся бессребрениками, влюбленными в предмет своего исследования. Клепиков принадлежал к их числу.

Синий рабочий халат облегал его сутулую фигуру подвижника. Склонив над столом седую, изжелта-белую голову, он с интересом всматривался сквозь стекла очков в скопированные мной следы филиграней, лукаво усмехаясь большим тонкогубым ртом.

— Очень любопытно!..— сказал он наконец, беря со стола лист чистой бумаги и складывая его тетрадкой. — Один сгиб... второй... третий... Формат наш будет одна восьмая... Дело в том, что филиграни разрезаются на части, а нам нужно собрать их воедино...

И тут на моих глазах началось волшебство.

Он разгладил сгибы сложенного тетрадью листа, нанес карандашом на верхнем поле двух сошедшихся «голова к голове» страниц остатки срисованных мной водяных знаков и, учитывая ширину среза, соединил фрагменты на обеих страницах пунктиром; затем развернул сложенный «восьмушкою» лист, и я увидел превосходно восстановленную филигрань, состоящую из латинских литер: «IM WSI».

Это означало: «Ярославская мануфактура внуков Саввы Яковлева»[5].

— В альбоме водяных знаков Тромонина, — пояснил С. А. Клепиков,— эта филигрань связана с 1805 годом. В моем собрании филиграней она также ранее 1805 года не встречается, однако, осторожности ради, ее надо отнести к 1795—1805 годам...

Так, благодаря знаниям и опыту мастера своего дела С. А. Клепикова, удалось кое-что сделать по части датировки списка В. Ведь если бы на бумаге этой рукописи оказались водяные знаки 80-х годов XVIII века, мое предположение о позднейшем происхождении этой редакции оказалось бы несостоятельным. Но случилось иначе, и я был удовлетворен.

Теперь с еще бо̀льшим интересом вернулся я к мысли о Г. И. Сафронове, полагая, что какая-то часть истории этой рукописи ему известна. Мне было необходимо с ним встретиться. И я решил, что самым лучшим способом завязать это знакомство будет письмо...»

* * *

«...— Я проникся всей серьезностью ваших интересов... — начал, усаживаясь поудобнее в кресле, плотный, пожилой человек интендантской внешности, в военной форме, но без погон.

Письмо подействовало, и Георгий Иванович по получении его не

замедлил явиться ко мне с визитом. На сероватом лице и в светлых холодных глазах его появлялось и быстро исчезало любезное выражение. Прикрывая им едва уловимое недовольство оттого, что приходится тратить время на не очень нужную ему беседу, он говорил:

— В сущности, никакого отношения к этой рукописи я не имею и сейчас вам все объясню... В 1939 году я служил в Москве бухгалтером Треста коммунального хозяйства Фрунзенского (тогда еще Хамовнического) района. Шефом моим — главным бухгалтером — был Д., Василий Павлович. Пил он горькую, и, когда бывал в запое, получку обычно приходила получать жена. Д. часто брал у своих сослуживцев взаймы и однажды, задолжав мне некую сумму, предложил взять у него в уплату долга старинную рукопись — «Путешествие» Радищева. Он сказал, что рукопись эта ценная и что взял он ее у себя дома, на чердаке, из корзины, в которой много рукописных книг, оставшихся от какого-то политкаторжанина, родственника жены.

Из дальнейшего рассказа моего собеседника выяснилось, что Василий Павлович в начале Великой Отечественной войны умер; супругу же его Сафронов недавно видел; проживает она в Москве, где-то на Сущевском валу, в районе Марьиной рощи; к сожалению, ни имени, ни отчества ее он вспомнить не мог.

Пообещав уточнить адрес вдовы Василия Павловича, Сафронов ушел, оставив мне очень слабую надежду. Тем не менее через несколько дней раздался телефонный звонок.

— Я уезжаю, — послышался в трубке голос Сафронова. — Еду по путевке в Крым и хочу перед отъездом выполнить свое обещание... Ну, так вот: я ошибся, — вдова Василия Павловича проживает не в Марьиной роще, а в «Грузинах»... Желаю успеха...— и голос в трубке пропал.

Итак, адрес менялся: Сущевский вал — Марьина роща — «Грузины»... Я подумал, что Сафронов за давностью времени действительно не может припомнить адрес, но в неточности его указаний скрывается смутная определенность района. И у меня возник кустарный, почти фантастический план.

Предполагая, что Марьина роща отложилась в памяти Сафронова не случайно, я решил обследовать не только этот район, но и ведущие к нему «подступы», а именно — Сущевскую улицу, перпендикулярную упомянутому Сафроновым Сущевскому валу; у меня была твердая уверенность, что этот район в поисковом отношении предпочтительнее «Грузин...»

* * *

«...Мой кустарный план заключался в том, чтобы постепенно обследовать пространство намеченного района, знакомясь со списками жильцов в помещениях домовых контор.

Был конец зимы, февраль. Мокрая снежная пелена висела в воздухе, когда я, закончив на Сущевской улице обход домов с четными номерами, перешел на «нечетную» сторону — против дома № 31...

Длинный список жильцов висел в конторе на стене, между окнами. Пробегая взглядом расположенные столбцом фамилии, я, дойдя до обитателей квартиры № 10, оторопел.

Но отнюдь не фамилия главного бухгалтера Д. привлекла мое внимание: в числе жильцов этой квартиры оказались: Цебриков Н. С., Цебрикова Н. М. и Цебриков Н. Н. (видимо, их сын).

На Сущевской улице, по адресу, приблизительно указанному Сафроновым, где я искал бывшую владелицу списка «Путешествия», обнаружились Цебриковы — фамилия, скорее всего, декабристского происхождения! Но ведь список «Путешествия», который привел меня на Сущевскую улицу, написанный на бумаге начала XIX века, тоже мог иметь отношение к декабристам!.. Не значит ли это, что между вдовой Василия Павловича Д. и этими Цебриковыми есть какая-то связь?!..

Я вышел из домовой конторы и разыскал дворника.

— Не проживал ли в этом доме Д., Василий Павлович?

— Как же! Веселый был человек! — отозвался тот с усмешкой. — Да ведь он давно помер... А у нас в десятой квартире ихняя сноха живет...

«Сноха» мыла в полутемных сенях пол и при моем появлении, разгибая спину, сказала:

— Николай Семеныча вам?.. Он еще не приходил.

Я объяснил, что разыскиваю вдову Василия Павловича.

— Ольгу Семеновну?.. Уехала она отсюда в Марьину рощу...

Но более точный адрес «сноха» сообщить мне не смогла. Я покинул двор дома № 31, соображая, что Ольга Семеновна, очевидно, приходится Николаю Семеновичу сестрою, иначе говоря, является урожденною Цебриковою. Зная имя и отчество вдовы Василия Павловича, я через адресный стол узнал ее адрес и решил в тот же день, к вечеру, ее навестить...»

* * *

«...— Кто вы?! — не без оттенка испуга спросила, впуская меня в прихожую, полная, бледная, круглолицая женщина лет шестидесяти, в круглых очках, еще больше оттенявших бледность ее лица своей темной оправой, одновременно похожая на московскую просвирню и на провинциальную швею.

Для начала я сказал, что интересуюсь потомками декабриста Цебрикова. Хозяйка понимающе кивнула головою, открыла дверь в комнату, и я вошел.

— Садитесь, пожалуйста, — сказала она и сама села против меня за стол, накрытый пестрой, в немыслимых цветах, скатертью.— Да, мы — от декабристов, это верно. Нас, Цебриковых, несколько семей в Москве...

Через открытую форточку снаружи не доносилось ни звука. Деревянный дом барачного типа, в котором жила Ольга Семеновна, стоял в тихом Октябрьском проезде, упиравшемся одним концом в шумную Трифоновскую улицу, составляя с нею резкий контраст.

Пестрый «ситец» обоев, увешанных фотографиями, половички на полу, герань на подоконниках и мерный стук ходиков, казалось, исчислявших какое-то свое «допотопное» время, — все это создавало забавный, очень старомодный уют.

Поговорив о Цебриковых и узнав от моей собеседницы, что представители этой фамилии — ее родственники — проживают еще на Сущевском валу и на улице Кирова, я, перейдя к делу, сказал:

— Меня, помимо декабристов, интересует еще Радищев...

— А у нас была рукопись Радищева, — тотчас отозвалась Ольга Семеновна, — собственной его руки...

Я не стал ее разубеждать, так как это не имело для меня значения, и, вынув из папки несколько фотокопий с принадлежавшей ей ранее рукописи, спросил:

— Узнаёте?

— Эта самая.

— Сомнений не вызывает?

— Какие же тут сомнения?..

— В таком случае, Ольга Семеновна, не можете ли вы сказать, как она к вам попала?.. Георгий Иванович Сафронов говорил мне, что она досталась вам от какого-то вашего родственника из политкаторжан.

Ольга Семеновна сделала строгое лицо и покачала головой, протестуя.

— Никакого Сафронова я не знаю, — произнесла она ледяным тоном, — и в сродственниках моих не было никаких политкаторжан... Рукопись эта не от меня, то есть не от Цебриковых, а от мужа моего, вернее сказать — от его отца, Павла Ивановича Д., моего свекра.

— А чем свекор ваш занимался?

— Сорок лет, — ответила она не без гордости, — прослужил надзирателем в Бутырской тюрьме.

— Как интересно!

— Еще бы!.. Павел Иванович как станет, бывало, рассказывать о своей службе — заслушаешься... Помнил он, между прочим, как в тюрьму приходил Лев Толстой — посмотреть на Катюшу Маслову...

Я подумал тут, что к рассказу Ольги Семеновны следует отнестись с осторожностью; в частности, никакой ведь Катюши Масловой в Бутыр-

ках никогда не было, и Толстой посетил эту тюрьму (около 1899 года) просто для того, чтобы понаблюдать тюремный режим [6].

— Павел Иванович, — продолжала Ольга Семеновна, — всегда хорошо отзывался о политических, восхищался их умом и мужеством и был любим ими...

Было ясно, что она говорит как по заученному, и я перебил ее:

— Но от кого же он получил рукопись?

— Вот этого уж точно сказать не сумею... Знаю только одно: от того, кого вынесли в сундуке.

— Как в сундуке?! Побег такой был, что ли?..

— Вот именно... Павел Иванович помог одному заключенному бежать. Тот ему перед побегом и подарил рукопись. А фамилии его не помню...

Тут в комнату вошла светловолосая, среднего роста девушка, очень крепкого сложения, с твердыми, суровыми чертами лица.

— Дочь... Надежда...— представила мне вошедшую Ольга Семеновна и объяснила ей, кто я и зачем пришел.

Мы проговорили втроем еще несколько минут. Затем я поблагодарил их обеих и удалился.

Стены мокрого снега обступили меня на улице со всех сторон.

В белесом сумраке похожим на бульвар Октябрьским проездом я медленно брел мимо деревянных корпусов, обращенных к тротуару торцами. Впечатление от проведенной беседы держалось во мне, как жар.

Слова Ольги Семеновны о том, что в Москве есть еще и другие Цебриковы, интересовали меня в этот момент мало: передо мной открывался интереснейший след истории одной из наиболее ценных копий «Путешествия», бывшей какое-то время «узницей Бутырской тюрьмы».

Неизвестное лицо, совершившее этот смелый побег, должно занять свое место в моей поисковой «таблице». Мне казалось необходимым найти это неизвестное, определить этот Икс.

С чьим именем связан был данный список? Не одного ли он происхождения с «лонгиновским»? И какова его история до момента, когда он попал в Бутырки?.. Попытаться узнать все это можно было, только просмотрев тюремный архив...»

* * *

Оказалось, что архивные материалы Департамента полиции, Главного тюремного управления и Московского охранного отделения содержат подробности о необыкновенном побеге, совершенном из Московской центральной пересыльной тюрьмы (Бутырок) в 1906 году.

Побег произошел 20 мая этого года, в день, когда из тюремной больницы освобождался на поруки студент Московского университета

Владимир Пржиходский; в корзине вместе с вещами Пржиходского был вынесен один из организаторов московской забастовки почты и телеграфа 1905 года — Константин Викентьевич Парфененко, разъездной чиновник Отдела перевозки почт по железным дорогам. В приметах для розыска его сообщалось: «рождения 1882 года; среднего роста, худощавый, блондин, носит пенснэ» [7].

Следствием было установлено, что в побеге Парфененко виновны тюремные надзиратели Николаев и Царегородцев (а вовсе не надзиратель Д., как утверждала Ольга Семеновна). Николаев сам запер на замок корзину и увязал ее веревками, не проверив предварительно, что в ней находится, и приказал больничному служителю и одному уголовному вынести ее во двор.

Во дворе действительно стоял в это время надзиратель Д. Когда несшие корзину к нему приблизились, один из них пожаловался, что ноша очень тяжела. Д. отослал слабосильного арестанта обратно и вызвал двух служителей, которые вместе с первым вынесли корзину из ворот и поставили ее на пролетку[8]. Таким образом, никакого активного содействия побегу надзиратель Д. не оказал.

Из дела Департамента полиции о Всероссийском почтово-телеграфном союзе было видно, что Парфененко некоторое время после побега скрывался в Москве, на квартире у своего сослуживца, и вскоре, видимо, бежал за границу — в Швейцарию или во Францию[9], так что, в сущности, не было никакой надежды разыскать его по прошествии пятидесяти с лишним лет.

Между тем в том же деле сообщалось, что Пржиходский перед выходом своим из тюрьмы поместил Парфененко в корзину, накрыл одеялом и затем заложил его своими книгами. Было очень важно узнать состав этих книг Пржиходского (для определения круга его интересов) ибо «цебриковский» список «Путешествия» мог принадлежать и не Парфененко, а его товарищу, помогшему ему бежать.

Следственные материалы о Пржиходском не содержали ничего направляющего на дальнейшие поиски; кое-какие детали все-таки настораживали, и без проверки ими нельзя было пренебречь.

Студент математического факультета, сын начальника службы тяги Московско-Брестской (ныне Белорусской) железной дороги, эсер Пржиходский был арестован 12 сентября 1905 года «по связям с известной Зинаидой Коноплянниковой», которая перед этим прожила в квартире Пржиходских — в доме Брестской железной дороги (у нынешнего Белорусского вокзала) десять дней.

Во время обыска у Владимира Пржиходского «ничего преступного обнаружено не было», в комнате его не оказалось никаких рукописей; что же касается книг, то это были заграничные революционные издания. Однако найденные у Пржиходского листки из его записной книж-

ки уличали его в комплектовании крестьянских и рабочих библиотек и рассылке их на места.

В октябре 1905 года Пржиходский был освобожден по амнистии, а в декабре участвовал в Московском вооруженном восстании — дрался с полицией и казаками на Чистых прудах. Арестованный вторично, он 20 мая 1906 года был выпущен на поруки, но, так как помог бежать Парфененко, скрылся. Арестованный в третий раз, он был судим и выслан в Енисейскую губернию, откуда зимой 1910 года бежал.

Дальнейшие следы его терялись. Поэтому не оставалось ничего другого, как обратиться к документам об «известной Коноплянниковой», приехавшей в сентябре 1905 года в Москву из Саратова. Член партии эсеров, учительница, двадцати семи лет, она была арестована за связь с саратовской динамитной мастерской.

За три года до этого жандармское наблюдение обнаружило Коноплянникову в селе Гостилицы, Петергофского уезда, где она учительствовала в сельской школе. Жандарм, доносивший о ней в Департамент полиции, писал: «... у Коноплянниковой имеется большое количество книг, в которых говорится, что бога нет, а потому не может быть и земного царя, и что, кроме книг печатных, у Коноплянниковой есть и рукописные сочинения такого же рода» (разрядка моя.— *Г. Ш.*).

И, хотя жандармский донос не давал прямого повода к предположению, что среди этих рукописей гостилицкой учительницы находился список «Путешествия» Радищева, контроля ради нужно было проследить до конца ее жизненный путь.

Ведь могло быть и так, что Коноплянникова привезла с собою список «Путешествия» из Саратова (города, с которым у родных Радищева была прямая связь). И могло же быть так, что она упомянула об этом авторе и его революционной книге в каком-нибудь своем письме или устном выступлении, когда ее судили и даже когда ее вели на казнь.

Если бы нечто подобное удалось обнаружить, можно было бы уже допустить, что список «Путешествия» от Коноплянниковой попал к Пржиходскому, а с ним (вместе с его книгами) — в Бутырскую тюрьму.

Тогда подвинулось бы решение вопроса о том, с какими общественными кругами связано происхождение данного списка и правду ли сказала Ольга Семеновна, что историю этой рукописи надо восстанавливать не по линии цебриковской, декабристской, а совсем по другой...

Итак, кратко о Коноплянниковой и последних годах ее жизни.

Арестованная в середине сентября 1905 года, она через месяц была освобождена. А в следующем году, в феврале, розыскная агентура напала на след террористки, проживавшей под чужим именем в Гельсингфорсе. Агенту удалось добыть клочки ее разорванного чернового

письма; она сообщала в нем своей организации, что собирается в Петербург, дабы «окончательно согласовать свою жизнь с идеей», и недвусмысленно намекала, что если в течение двух недель не получит конкретного задания, то сама, по своему выбору и усмотрению, совершит террористический акт[10].

Ей удалось обмануть бдительность полицейских агентов и летом 1906 года поселиться в окрестностях Петербурга.

12 августа в столице, на Аптекарском острове, группа максималистов совершила покушение на Столыпина, взорвав на его даче несколько бомб.

А 13 августа на станции Новый Петергоф был убит усмиритель Московского декабрьского вооруженного восстания, тот самый каратель Красной Пресни, которого В. И. Ленин назвал «дикой собакой», — генерал-майор Мин.

В 8 часов 7 минут вечера худощавая, смуглая, черноволосая женщина, без шляпы, в черном платье, поверх которого было надето иссера-желтое пальто, в упор выстрелила из браунинга в спину генералу Мину несколько раз.

Зинаида Коноплянникова «окончательно согласовала свою жизнь с идеей».

Ее одиночные выстрелы не помогли делу и — как это всегда бывало в подобных случаях — только усилили правительственный террор.

26 августа при Трубецком бастионе Петропавловской крепости, где за восемьдесят лет до того судили декабристов, состоялось заседание военно-окружного суда. В два часа дня был объявлен приговор, а в ночь с 28 на 29 августа Коноплянникову на специальном катере доставили в Шлиссельбург.

До последней минуты она держала себя с полным самообладанием, последней своей воли не объявила, от напутствия священника отказалась.

Выслушав приговор, она отстегнула от платья белый крахмальный воротничок, обнажила шею и дала связать себе руки. Палач быстро управился с нею. Потом, когда все было кончено, он обыскал казненную, достал из кармана ее платья яблоко и тут же, не отходя от виселицы, стал есть.

Из записной книжки автора

«...Итак, все три линии поиска — о Парфененко, Пржиходском и Коноплянниковой, прослеженные с целью выяснить какое-либо отношение этих лиц к списку «Путешествия» Радищева, обрывались безрезультатно. Но досаднее всего был обрыв поисковой линии, связанной с Парфененко, так как именно его «вынесли в сундуке».

Между тем газетные статьи и листовки 900-х годов, а также относящиеся к этому периоду архивные материалы подтверждали возможность проникновения в московские тюрьмы «Путешествия» в годы первой русской революции, так как радищевские идеи продолжали жить в русской революционной среде.

Передовые московские газеты широко отметили в 1902 году сто лет со дня смерти Радищева. Внимание властей в особенности привлекла статья В. Е. Якушкина. Московский обер-полицмейстер Трепов написал по этому поводу одной своей знакомой — начальнице Елизаветинского института в Москве О. А. Талызиной — следующее безграмотное письмо:

«...Радищев был социал-демократ, что в екатеринское время не могло быть терпимо. Якушкин же — революционер и, если ему до сих пор не свернули шею, то это только благодаря протекции сильных людей, за него заступающихся. Он в година Пушкинских торжеств произнес такую речь, за которую был выслан из Москвы...» [11]

«...О Радищеве я сужу совершенно правильно,— развивал свою мысль Трепов в другом письме к той же Талызиной,— лучшим доказательством этого служит то, что за него ухватилась теперь (разрядка моя. — *Г. Ш.*) наша мерзкая печать с «Русскими ведомостями» во главе...» [12]

3 января 1903 года, ко дню двухсотлетия русской печати, была выпущена листовка Петербургского комитета РСДРП. «Там, где есть еще самодержавие,— говорилось в этой листовке,— не может быть свободы мысли и слова. Вместе они не могут ужиться... Первый это понял писатель Радищев сто лет тому назад...» [13]

Только в 1906 году был снят цензурный запрет с «Путешествия». За один этот год вышло девять изданий книги Радищева общим тиражом в 30 000 экземпляров [14] и в этом же году тюремное начальство стало допускать ее для чтения в Бутырскую тюрьму... [15]

Все это вызывало настойчивое желание продолжить поисковую линию Парфененко, но возможности для этого я не видел. Правда, в тюремных документах мелькали имена двух его братьев — Сергея и Алексея, и я подумал, что, если бы они были живы, следовало бы их разыскать и расспросить.

В связи с этим я сделал наивный, почти не суливший надежды шаг — заказал в адресном столе справку об обоих братьях. Ответ был отрицательный: в Москве не проживают. Тогда я решился на шаг еще более наивный и заказал справку о самом Константине Викентьевиче Парфененко. И тут случилось «чудо»: человек 1882 года рождения, пятьдесят лет назад бежавший из царской тюрьмы и скрывшийся, видимо, за границу, оказался «живым и здоровым», проживающим в Москве, на Лефортовском валу...»

* * *

«...Худощавый, ниже среднего роста, пожилой человек, нисколько не удивившись моему появлению, распахнул дверь в свою залитую солнцем комнатку, не сводя с меня взгляда внимательных, добрых глаз.

Его редкие, зачесанные назад табачного цвета волосы были чуть тронуты сединою, да и вся его внешность — маленькие, темные, живые глаза и невозмутимая собранность лица, почти пощаженного морщинами,— не позволяла дать ему больше чем пятьдесят пять — шестьдесят лет.

Девяти метров площади в новом доме, очевидно, было достаточно для этого участника первой русской революции, скромного пенсионера и холостяка.

По подоконнику были рассыпаны ягоды сушеной рябины. Железная кровать застлана суровым, простым одеялом. Небольшой обеденный стол, два стула. На стене — полки с папками и связками газетных вырезок, а рядом с ними — тарелки, хозяйственно поставленные на ребро.

Объяснив Константину Викентьевичу, что я писатель, интересующийся некоторыми деталями его побега, я стал задавать вопросы. Он отвечал охотно, без какой бы то ни было уклончивости. Беседа вязалась легко.

— ...Вам, кажется, удалось бежать за границу?

— Да, я провел много лет в Париже.

— А когда вы вернулись?

— В тысяча девятьсот двадцать первом году. Я был выслан из Франции вместе с четырьмя коммунистами. Наш отъезд даже запечатлен фотографом...— и он, потянувшись к полке, извлек из связки газет номер «Фигаро».

— Но ведь вы беспартийный,— заметил я с недоумением.

— Да, но французские власти сочли меня опасным.

— А почему Пржиходский помог бежать вам, а не кому-либо другому?

— Просто товарищеская солидарность... Был и другой претендент на корзину, но ростом не подошел.

— Вы хорошо помните обстоятельства вашего побега?

— Еще бы!.. Помню, как учился дышать в корзине, как Пржиходский накрыл меня одеялом и завалил книгами... Помню, как барачный служитель и какой-то заключенный вынесли корзину во двор, поставили ее на землю у ног надзирателя и один из них сказал: «Тяжела! В такой корзине человека вынести можно!..» Вы понимаете, что̀ я пережил в этот момент?..

— Скажите, Константин Викентьевич, не называл ли Пржиходский

каких-либо своих друзей или родственников? — спросил я с намерением расширить свои сведения об этих двух людях.

Парфененко посмотрел на меня снисходительно.

— В тюрьме,— сказал он с усмешкой,— о друзьях и родственниках не говорят.

— А вы могли бы вспомнить, какие книги были в тюремной больнице у Пржиходского?

— Исключительно по физике и математике.

— А вот такой книги — рукописной — у него либо у вас не было? — спросил я, вынимая из портфеля пачку фотокопий с «цебриковского» списка «Путешествия».— Для меня,— добавил я,— это очень важно, и я сейчас вам объясню, почему...

Тут последовало мое краткое объяснение. Парфененко с интересом меня выслушал, потом взял мои фотокопии, внимательно просмотрел их и, возвращая их мне, сказал:

— Могу вас заверить, что этой рукописи ни у меня, ни у Пржиходского в тюрьме не было. Память моя до сих пор мне не изменяла, и я не забыл бы такой случай. А скоропись мы тогда умели читать...

Я отметил про себя это многозначительное «мы», явно подчеркивавшее высокий культурный уровень ветеранов революции. А Парфененко продолжал:

— «Путешествие» Радищева я читал, читал, именно находясь в заключении, но то была печатная книга, изданная в то время несколько раз подряд. Что же касается истории, рассказанной вам бывшей владелицей рукописи, мне кажется, что вас — из каких-то соображений — пустили по ложному следу...

И я подумал, что этот бывалый человек, кажется, прав...»

* * *

«...что след был ложный, в этом я с каждой минутой убеждался все больше, вспоминая скрытность Ольги Семеновны — как не пожелала она подтвердить свое знакомство с Сафроновым, а потом заговорила заученными словами, будто читала рассказ.

Закат пылал над Лефортовским валом. В мартовском зеленоватом небе чернели голые сучья деревьев, но в воздухе уже тянуло весной.

...Клетка в моей поисковой «таблице» с вписанным в нее Иксом (Парфененко) оказалась занята неверным предвидением. Икс требовал другой подстановки. Какой же? Цебриковы! Вот, видимо, кого следовало сюда вписать!..

Внезапный порыв ветра вывел меня из задумчивости и как бы ускорил зревшее решение. «Да! — сказал я себе.— Список, конечно, «цебриковский», и я недаром так его называл, хотя из осторожности и брал

это слово в кавычки. Но утверждение мое надо еще обосновать!.. Придется изучить биографии наиболее известных Цебриковых, и прежде всего выяснить по московским справочникам, какие представители этой фамилии, помимо уже мне известных, жили за последние тридцать — сорок лет в Москве...»

* * *

Адресная и справочная книга «Вся Москва» была просмотрена более чем за четверть века. В результате удалось сделать наблюдение, которое в данном «исследовательском хозяйстве» иначе, как чрезвычайно важным, назвать нельзя.

Наряду с Цебриковым Яковом Федоровичем, ломовым извозчиком, проживавшим на Каланчевской улице, и Цебриковым Алексеем Васильевичем, домовладельцем в Марьиной роще, обнаружилось целое гнездо Цебриковых на Остоженке, в непосредственной близости от дома, принадлежавшего в начале XIX века П. А. Ушаковой, где умерла Анна Ивановна Аргамакова, видимо, владевшая оригиналом особой редакции «Путешествия из Петербурга в Москву».

Так, на самом углу Хилкова (по-старинному — 2-го Ушаковского) переулка и Метростроевской (бывшей Остоженки), в доме № 35, в каких-нибудь ста с лишним метрах от дома П. А. Ушаковой, еще в 1917 году проживала вдова генерал-майора Мария Моисеевна Цебрикова. Заслуживало внимания и другое: не так далеко от этого дома, по прямой — на расстоянии тоже всего нескольких сот метров, находился Трест коммунального хозяйства Хамовнического района, где в 30-х годах главным бухгалтером был Василий Павлович Д.

По тем же адресным и справочным книгам, а также по сведениям о прихожанах «Воскресенского на Остоженке прихода» выяснилось, что муж М. М. Цебриковой, Михаил Михайлович, генерал-майор, участник Крымской войны и автор «Статистического описания Смоленской губернии», прожил в этом приходе около двадцати лет и умер в 1900 году.

А в доме № 7 по 1-му Ильинскому переулку (ныне — 1-му Обыденскому), на той же Остоженке, в предреволюционные годы и в первые годы советской власти проживал сын генерал-майора, палеонтолог, приват-доцент Московского университета по кафедре геологии и минералогии, Владимир Михайлович; удалось также установить, что он — племянник Марии Константиновны Цебриковой, напечатавшей свое «Письмо императору Александру III» в 1890 году.

Последнее обстоятельство заставило вплотную заняться изучением биографий Марии Константиновны и ее племянника Владимира Ми-

хайловича, а также некоторых их предков. Сложившиеся в результате этих разысканий миниатюрные биографические портреты расположились в последовательно-хронологическом порядке, один за другим.

Роман Максимович (1761—1817)

Сын простого казака Максима Цебрика, по его собственным словам, «родился на свет в бедности». Уроженец Харькова, получил образование в местной семинарии, а у лейпцигских купцов, ежегодно приезжавших на Харьковскую ярмарку и останавливавшихся во дворе, где жили Цебриковы, обучился немецкому языку. Шестнадцати лет отправился с немецким обозом в Лейпциг и проделал большую часть пути пешком. Русский консул в Саксонии помог самоучке харьковчанину стать студентом Лейпцигского университета. Учась, Роман в то же время занимался переводами при сделках купцов на ярмарке. Возвратившись в Россию, получил место актуариуса в Коллегии иностранных дел. Два года спустя, в начале войны с Турцией, Цебриков был прикомандирован к походной канцелярии Потемкина. Находясь в лагере под Очаковом, он занялся переводом с французского замечательной, уничтоженной за границей, книги Анж Гудара «Мир Европы», автор которой выступал за «всеобщее замирение с отложением оружий на двадцать лет» [16].

Перу Р. М. Цебрикова принадлежит довольно много переводов и несколько оставшихся неопубликованными статей. Одна из них — «Адская политика тиранов и краткое напоминовение им человеколюбца» — трактовала о происхождении власти и развитии взаимоотношений правителей и народных масс.

«...когда необходимость и усилившиеся пороки общества,— рассуждает в этой статье Цебриков,— принудили людей избрать себе начальников или вождей, соделавшихся потом их властелинами и мучителями, были они первыми государями, ежели им название сие приписать можно, и довольствовалися тем, что видели невольников пред своими ногами в прахе ползавших, которым сами незадолго пред тем были подобны...» [17]

Статья эта написана под явным влиянием Ж.-Ж. Руссо; сочинения его в конце XVIII века были запрещены в России, поэтому Цебриков, говоря о вождях, «соделавшихся» мучителями народа, вынужден был заметить, что мысль эта — из книги, которую «благоразумие не позволяет ему наименовать» [18].

«Адская политика» Цебрикова наполнена острыми соображениями. Таково утверждение, что «иго договоров» ложится на плечи только простых людей, «кои одни обязаны их исполнять везде и во всякое время» [19]. Таков и конец статьи, содержащий грозное напоминание тира-

нам, что «одна только потребна минута, чтобы народу познать и уразуметь естественные свои права» [20].

Сестра жены Р. М. Цебрикова,— Варвара Александровна, урожденная Караулова, была замужем за генералом-от-инфантерии Б. Я. Княжниным — сыном Я. Б. Княжнина, автора знаменитого «Вадима» [21].

Трагедия «Вадим Новгородский» и «Путешествие» Радищева — книги одной печальной судьбы; поэтому понятно и естественно их объединение под одной переплетной крышкой, в уже упоминавшемся рукописном сборнике Архива древних актов. Нет сомнения, что Княжнины, а также их ближайшие родственники Цебриковы хорошо знали не только трагедию «Вадим Новгородский», но и «Путешествие из Петербурга в Москву».

Николай Романович (1800—1863)

Сын предыдущего; поручик лейб-гвардии Финляндского полка; декабрист; после 14 декабря разжалован в рядовые.

Членом Тайного общества не был, но на Сенатской площади вел себя вызывающе и стоял рядом с Кюхельбекером, когда у того дал осечку пистолет. При допросах и очных ставках был «нечистосердечен», а «в выражениях употреблял дерзость», за что на три месяца и девятнадцать дней был закован в кандалы.

В Петропавловской крепости сидел в одном каземате с Пестелем и Каховским; окошко камеры выходило на ров Кронверкской куртины; в день казни декабристов из этого окошка Цебрикову была видна половина крайней виселицы — одной из пяти, с гнилыми веревками, на которых, как потом писал он, «надобно было по два раза умирать».

Из Петропавловской крепости его отправили в Бийский гарнизонный батальон, оттуда — в Оренбург, а в конце 1826 года перевели на Кавказ.

Современник, заставший его в пехотном, фельдмаршала Паскевича полку рядовым, говорит, что к этому времени он совершенно «свыкся с жизнью солдата и потерял всякий светский лоск». Избегая общества офицеров, держался только своей братии — рядовых, играл с ними в карты, ходил в старой солдатской шинели, пропахшей махоркою, с лицом, задубевшим от дождя и ветра, в порыжелой от солнца фуражке, из-под которой торчали клочья седых волос.

Целых десять лет тянул он на Кавказе солдатскую лямку и только в 1837 году — за штурм Ахалциха — был произведен в прапорщики. За эти годы не раз встречался с декабристами: в Ставрополе — с Нарышкиным и братьями Беляевыми, в Тамани — с Лорером. Кавказ покинул в 1840 году.

Ему разрешили жить только в Саратовской и Тамбовской губерниях, и он провел в этих краях несколько лет.

Устроившись управляющим саратовским имением Л. А. Нарышкина, обретавшегося за границей, Н. Р. Цебриков столкнулся с мрачной действительностью и с глубокой душевной болью об этом писал:

«...Грабеж с одной стороны и беспорядочное распределение работ с другой были невыносимы. С крестьянами никакого человечества; а между тем эти 12 000 душ дают дохода ежегодно до 500 000 р. ассигнациями. В декабре 1840 года ужасно было видеть бедность этих крестьян!» [22]

В начале 50-х годов он получил место управляющего суконной фабрикой под Тамбовом и сошелся там с вольноотпущенной крестьянкой А. А. Титушкиной; от этой внебрачной связи у них родился сын Николай.

Почти все знавшие Н. Р. Цебрикова считали его человеком своеобразным, необузданно правдивым и пылким до сумасбродства. Этой горячностью проникнута и его статья, обвинявшая Ермолова в провале восстания, посланная автором Герцену, которого он глубоко чтил.

После многих безрезультатных просьб о разрешении въезда в столицу таковое наконец было дано Цебрикову летом 1855 года, в самый разгар Крымской войны *.

Белый как лунь, с солдатским Георгием в петлице, появился он в Петербурге, привезя с собой печальные вести о Севастополе. Его племянница Мария Константиновна записала встречу и беседу с ним.

«От дяди,— вспоминает она,— я слышала изумительные, невероятные слова: «Я рад, что нас побили, рад,— говорил он, а у самого слезы горохом падали на седые усы.— Мы проснемся теперь. Этот гром разбудит Россию. Мы пойдем вперед. Ты увидишь великие дела». На мое возражение, что он сам плачет, дядя отвечал: «Ну, что ж такое? Ум с сердцем не в ладу... Жаль Севастополя, жаль крови. А это к лучшему — глаза откроются» [23].

Вскоре Цебриков, верный идеям Герцена, принял участие в общественном движении 50-х годов.

Из Петербурга он писал декабристу Е. П. Оболенскому, что наградой за выпавшие им на долю лишения должно стать исполнение «задушевных убеждений молодости — уничтожение крепостного состояния» [24].

А немного позже, ища места и обращаясь с этой целью к сыну декабриста Е. И. Якушкину, заведовавшему в Ярославле Палатой государственных имуществ, с достоинством откровенничал: «Я променял ружье на соху, управлял разными имениями, берег и поправлял крестьян... и ничего не нажил, ничего не имею..., к счастью моему, у меня

* Этого добилась его сестра Наталия Романовна (в замужестве — Алимпиева), между прочим — ближайшая приятельница О. С. Павлищевой, сестры А. С. Пушкина.

довольно еще сил и энергии,— и всё перенесенное не в состоянии сломить меня»[25].

В 1857 году, находясь в Тульской губернии и управляя каширским имением Раевских — Кузьмищевом, Цебриков обратился к царю с прошением о «даровании усыновленному им мальчику Николаю» прав его законного сына. Ответа он не получил[26].

И. С. Тургенев хорошо знал Н. Р. Цебрикова и рекомендовал его своей приятельнице Е. Е. Ламберт «как отлично-честного и достойного человека для управления имением»[27]. В этом имении (в Сквирском уезде, Киевской губернии) Цебриков в 1860 году получил место управляющего и вскоре там умер. Несчастный случай оборвал его жизнь: помогая крестьянину поднять завалившийся воз, он оцарапал себе колено; в результате — нагноение и смерть от заражения крови, или, как тогда говорили, от «антонова огня»...

Такова в кратком изложении биография декабриста Цебрикова. Нет ли основания думать, что этот человек на каком-то этапе своей жизни мог «встретиться» с «Путешествием» Радищева и даже владеть им? Его собственноручное показание на допросе по делу декабристов как будто отрицательно отвечает на этот вопрос: «...книг либеральных никогда не читывал...— написал он против известного вопросного пункта.— Ко всем манускриптам имел отвращение с малолетства»[28].

Но именно чрезмерная категоричность ответа и заставляет отнестись к нему с недоверием, тем более что дошедшее до нас свидетельство Марии Константиновны говорит против него. «Когда дядю арестовали,— рассказывает она,— его друзья «шепнули» отцу о необходимости уничтожить некоторые дядины «книги и рукописи»[29]. Но ведь брат арестованного мог уничтожить не все рукописи, так как он сам интересовался запретной литературой: та же Мария Константиновна сообщает, что «уже взрослой видела переписанную его [отца] рукой тетрадь с текстом «Горя от ума»[30].

И, наконец, у Н. Р. Цебрикова еще в молодости было много возможностей для непосредственной «встречи» со списком «Путешествия», когда он бывал в доме своей опекунши и тетки по матери — Варвары Александровны Княжниной[31].

Эта светская женщина, поклонница Вольтера, имела литературный салон, где собирались поэты и прозаики того времени и где, конечно, была так же свежа память о Радищеве, как и память о свекре хозяйки дома — Якове Княжнине.

Мария Константиновна (1835—1917)

С сохранившегося фотопортрета сурово смотрит богатырского сложения немолодая женщина с коротко подстриженными и зачесанными назад волосами; лицо ее открыто, благородно и мужественно; мужест-

венность и даже — в значительной степени — мужской склад характера как бы подчеркнуты носимой по-мужски часовой цепочкой, идущей от нагрудного (видимо, с часами) кармана на темном старомодном платье к одной из пуговиц посредине груди.

Это — Мария Константиновна Цебрикова, племянница Николая Романовича, декабриста, автор донкихотского и все-таки полного дерзко-обличительной силы «Письма» Александру III, сподвижница Шелгунова и Михайловского, пионер женского движения в России, сотрудница некрасовских «Отечественных записок», «Русского богатства», «Дела» и других передовых журналов, первая русская женщина критик-публицист.

Ее друг Шелгунов писал, что «жилка современности» бьется в ней сильнее, чем в ком-либо из ее соотечественниц-писательниц, и называл ее «казацкая кость».

Родилась она в Кронштадте, где отец ее был старшим адъютантом штаба главного командира порта. Мария Константиновна в оставленных ею автобиографических записках часто вспоминает об отце.

По ее словам, это был человек прямодушный; он даже Николаю I не боялся говорить в глаза: «Ваше величество изволите ошибаться»,— но называл идеи своего осужденного брата «завиральными» и превыше всего ставил воинский долг и честь.

Мария Константиновна вспоминает, как однажды муж ее тетки Наталии, Алимпиев, произнес фразу: «Всем скоро наденут намордники!» — и как по этому поводу страстно спорил с ним отец.

Но Константин Цебриков, сторонник «охранительного направления», все же не был чужд каким-то поискам: переписывал запретного Грибоедова, интересовался масонством (значит, Новиковым и связанными с ним лицами) и вообще по своим литературным вкусам и интересам был обращен в XVIII век.

«Дядя декабрист,— признавалась в связи с этим М. К. Цебрикова в письме к поэту И. З. Сурикову,— был для меня вполне отцом...»[32] Николай Романович в годы ее молодости послужил для нее идеальным примером, и она сохранила о нем благодарную память до конца своих дней. В большой степени обязанная ему своими демократическими взглядами, она взялась духовно опекать его сына Николая Титушкина, которого «узаконить» дяде так и не удалось.

Около 1870 года она писала Н. А. Некрасову, редактировавшему «Отечественные записки»:

«Милостивый государь Николай Алексеевич! Обращаюсь к Вам с просьбой приказать выдать мне, если можно, «Отечественные записки» за этот год, что было <бы> для меня большим одолжением потому, что я должна посылать книги моему двоюродному брату, и это увеличило бы запас дельного чтения...»[33]

Арестованная в конце февраля 1890 года, Мария Константиновна была выслана на три года в Вологодскую губернию. Попав временно (для лечения) в Вологду, она тотчас организовала там кружок из ссыльных, за что вскоре была переведена в Сольвычегодск.

На личном счету М. К. Цебриковой Департамент полиции числил целую серию политических дел. Среди них (помимо нашумевшего «Письма» царю) были: учреждение в Швейцарии женского социал-демократического общества, сочинение брошюры «Теория ценности по Марксу» и распространение революционных идей в народе путем устройства библиотек.

Осенью 1892 года Цебриковой, по ее просьбе, было разрешено поселиться в усадьбе отставного штабс-капитана Попова — Воробьеве — (в Краснинском уезде, Смоленской губернии), и за нею — вместо гласного — был учрежден негласный надзор.

Женой владельца этой усадьбы была О. Н. Попова, издательница, которая позднее, в 1897 году, передала марксистам принадлежавший ей журнал «Новое Слово», где В. И. Ленин напечатал две статьи.

Поселившись на Смоленщине, у Поповых, Мария Константиновна начала писать мемуары, одновременно ведя обширную переписку.

Среди ее многочисленных корреспондентов были: автор «Овода» Э. Л. Войнич, С. М. Степняк-Кравчинский, В. Д. Бонч-Бруевич, В. В. Стасов, Лев Толстой. «Всю-то жизнь чувствовать удавку на шее!»— жаловалась она историку литературы Е. С. Некрасовой, а в мемуарах своих вспоминала годы, проведенные в Петербурге и в Москве. Тогда металась она из одной тюрьмы в другую в хлопотах о передачах и свиданиях с друзьями и родственниками, терпеливо снося издевательства чиновников в мундирах тюремного ведомства, на воротниках которых, как символ лишения человека свободы, сверкали золотые ключи...

В 90-х годах она переводила для издателя П. Ф. Пантелеева французские и английские книги, играла «на летнем театре для народа», а осенью 1896 года ездила к своему двоюродному брату Николаю Титушкину в Крым.

Она прожила долгую жизнь и умерла 20 марта 1917 года недалеко от Мисхора, в крымском имении Барба-Кристо, принадлежавшем Н. Н. Титушкину, которого она опекала. Впрочем, из родственников своих она опекала или пыталась опекать не только его одного.

В делах Департамента полиции и Московской охранки имеются полученные «агентурным путем» выписки из двух писем Марии Константиновны, датированных 1893-м и 1896 годами, к ее племяннику Владимиру Михайловичу Цебрикову, проживавшему в Москве.

«Дорогой племянник Владимир Михайлович!..— писала она в одном из этих писем.— С магистерством поздравляю, желаю успеха и так же, если не более, радуюсь тому, что Вы и студенты любите друг друга.

Желаю еще, чтобы общий тон Университета был таков, что порядочным людям можно было бы жить, а не уходить, как ушли лучшие из профессоров...»[34]

Владимир Михайлович Цебриков, именуемый в письме Марии Константиновны ее племянником, был тот самый палеонтолог, приват-доцент Московского университета, который в адресной и справочной книге 1914 года был показан живущим на Остоженке, недалеко от дома, принадлежавшего в начале XIX века П. А. Ушаковой, а именно — в 1-м Ильинском переулке, в доме № 7, кв. 6.

Владимир Михайлович (1867— г.)

Первая же попытка ознакомиться с биографией этого человека привела к неожиданности: в метрическом свидетельстве В. М. Цебрикова, обнаруженном в делах Московского университета, говорилось, что он родился в Симферополе[35], а «листок негласного надзора» Департамента полиции называл местом его рождения город Вюрцбург в Баварии[36]. В этом расхождении двух документов, очевидно, был какой-то смысл.

Как бы то ни было, такая неясность исходных биографических данных заставила заняться этим лицом вплотную, и это новое поисковое направление не замедлило дать свой результат.

Оказалось, что В. М. Цебриков в 1896 году «привлекался к дознанию» по делу кружка народовольцев-террористов, организовавших три лаборатории для производства взрывчатых веществ. Кружком этим руководили В. Ф. Иванов и П. В. Оленин. Динамит, изготовлявшийся в конспиративных лабораториях, предназначался для покушения на Николая II во время коронации его в Москве[37].

В. М. Цебриков был задержан на квартире Иванова, когда там производила обыск полиция. Затем последовал обыск на квартире у него самого.

При этом были найдены и отобраны два письма к нему от его тетки М. К. Цебриковой, ее брошюра «Письмо к императору Александру III», много нелегальных, в том числе — народовольческих, изданий, автограф стихотворения Вл. Цебрикова, в котором упоминались «тираны», и черновой проект устава «Общества взаимопомощи лиц, занимающихся умственным трудом».

В. М. Цебриков был подчинен на два года гласному надзору полиции, с запрещением жить в течение этого времени в Московской и Петербургской губерниях, а также во всех университетских городах.

В конце 1897 года проживание в Москве было разрешено В. М. Цебрикову, и он вскоре возвратился к занятиям в Московском университете. В следующем году он женился на дочери горного инженера Яков-

лева, Лидии Владимировне, причем венчал их священник Воскресенской на Остоженке церкви Н. М. Миловской.

Здесь также замыкался один из кругов данного исследования, ибо священник Миловской (или Миловский), автор ряда книг, в частности интересной брошюры о Н. В. Гоголе и братьях Мухановых, был добрым приятелем книжника П. А. Ефремова, одного из своих прихожан.

Дом Ефремовых находился на углу бывшей Остоженки и Савеловского переулка, соседнего с 1-м Ильинским. Священник Миловской часто бывал в этом доме. По словам Ефремова, он давал ему читать написанную им подробнейшую бытовую летопись Воскресенского прихода, охватывавшую период чуть ли не в пятьдесят лет. Нет сомнения, что священнику Миловскому были хорошо известны интересы и личные связи В. М. Цебрикова, и «Летопись» эта могла бы раскрыть многое. К сожалению, судьба ее неизвестна; возможно, она попала в частные руки; что же касается московских архивов, то ни в одном из них найти ее пока не удалось.

Для дальнейшего ознакомления с биографией В. М. Цебрикова пришлось продолжить просмотр дел Московской охранки и полиции со сведениями, добытыми «агентурным путем».

«Роста выше среднего, с небольшой русой бородой, глаза серые и немного раскосые; одевается в черное пальто и черную шляпу; всегда ходит с палкой, как будто у него больные ноги» — так описывал внешность своего поднадзорного приставленный к нему агент[38].

Образ жизни его рисовался как уединенный и скрытный:

«Большею частью [время] проводит дома и редко, когда выходит куда-либо».

«Знакомства мало вел с кем»[39].

В начале 1900-х годов В. М. Цебриков и его жена становятся преподавателями московских Высших женских курсов, но место приват-доцента в университете по-прежнему остается за ним.

Во время студенческих волнений наиболее передовые профессора в знак солидарности со студентами не являлись на лекции. В феврале 1911 года московский градоначальник Адрианов сообщил товарищу министра внутренних дел Курлову, что в Москве на Высших женских курсах 9 февраля не читал лекций профессор Цебриков, сказавшись больным [40].

Очевидно, реакция, утвердившаяся в эти дни в стенах университета, заставила В. М. Цебрикова совершить и другой поступок, а именно — «сложить с себя звание приват-доцента», на что попечитель Московского учебного округа дал согласие 22 февраля[41].

Последний обнаруженный в университетских делах документ, касающийся жизненного пути В. М. Цебрикова, датирован 5 мая 1917 года. Это — его заявление ректору о своем желании вернуться в число при-

ват-доцентов и просьба зачислить его на естественное отделение физико-математического факультета по кафедре геологии.

Согласие было дано...[42]

Из записной книжки автора

«...Передо мной — четыре биографических справки о четырех представителях рода Цебриковых, которые, отражая идеалы своего времени, каждый по-своему, боролись с самодержавием на протяжении ста тридцати лет.

Судя по данным их биографий, каждый из них мог бы быть обладателем списка «Путешествия», попавшего после долгих «странствий» в Литературный архив. Здесь могла иметь место и своеобразная «эстафета» — передача рукописи от предка к потомку: близкий родственник Княжнина, вольнодумец XVIII века, Роман Максимович, мог передать ее своему сыну, Николаю Романовичу, впоследствии декабристу, тот — своей племяннице, женщине демократических убеждений, Марии Константиновне, а она — своему племяннику, народовольцу Владимиру Михайловичу. Но могло быть и не так.

Любое из этих лиц могло приобрести или получить данный список самостоятельно, а не путем своих родственных связей. И в этом отношении палеонтолог В. М. Цебриков казался наиболее «подозрительным» из всех четверых.

Во-первых, и он и его родители жили в Москве в непосредственной близости от дома, где умерла Анна Ивановна Аргамакова; во-вторых, настораживало довольно близкое соседство В. М. Цебрикова с местом службы Василия Павловича Д., жене которого, урожденной Цебриковой, достался, по словам Сафронова, этот список «Путешествия из Петербурга в Москву»...

Я решил, что биографии наиболее интересных для моего разыскания Цебриковых изучены мною достаточно. У меня теперь был материал для дополнительной беседы с Ольгой Семеновной. И я снова отправился в Марьину рощу.

Стоял июнь с дневным зноем и ночными ливнями. Близ площади Коммуны буйно зеленела листва бульваров. Лето было в полном цвету...»

* * *

«...И вот снова тихий Октябрьский проезд. Тень молодых кленов прикрывает меня от солнца, и я, стараясь держаться затененной стороны тротуара, приближаюсь к знакомому мне деревянному дому, похожему на барак.

Вот и ведущая на второй этаж лестница. Звонок. Сейчас появится на пороге Ольга Семеновна; я уже представляю себе ее круглое бледное лицо в очках.

Но дверь мне открыла дочь, Надежда Васильевна,— матери не оказалось дома. Меня узнали и пригласили войти.

И я опять в комнате с «ситцевыми» обоями, фотографиями на стенах, геранью на подоконниках и мерным, тупым стуком ходиков в тишине.

Светловолосая, суровая, коренастая девушка с сильными, загорелыми руками и шеей села против меня за стол и произнесла тоном, в котором любезность и сдержанное раздражение были смешаны пополам:

— Вы по поводу предка нашего — декабриста?..

Я кивнул головой.

— Но ведь, строго говоря,— продолжала она, задумчиво теребя бахрому скатерти,— мы происходим не от Цебрикова, а от одного из его крепостных. Фамилии же прадедушки никто не знает...

— А как звали вашего деда по линии матери?

— Семен Яковлевич.

— Значит, прадеда звали Яковом?

— Выходит, да...

Я стал соображать. Николай Романович Цебриков крепостных не имел, но мать его внебрачного сына, Николая Титушкина, была — до получения вольной от помещика — крепостною. Но, быть может, Яков был другим внебрачным сыном Цебрикова-декабриста и, в отличие от Николая Титушкина, получил впоследствии фамилию своего отца?.. В подтверждение этой догадки я вспомнил одно место из письма М. К. Цебриковой к редактору сочинений А. И. Герцена — М. К. Лемке, где она писала, что «у дяди ее были многие легкие приключения...»[43] Во всяком случае, связь Цебриковых XVIII и XIX столетий с теми, в доме которых я находился, была бесспорной, и никакими оговорками разубедить меня в этом было нельзя...

Тут я нашел уместным сообщить моей собеседнице, что, как мне стало известно, еще несколько Цебриковых проживали не так давно на Остоженке.

Она пропустила эти мои слова мимо ушей.

— Надежда Васильевна,— сказал я после некоторого раздумья, меняя тему,— а ведь я разыскал того, кого вынесли в сундуке.

В ее лице что-то дрогнуло; затем оно как бы закаменело.

— Не понимаю...— и она недовольно свела брови.

— По словам Ольги Семеновны,— пояснил я,— находившийся у вас список «Путешествия» Радищева достался вашему деду, Павлу Ивановичу, от заключенного, бежавшего из тюрьмы в сундуке.

— Ну, и что же?

— Этого заключенного, совершившего такой побег пятьдесят лет назад, я нашел — его фамилия Парфененко,— но он утверждает, что никакого списка «Путешествия» никогда не имел.

Она нахмурилась еще сильнее и, снова затеребив бахрому скатерти, сказала:

— Он мог забыть об этом.

— А быть может,— продолжал я, наступая,— тут недоразумение: не допускаете ли вы, что мама ваша ошиблась? Ведь Георгий Иванович Сафронов прямо говорит, что рукопись эта раньше принадлежала родственнику вашей матери, какому-то политкаторжанину...

— Георгий Иванович не знает! — перебила она меня с резкостью, какой я не ожидал.

Я мысленно усмехнулся, отметив, что Ольга Семеновна решительно отрицала свое знакомство с Сафроновым; дочери же он, оказывается, был хорошо знаком...

Между тем она продолжала тем же не допускающим возражений тоном:

— Думаю, что ничего другого об этой рукописи вам у нас узнать не удастся! Мы будем стоять на этой версии!..

Тон, каким это было сказано, и самый подбор выражений заставили меня еще раз мысленно усмехнуться, ибо так разговаривать мог лишь человек, вынужденный что-то скрывать.

— Что ж,— сказал я, делая вид, что решительно ничего не заметил,— придется удовлетвориться этой версией.

— А когда будет напечатана ваша работа? — озабоченно спросила она.

— Вам интересно было бы ее прочесть?

— Разумеется.

— Трудно сказать, когда я ее закончу. Может быть, на это уйдет год, может быть — два.

Затем я поблагодарил ее, попрощался и направился к выходу.

— Погодите!..— внезапно окликнула она меня, явно волнуясь и, видимо, уже будучи не в состоянии скрыть волнение.— Скажите, пожалуйста... на Остоженке остались еще какие-нибудь Цебриковы?..

— Не знаю,— ответил я самым равнодушным тоном, на какой только был способен.— До сих пор меня не интересовал этот вопрос...»

* * *

«...Итак, последнее из моих предположений, вписанных в «таблицу предвидений», оправдалось: в сущности, Надежда Васильевна в беседе со мною невольно подтвердила то, что Ольга Семеновна пыталась скрыть.

Я покинул Марьину рощу с чувством полного удовлетворения: история с заключенным, «которого вынесли в сундуке», была рассказана, чтобы сбить меня с толку; списка «Путешествия» в Бутырках никогда не было — «узницы Бутырской тюрьмы» не существовало, это был ложный след! Теперь для меня было ясно, что список в свое время принадлежал остоженским Цебриковым, с которыми Ольга Семеновна и ее дочь Надежда по какой-то причине боялись обнаружить свою связь.

Кто же из остоженских Цебриковых был владельцем рукописи до того, как она попала к Ольге Семеновне? Ну конечно же палеонтолог Владимир Михайлович: ведь это он арестовывался и высылался из Москвы при царском режиме, и это его имел в виду Сафронов, говоря о каком-то «политкаторжанине», от которого Ольге Семеновне досталась «целая корзина» рукописных книг.

Что же заставляло ее скрывать их происхождение? Какие-то причины у нее на это были... И я представил себе, что дело, по всей вероятности, обстояло так: Василий Павлович Д., главный бухгалтер Треста коммунального хозяйства Хамовнического района, заполучил эти рукописи после смерти остоженских Цебриковых или выезда их в другой город, использовав для этого свое служебное положение и свои родственные права. Быть может, он как-то «распорядился» освободившейся жилплощадью, а заодно и выморочным имуществом своих родственников... В этом случае скрытность Ольги Семеновны и ее дочери вполне объяснима, и, хотя у меня не было никаких намерений разоблачать или обвинять их в чем-либо, они, конечно, этого не могли понять...

Я и не заметил, как добрел в душных июньских сумерках до Трубной площади, и, не рискнув войти в пышущий жаром троллейбус, двинулся пешком к площади Пушкина и далее — по бульварному кольцу.

Оставив позади Арбат и миновав Кропоткинские ворота, я повернул на Метростроевскую, где меня неудержимо влек в себе в 1-м Обыденском переулке дом № 7...

Лифта не было. Поднявшись на верхний этаж, наугад нажал звонковую кнопку и объяснил открывшей мне дверь средних лет женщине, что я ищу старожилов и хочу разузнать о Цебриковых, проживавших здесь много лет назад.

— А у нас таких памятных людей нет,— ответила она.— Все жильцы молодые. А вы зайдите в квартиру под нами: там живет Виталий Ипполитович Соболевский, он помнит всех...

Спустившись этажом ниже, я еще раз рискнул проникнуть в мир чужой, устоявшейся жизни. Навстречу мне вышел широкий в плечах, горбоносый, почтенного возраста и артистической внешности человек в восточном халате и мягких домашних туфлях; у него были насмешливые, быстрые глаза и не по годам молодое лицо.

Я спросил о Цебриковых.

— Конечно, помню!..— откликнулся он мгновенно и любезно пропустил меня в комнату, которую можно было бы принять за гостиную, если бы не обилие книг всюду, а также библиографических карточек и каких-то таблиц на столе.

Один предмет в этой комнате сразу же приковывал к себе внимание; это была горка красного дерева; за ее зеркальными стеклами, на стеклянных полках, залитые светом электрических лампочек, располагались в строгом порядке, очевидно собранные за долгую жизнь ученого, минеральные образцы.

Между тем Виталий Ипполитович говорил:

— Владимир Михайлович Цебриков, палеонтолог, жил как раз надо мною. Он часто играл на рояле, и я стучал в потолок палкой...

— Он вам мешал заниматься?

— Напротив! Я просил его играть громче...— И Соболевский продолжил прерванную мною мысль: — Стало быть, вы хотите знать, куда делись Цебриковы? Если не ошибаюсь, в двадцатом году уехали за границу и не вернулись. Некоторое время тут оставался их сын Юрий, но потом и он куда-то исчез.

— Значит, эмигрировали.

— По-видимому.

Я сказал:

— Владимир Михайлович, как мне известно, боролся с самодержавием, а революции испугался?

— Да ведь не он один...

Тут Соболевский, очевидно, решил, что пора задать мне вопрос, который он из чувства такта не задал сразу.

— Простите,— обратился он ко мне,— на какой же почве возник ваш интерес к Цебриковым?

— На почве историко-литературной...— И я кратко, но стараясь, чтобы рассказ мой был для собеседника интересен, объяснил ему, что́ привело меня в этот дом.

Я не упустил ничего существенного, упомянув о направлении моих поисков в районе бывшей Остоженки, о линиях Аргамаковых, Грибоедовых и Радищевых, связанных близким родством...

— Ну, это как раз известно,— заметил, ничуть не удивившись, Виталий Ипполитович, заставив меня оторопеть.

— То есть как известно?!.. Вы где-нибудь об этом родстве читали?!

— Нет, но в памяти отложилось, может быть, даже с детства.

— А вы не потомок друга Пушкина Соболевского? (Я подумал: не путем ли устной семейной традиции эти сведения о Грибоедовых и Радищевых дошли до моего собеседника,— ведь Пушкин вполне мог это знать.)

— Соболевскому Сергею Александровичу,— ответил разговорчивый и любезный хозяин,— я какая-то седьмая вода на киселе... Но не вижу связи между вашим вторым вопросом и первым. Просто-напросто мы, остоженские старожилы, знаем кое-что о людях старой Москвы.

Соболевский заметил, что я, беседуя с ним, поглядываю на стеклянную горку с витринами самоцветов и каких-то неведомых мне минералов.

— Заинтересовались моей коллекцией? — спросил он с улыбкой.— Сами никогда не собирали камни?

— Нет... Но читал о них с удовольствием и очень люблю Ферсмана.

— А я — его ученик...

Он подошел к горке, открыл переднее стекло и предложил:

— Полюбуйтесь!..

Глаза мои разбежались при виде этого буйного богатства земных недр, представленных в таком разнообразии, порядке и с таким безупречным художественным вкусом: ярко освещенные, лежали передо мной камни самых разных оттенков — от черно- и густо-синего до бледно-зеленого и неуловимо-золотистого, как оплотневший солнечный свет; сверкали друзы горного хрусталя, красный — при искусственном свете — александрит, иссиня-серый, с радужными переливами лабрадор; хранили свою спокойную естественную окраску вулканическая пемза, уральская яшма и целое собрание янтарей.

Я сказал:

— Мне случалось видеть куски янтаря с включенными в них угасшими видами растений и насекомыми. Они в янтаре — как живые.

Соболевский утвердительно кивнул головой.

— А знаете, как называл такие янтари Ломоносов?

— «Великолепные гробницы».

— Правильно!.. Ну, а разве этот янтарь не чудо? — и он показал мне кусок окаменевшей смолы замечательной расцветки и формы.

Я подтвердил, что янтарь превосходный.

— С удовольствием преподнес бы его вам на память,— сказал Соболевский,— но я уже обещал его одной ученой даме, и за ним скоро придут.

Затем он извлек из дальнего угла горки небольшой камешек почти черного цвета и, положив его мне на ладонь, сказал с лукавым видом:

— Не все то золото, что блестит... Вот этот невзрачный обломочек в высшей степени важен... Если подержите его некоторое время, рука у вас заболит. Это — уран...

— А вон тот, — поинтересовался я, указывая на такой же невзрачный, сумрачно-красноватого цвета камень,— как его величают?

— Гранит, наша коренная, глубинная горная порода.

— Я где-то читал,— сказал я, не отрывая глаз от минерального «цар-

ства»,— что гранит является геологической платформой России и что платформа эта так и называется: Гранитный Щит.

— Совершенно верно.

— Значит, Россия покоится на прочном основании?

— На прочнейшем.

— А не кажется ли вам, Виталий Ипполитович, что здесь можно усмотреть и некоторую символику?.. Революционные и демократические традиции России, ее извечное стремление к добру и правде — разве это не гранитный щит, поистине несокрушимый?

— Вы правы...— сказал Виталий Ипполитович.— К тому же многое в мире имеет двойной смысл...»

* * *

«...Выйдя от Соболевского и попав в светлый от луны переулок, я задержался взглядом на углу Метростроевской, где когда-то стоял большой мухановский дом.

В этом доме нередко бывал Гоголь, посещая своих друзей, братьев Мухановых — Владимира и Николая, сыновей сенатора Алексея Ильича Муханова, женатого на Н. В. Полуектовой, племяннице Анны Ивановны Аргамаковой. Удивительно, как все оказывалось здесь связанным! Да и до дома, где жил П. А. Ефремов, было отсюда рукой подать...

Я пошел не к Метростроевской, а по 1-му Обыденскому переулку, по 2-му Обыденскому, а из него — к 3-му, чтобы в тишине обдумать содержание и значение бесед этого дня.

Итак, размышлял я, мое предположение подтвердилось: Цебриковы уехали и не вернулись, а оставшиеся в их квартире вещи, в частности рукописи, видимо, достались их родственникам — Василию Павловичу и Ольге Семеновне Д. Но не это имело значение для меня.

Я не мог решить, от кого получил В. М. Цебриков список «Путешествия», проданный Сафроновым Литературному музею,— от одного из своих родственников или от каких-то соседей по месту жительства, на Остоженке. Но поиск этот приближал данный список почти вплотную к дому П. А. Ушаковой, где провела свои последние годы Анна Ивановна Аргамакова и где она умерла.

Список В — («цебриковский») был изготовлен, видимо, около 1805 года. Объем имеющихся в нем дополнений к тексту изданной в 1790 году книги, как удалось к этому времени выяснить, был такой же, как и в рукописи Саровской пустыни. Многочисленные мелкие разночтения в этих списках зависели только от степени грамотности и образованности переписчиков и в главном не могли идти в счет.

Главное же заключалось в том, что оба списка — Б и В — были скопированы с одного и того же подлинника, которым вла-

дела Анна Ивановна. Очень возможно, что незадолго до своей кончины она повторила свой саровский опыт и заказала новый список «Путешествия» в ближайшем к дому П. А. Ушаковой Зачатьевском девичьем монастыре...

Я даже вздрогнул: луна, осветившая переулок, вырвала из мрака остаток мощной монастырской стены... Зачатьевский девичий монастырь!.. Анна Ивановна была его прихожанкой!.. И тотчас же мысль: надо найти архив монастыря!..

Молочным переулком я вышел в Коробейников и оказался «на задах» дома, принадлежавшего когда-то П. А. Ушаковой. Пройдя двором в Хилков переулок и перебравшись на другую его сторону, я оглядел фасад здания, залитый ровным светом луны.

Старинная часть дома с ее удлиненными, арочного типа, окнами не была освещена изнутри и казалась нежилою. Кто знает! — может быть, за этими стенами, в какой-нибудь каморке этого непостижимым образом уцелевшего жилища, на дне старомодного сундука или ветхой корзины, лежит — среди никому не нужных предметов — драгоценный подлинник «Путешествия из Петербурга в Москву»!

За моей спиной раздались шаги. Какой-то человек вышел из дома № 3, некогда барской усадьбы, где бывал Пушкин.

Совсем недалеко отсюда, в начале XIX века собирались члены Союза Благоденствия (у обер-квартирмейстера Александра Муравьева, в так называемом Шефском доме Хамовнических казарм).

И меня вновь охватило ощущение удивительной связанности явлений, обычно представляющихся нам разрозненными, и я испытал великое удовлетворение оттого, что устанавливается между ними связь.

Творческая история «Путешествия» Радищева оказалась связанной с людьми, о которых вообще ничего не было известно.

Черновики запрещенной книги в 1790 году не были уничтожены. Текст «Путешествия» особого состава переписывался в Саровской пустыни, а также, надо полагать, поблизости от московского дома П. А. Ушаковой с неизвестной, но, видимо, с одной и той же рукописи. И я, еще раз взглянув на старинный фасад высветленного луной здания, сказал себе, что если не самую эту рукопись, то, во всяком случае, какое-то недостающее, близкое ей звено разыскать можно, и я приложу все усилия, чтобы его найти...»



1

В выставочных залах Государственного исторического музея как будто застыл во всей своей нищете и великолепии русский XVIII век. Убогие сельскохозяйственные орудия, жалкая утварь и одежда крепостного люда; средства для его обуздания и «мучительства» — пудовые чугунные шапки, рогатки, цепи, плети — и роскошь помещичьего обихода, созданная трудом талантливых народных рук. Трофейные знамена; шитые золотом мундиры; начищенные до блеска суворовские палаши, мортиры и пушки; возки и кареты коронованных женщин, угнетавших Россию; железная клетка, в которой держали в Москве Пугачева, и под стеклом списки «Путешествия из Петербурга в Москву».

Стальная дверь с надписью «Посторонним вход воспрещен» открывается в одном из этих залов на слабо освещенную площадку: мраморная

отлогая лестница ведет на самый верх здания, где помещается Отдел письменных источников — едва ли не самый интересный архив в Москве.

Самый интересный потому, что наименее разобранный, а значит — и наиболее богатый счастливыми неожиданностями для исследователя. Эти неожиданности таились главным образом в части Щукинской коллекции* — в то время еще не обработанном и не описанном собрании рукописных сборников XVIII столетия; на них любезно обратила внимание автора этой работы научный сотрудник Отдела Т. П. Мазур.

В самом же начале их просмотра удалось обнаружить любопытного содержания сборник, озаглавленный «Всякая всячина» и состоящий из девяти частей.

Впрочем, первая часть отсутствовала; на заглавном же листе второй была сделана запись: «Первая часть «Всякой всячины» составлена дедушкой Николаем Алексеевичем Нордштейном». Возникало естественное предположение, что составитель остальных восьми частей, или тетрадей, был внук упомянутого Николая Алексеевича, то есть тоже Нордштейн.

Произведенное тут же по библиографическим справочникам небольшое разыскание подтвердило это соображение: продолжателем «Всякой всячины» оказался Александр Петрович Нордштейн, инженер путей сообщения, писатель; в 50-х годах XIX века он служил в Воронеже, очень интересовался литературой и внимательно следил за нею; был видным членом местного второвского кружка и другом поэта И. С. Никитина, о котором в 1854 году в июньской книжке «Отечественных записок» напечатал небольшую статью.

Все тетради, кроме одной (пятой), были датированы (указывалось, когда тетрадь начата и когда окончена); содержанием их являлась «потаённая» литература; представляло также интерес предисловие составителя, предпосланное им части второй.

«Кто подумает,— оправдывался А. П. Нордштейн перед благонамеренным судьею,— что я разделяю с господами сочинителями помещенных здесь статей их мнения, тот ошибется. Большею частью статьи эти писаны неопытною молодостию: они сами после одумывались и говорили другое. Нет, тут нет моих мнений, я вписывал сюда все непечатное — и только; а для чего? — да так, ради редкости»[1].

По такому принципу были включены в эти тетради: «Кинжал» и «Деревня» Пушкина, «Войнаровский» Рылеева, «Родина» Некрасова, ряд анонимных стихотворений и несколько эпиграмм.

Образцы «непечатной» в то время поэзии чередовались в тетра-

---

* Коллекция П. И. Щукина, московского собирателя картин и рукописей, издавшего в конце минувшего столетия — начале нынешнего целую серию «Сборников старинных бумаг».

дях с историческими анекдотами и дневниковыми записями составителя. Но беглый просмотр этих записей был прерван при взгляде на заглавный лист пятой тетради: в нее оказался включенным список «Путешествия из Петербурга в Москву».

Список этот занимал всю пятую тетрадь целиком и, собственно говоря, существовал самостоятельно; Нордштейн добавил к нему лишь несколько листов. Это были: обложка с указанием содержания тетради, копия указа императрицы об аресте и предании суду Радищева, титульный лист «Путешествия» и радищевское посвящение книги А. М. Кутузову — все переписанное рукой Нордштейна.

Его примечание на первом листе тетради имело особый интерес. Он записал:

«По сличении этой рукописи с другою, которая у меня была в руках, оказалось, что в этой очень большие пропуски и, наоборот, что в той рукописи, хотя и полнейшей и тщательно переписанной, но также находятся пропуски против этой рукописи, а в иных местах и не пропуски, а несогласия, иное перемещение фраз и проч. По всему этому я отложил сличение рукописей и дополнение настоящей, тем более, что книга эта была в печати и следовательно для редкости есть возможность достать ее» [2].

Из этого примечания следовало, что «в руках» А. П. Нордштейна были одновременно две рукописи «Путешествия»— сокращенная и «полнейшая, тщательно переписанная», что обе они взаимно дополняли одна другую и что первая у него осталась, а вторая куда-то «ушла».

Примечание заинтриговывало и прежде всего вызывало подозрение: нет ли в новонайденном списке тех дополнений, которые имеются в списках Б и В?

При просмотре рукописи обнаружилось, что в этом списке «Путешествия», составляющем пятую тетрадь «Всякой всячины», содержатся все основные дополнения к изданию 1790 года, имеющиеся в списках «лонгиновском» и «цебриковском»: пятьдесят четыре строфы оды «Вольность» (вместо пятидесяти), поэма «Творение мира» и дополнения к прозаическому тексту ряда глав.

Таким образом, эта рукопись оказалась третьим по счету списком особого состава текста. А так как первые два уже были условно обозначены второй и третьей буквами алфавита, пришлось, для удобства дальнейшей работы, новый список обозначить четвертой буквой алфавита — литерой Г.

Второй замечательной особенностью этой рукописи было наличие в ней только тех глав, которые в списках Б и В имели дополнения к первому изданию «Путешествия». Ряд глав в списке Г отсутствовал; некоторые же были даны сокращенно и служили как бы

«окрестностями» дополнений, позволяющими переписчику или сводчику ориентироваться, то есть каждый раз точно определять место, куда надлежало вставить дополнительный текст.

Так в тайной творческой истории «Путешествия» открылся новый этап, требующий изучения.

Начать нужно было с объема, формата и водяных знаков рукописи, с определения, когда она могла быть изготовлена и когда включена Нордштейном в тетрадь.

Список Г умещался всего на 61 листе, то есть составлял приблизительно одну треть «лонгиновского» или «цебриковского». Формат его — большая четверка; бумага сборная — белая и голубая; водяные знаки: К Ф П Х, что означало «Красносельская фабрика Петра Хлебникова» и на одном листе (13-м): «Я М В С Я,— то есть «Ярославская мануфактура внуков Саввы Яковлева». Первая филигрань относилась к 80—90-м годам XVIII века, вторая — к 1791—1807 годам [3].

Итак, почти весь текст списка умещался на относительно ранней бумаге, но это вовсе не значило, что текст этот написан в 80-х или 90-х годах. В XVIII веке разрыв между временем изготовления бумажного листа и временем написания на нем рукописного текста, был явлением обычным. Так, например, епископ Вологодский Ириней выдал в 1798 году грамоту на бумаге, изготовленной в 1784 году [4].

Почти весь список был написан на хлебниковской бумаге, и это заставляло сопоставить с этим обстоятельством один связанный с Радищевым эпизод.

В деле Тайной экспедиции 1790 года имеется показание книгопродавца Зотова по поводу продажи им экземпляров «Путешествия», только что вышедшего «в свет».

«Прежде, нежели взят он был к обер-полицмейстеру,— показал Зотов 8 июля,— приходили к нему двое в лавку и, сторговав книжку, просили в долг, так как-де с ними мелких денег не случилось, а как я им сказал, что вас не знаю, то один из них сказал: «Как ты не знаешь, ведь вы у нас бумагу покупаете из лавки, я — Хлебников». Почему я им и поверил. После ж того, как я был у обер-полицеймейстера, то приходили они опять и, заплатя за ту книгу деньги, другой с ним, Хлебниковым, бывший спросил меня: «Был ли ты у духовника, т. е. у Шешковского?» Я ему отвечал, что не был и его не знаю, но он мне сказал: «Вриошь ты». Но имени и прозвания не знает; приметою ж он поплотнее сына Хлебникова, и на нем был бриллиантовый перстень сот в шесть» [5].

«Сын Хлебникова» — это Николай Петрович Хлебников, унаследовавший от отца своего, Петра Кирилловича, Красносельскую бумажную фабрику под Петербургом, а также лучшую в России того времени библиотеку и любовь к собиранию рукописей и книг.

Знаменитая Хлебниковская библиотека находилась в селе Авчурине недалеко от Калуги; между прочим, в этой библиотеке нашел Киевскую и Волынскую летописи Карамзин.

Это богатейшее собрание книг, газет и рукописей впоследствии перешло к зятю П. К. Хлебникова — библиографу С. Д. Полторацкому. Один из хранящихся в Отделе редких книг Государственной библиотеки СССР имени В. И. Ленина экземпляров первого издания «Путешествия» Радищева принадлежал С. Д. Полторацкому; очевидно, это тот самый экземпляр, который был куплен Н. П. Хлебниковым у книгопродавца Зотова в 1790 году.

Возможно, что Николай Хлебников, заинтересовавшись книгой Радищева тотчас после ее выхода, позже, когда она уже стала «подпольной», раздобыл редкий список «Путешествия» и поручил кому-то его переписать*.

К этому следует добавить, что в сравнительно небольшом отдалении от принадлежавшего Хлебниковым села Авчурина находилось имение помещика Боровского уезда В. Б. Полуектова, женатого на сестре Анны Ивановны Аргамаковой, Екатерине; не исключена возможность, что именно знакомством Хлебниковых с Полуектовыми объясняется происхождение списка Г...

В этой рукописи — две пагинации: арабская и римская; первая заканчивается на 35-м листе; вторая — охватывает следующие 26 листов, причем на последнем из них обрывается текст главы «Городня». Вторая пагинация начинается на листе, где дан оборванный, не имеющий начала текст главы «Хотилов»; в верху этого листа рукой переписчика помечено: «Из 12-ой тетрати»,— что указывает на особый подлинник, с которого скопирована эта часть списка, во всяком случае, отличный от предыдущего. Общее впечатление от рукописи при первом, беглом ее просмотре приводило к выводу, что текст ее объединяет две редакции «Путешествия» — раннюю и более позднюю — и что лицо, изготовившее этот список, имело главной своей целью включить в него все наиболее революционные, то есть самые запретные, места.

При переписке «Путешествия» чаще имело место обратное: переписчики исключали «опасные» отрывки и фразы из собственной осторожности либо по прямым указаниям заинтересованных лиц.

В этом отношении интересен уже упоминавшийся список «Путешествия», входящий в рукописный сборник начала XIX века вместе с «Вадимом» Княжнина. На листе 99-м этого сборника, там, где в

* Подозревать самого Н. П. Хлебникова в переписке «Путешествия» не приходится, так как почерк списка Г не его руки.

«Путешествии», в конце главы «Хотилов», идет речь о неизбежности крестьянской революции в России, текст отчеркнут карандашом на левом поле, а на правом указано: «н е п и с а т ь».

Просмотр списка Г, напротив, оставлял впечатление, что переписчику вменялось в обязанность п и с а т ь в с е б е з о п а с к и.

Здесь как нельзя более уместно вспомнить справедливые слова Я. Л. Барскова, хотя сам он явно недооценил скрытый в них смысл.

«Возможно,— писал он в своих «Материалах» к изучению «Путешествия» Радищева,— что существовали тетрадки, заключавшие в себе лишь избранные главы; по ним можно было исправлять и полные списки в отдельных частях. Возможно и то, что сожжены были не все рукописи, что они были не только у автора, но и у кого-либо из близких ему друзей» [6].

Неизвестно, кто из «близких ему друзей» принял участие в изготовлении этого списка; ясно только одно — что переписывался данный текст в условиях ужасающей спешки, придавшей списку Г вид черновика.

Писан он был небрежной скорописью конца XVIII — начала XIX столетий, одним, очень характерным и отнюдь не писарским, почерком; обладатель его ничуть не заботился о красоте рукописи, смело делал выброски и поправки и — по всему было видно — так торопился, точно подлинник, с которого он переписывал, был предоставлен ему на самый короткий срок.

Когда же была составлена 5-я часть «Всякой всячины», вместившая в себя «Путешествие» Радищева? Несмотря на то что составитель ее не датировал, узнать это — благодаря датировке, имеющейся на других тетрадях,— удалось легко.

Часть 4-я была закончена 24 августа 1852 года; часть 6-я помечена тем же 1852 годом; 7-я начата 18 сентября того же года; следовательно, 5-я часть, содержащая «Путешествие», была, видимо, составлена между 24 августа и 18 сентября в том же 1852 году.

Списки Б и В поднялись из общественных недр «на поверхность» в XIX веке, перед самым началом революционной ситуации в России; список Г несколько их опередил.

А. П. Нордштейн приобрел или получил его в дар, а затем и поместил в одну из тетрадей «Всякой всячины» в 1852 году, вскоре после своего перевода на службу в Воронеж [7]. Было целесообразно, не приступая пока к подробному сличению новооткрытого списка с другими, прежде всего установить, какова была воронежская культурная среда, в которой вращался Нордштейн в 50-е годы, и не проявлялся ли в этой среде интерес к «Путешествию из Петербурга в Москву».

2

В Воронеже с середины 20-х годов XIX века существовала книжная лавка с библиотекой-читальней, открытая Дмитрием Антоновичем Кашкиным. Лавка эта очень быстро сделалась настоящим просветительским центром города. Ее владелец, происходивший из донецкой казачьей семьи, но родившийся в Воронеже, некоторое время торговал хлебом и, бывая в разъездах, посещал Таганрог и Одессу. Вместе с тем, занимаясь самообразованием, он обнаружил поэтические и музыкальные способности, стал играть на гуслях и фортепьяно, научился рисовать.

Наконец, призвание книжника — книгопродавца и библиофила — одержало верх над другими его увлечениями, и он открыл в Воронеже книжную лавку, ставшую источником просвещения города на целых сорок лет.

В ней, помимо старых и новых книг, можно было найти и рукописные копии стихотворений Пушкина, Одоевского, Полежаева, а также списки «Путешествия» Радищева [8]. Все наиболее передовое в Воронеже тянулось к лавке Кашкина.

Один из местных старожилов — Ф. Д. Трясоруков — говорит в своих воспоминаниях, что в год восстания декабристов он видел в этой лавке «мальчика лет 15-ти, небольшого роста, незавидной наружности, в нагольном засаленном полушубке, рассматривающего книги или читающего что-нибудь новое» [9]. Это был местный уроженец Алексей Кольцов.

Музыкально-поэтическая одаренность Кашкина привлекла к нему будущего поэта-песенника и оказала на него большое влияние. А в 1829 году владелец книжной лавки познакомил Кольцова с посетившим Воронеж В. А. Сухачевым, основателем одесского тайного «Общества независимых»; членом его, видимо, состоял и Д. А. Кашкин [10].

За три года до этого Сухачев был арестован в Ростове по подозрению в принадлежности к одной из тайных организаций в Кавказском корпусе Ермолова, при штабе которого, в Тифлисе, он около года «приватно» служил. До своего отъезда в Грузию он проживал в Одессе, где основал тайное общество. Поводом для ареста Сухачева в Ростове послужили его уединенный образ жизни и попытка продать личную свою библиотеку, состоявшую из 600 томов. Как и Кашкин, Сухачев был самоучкой. Сын мелкого торговца из Бессарабии, он в юности служил в одесской купеческой лавке, а затем во французском магазине, где практически изучил французский и итальянский языки. При обыске у него нашли оружие, «злодейское клятвенное обещание», то есть текст присяги для членов тайного общества, несколько трактатов на запретные темы, «Декларацию прав человека и гражданина» и

«азбуку иероглифического письма» (шифр). Из следственных материалов видно, что девизом «Общества независимых» было: «Монаршей власти не признавать, а быть всем равными»— и что Сухачев знакомил членов созданного им кружка с «Путешествием» Радищева, «Вольностью» Пушкина и «Декларацией прав»[11]. Несмотря на все это, с Сухачевым поступили не очень строго: продержав недолгое время под стражей, выпустили и учредили за ним полицейский надзор.

Допрос его состоялся 4 марта 1826 года.

А ровно через десять дней в Петербурге, в помещении Главного штаба, был допрошен Грибоедов, причем среди заданных ему вопросов оказался такой: не встречался ли с Сухачевым в Грузии и не имел ли тот намерения основать тайное общество в Отдельном Кавказском корпусе? Грибоедов ответил, что с Сухачевым не знаком и никогда его не видал[12].

Кстати, имя Грибоедова в начале 30-х годов XIX века получило широкую известность в Воронеже в связи с распространением в городе списков «Горя от ума».

Распространителем их был воронежский губернатор, автор романа «Семейство Холмских», Дмитрий Никитич Бегичев, брат Степана Никитича Бегичева, члена «Союза Благоденствия» и ближайшего друга Грибоедова. Дмитрий Никитич был знаком со многими декабристами, но в тайных обществах не участвовал. В Воронеже он привлек к себе наиболее передовую часть местного общества. Другом его был поэт Кольцов.

А в воронежском Покровском девичьем монастыре с конца 1863 года игуменствовала родная сестра братьев Бегичевых — Варвара, в монашестве Смарагда, одаренная, умная женщина, проживавшая вблизи монастыря в собственном доме и принимавшая в своей «келье» светских гостей...[13]

Летом 1829 года в Воронеже возникла особая причина вспомнить о Грибоедове: персидское посольство, отправленное Фетх-Али-шахом с извинениями за убийство русского посланника, проезжая через Воронеж, останавливалось в нем на несколько дней[14].

В этом городе помнили о Грибоедове и Радищеве, и память о них из года в год поддерживалась ходившими по рукам списками «Горя от ума» и «Путешествия из Петербурга в Москву»*.

Два писателя одной трагической судьбы создали книги, надолго попавшие в разряд запретных, причем творчество их, видимо, имело

---

* Доцент Воронежского государственного университета П. А. Бороздина любезно сообщила автору этой работы, со слов проф. В. А. Тонкова, что в местном Никитинском музее до Великой Отечественной войны было четыре списка «Горя от ума» и один список «Путешествия»; из них уцелел только один список «Горя от ума».

известную преемственную связь. Историки литературы отмечали идейную и сюжетную близость некоторых эпизодов в произведениях Грибоедова и в «Путешествии» Радищева [15], и хотя Грибоедов нигде не упоминает имени своего предшественника (что может объясняться и простой осторожностью), тем не менее он сознательно или невольно иногда оказывается очень близок к нему.

Так, в «Путешествии», в главе «Медное», Радищевым описан аукцион крепостных. Помещик продает старика, бывшего своего «дядьку», спасшего ему жизнь на поле боя, старуху, выкормившую своим молоком мать помещика, и женщину «лет в 40» — кормилицу его самого.

У Грибоедова в отрывке из трагедии «Грузинская ночь» один горский князь, выкупая у другого своего коня, отдает ему за это в рабство сына своей кормилицы.

В «Путешествии», в главе «Городня», Радищев приводит исповедь крепостного интеллигента, получившего образование и воспитание, одинаковые со своим молодым «господином», но потом разжалованного в лакеи и, наконец, отданного в солдаты, что все-таки избавляет его от господского ярма.

Грибоедов в набросках задуманной им драмы «1812 год» начинает там, где кончает Радищев: в историю национально-освободительной войны 1812 года он включает личную драму ополченца-крепостного, возвращающегося с полей победы «под палку господина». В новых исторических условиях Грибоедов продолжает и развивает тему Радищева как генеральную тему русской литературы XIX века: герой — освободитель отечества не мог снова опуститься до роли бесправного раба...

* * *

Интерес к Радищеву в 30-х и 40-х годах в Воронеже, очевидно, поддерживался и его сыном, Павлом Александровичем, в течение нескольких лет проживавшим в этом городе до своего выезда в Таганрог.

По свидетельству воронежца В. Г. Чубинского, учившегося в местной духовной семинарии, его репетитором по математике и другим предметам был Радищев, молодой человек, «не окончивший курс в С.-Петербургском университете» [16]. «Отец его,— говорит в своих воспоминаниях Чубинский,— жил и содержал семью исключительно уроками французского языка, который он знал в совершенстве, и даже по внешнему виду скорее походил на француза, чем на русского» [17].

Павел Александрович на протяжении почти полувека боролся за издание отцовского литературного наследства и всячески старался его популяризировать. Нет сомнения, что то же самое делал он и в Во-

ронеже. Однако списки «Путешествия» особого (полного) состава текста не могли распространяться им в этот период, так как до 1859 года, то есть до его ознакомления с «лонгиновским» списком, он, видимо, такого текста не знал.

П. А. Радищев покинул Воронеж в 1844 году. Год этот в Воронежской губернии был отмечен вспышкой крестьянских волнений, продолжавшихся затем до середины 50-х годов. Начало им было положено крестьянами Задонского уезда, избившими помещика князя Волконского за то, что в страдную пору, когда они должны были убирать хлеб в поле, князь заставил их выкапывать в лесу деревья для посадок в своем саду. Потом заволновались крестьяне Воронежского уезда в селе Красный Холм — имении помещицы Скобельцыной. А четыре года спустя восстали крепостные помещика Бедряги в Богучарском уезде, и управляющему имением пришлось звать на помощь казачий полк.

В это самое время в Воронеже советник губернского правления Николай Иванович Второв вместе со своим товарищем по Казанскому университету К. О. Александровым-Дольником организовали местный «кружок интеллигентных людей».

Отец Н. И. Второва, Иван Алексеевич, судья и предводитель дворянства в Самаре, а затем служащий Симбирского наместнического правления, имел обширные литературные знакомства и большую библиотеку печатных и рукописных книг.

Членами второвского кружка в Воронеже были: поэты И. С. Никитин и Ф. Н. Берг, преподаватель словесности, краевед М. Ф. Де-Пуле, интересовавшиеся литературой купцы В. А. Средин и А. Р. Михайлов, окончивший Московский университет купеческий сын И. А. Придорогин, офицер Н. С. Милашевич, позднее сотрудник «Свистка» (приложения к журналу «Современник») и «непременный член Воронежской строительной и дорожной комиссии» А. П. Нордштейн.

Кружок поддерживал переписку с писателями, учеными и художниками — В. Ф. Одоевским, П. И. Мельниковым-Печерским, А. В. Никитенко, А. Н. Афанасьевым, И. Н. Крамским, Ф. П. Толстым [18].

Члены кружка собирали статистические и этнографические материалы, читали «Колокол» Герцена, коллекционировали автографы Шевченко и переписывали произведения Рылеева, Лермонтова, Кольцова, Некрасова, которые по цензурным условиям не могли увидеть тогда свет.

Интересовались они и радищевским «Путешествием». Так, член кружка М. Ф. Де-Пуле в письме к «сказочнику» А. Н. Афанасьеву просил его написать что-либо о Радищеве [19], а в одной из тетрадей И. С. Никитина имеются выписки об авторе «Путешествия» из сочинения на французском языке [20].

Посещая заседания кружка, Никитин близко сошелся с Нордштейном, благодаря ему познакомился с приезжавшим в Воронеж Афанасьевым и завел переписку с редактором «Отечественных записок» Краевским и с художником Крамским.

Через Нордштейна Никитин познакомился и с его воронежскими родственниками — Плотниковыми[21], близкой родней Бегичевых[22]. Таким образом, с Бегичевыми Нордштейн также состоял в родстве.

У него установились сердечные отношения с Никитиным; поэт называл его «благороднейшим существом». Однако общественно-политические взгляды и настроения в творчестве Никитина не вызывали у Нордштейна сочувствия. Он не одобрял увлечения поэта Герценом, и ему были чужды строки никитинского стихотворения:

Молнии нас осветили,
Мы на распутьи стоим!..
Мертвые в мире почили,
Дело настало живым.

Тем не менее это не мешало Нордштейну утверждать, что его девизом всегда было и будет «Tolérance et Liberté» («Терпимость и Свобода»[23]), и заниматься составлением обширной записки о положении крестьянства в России с намерением «дать ей ход».

* * *

Интерес к Радищеву в кружке воронежской интеллигенции на рубеже второй половины XIX века, надо думать, был поддержан также и Н. И. Второвым, унаследовавшим его от отца.

Сам Иван Алексеевич не бывал в Воронеже, но какое-то влияние его на сына бесспорно; не могло не повлиять на литературный вкус Н. И. Второва и отцовское собрание вольнодумных рукописей и книг.

Второв-отец в бытность свою в Самаре, Симбирске и Казани интересовался изданиями Типографической компании Новикова и составлял масонскую библиотеку, а в симбирский период своей жизни подружился с видным масоном И. П. Тургеневым и бывал у него, когда приезжал в Москву. Круг знакомств И. А. Второва был широк и разнообразен. Он знал некоторых декабристов, в том числе Н. А. Бестужева и К. Ф. Рылеева. Среди его знакомых были также П. А. Плетнев, А. С. Норов, И. С. Аксаков, М. Н. Лонгинов, В. И. Даль.

Дважды встречался И. А. Второв с Пушкиным: в Петербурге 26 ноября 1827 года — у Дельвига — и в сентябре 1833 года в Симбирске — у губернатора[24]. Второв же привез страшную весть о гибели поэта в Казань[25].

В его личном архиве сохранились тетради «для всякой всячи-

ны» (то же название, что и тетрадей Нордштейна!), записная книжка и дневник почти за пятьдесят лет.

Уцелел также один из трех томов второвского «Альбома», куда он заносил выдержки из сочинений разных авторов, эпиграммы, заметки и «запретные» стихи.

И. А. Второв, кроме того, перевел с французского «Историю императрицы Екатерины II» Кастера, запрещенную в конце XVIII века в России; на листах 198-м оборотном и 199-м этой рукописи говорилось о книге Радищева и о ссылке его в Сибирь[26].

В 1826 году, когда закончилось следствие по делу декабристов, сестра И. А. Второва, Александра Алексеевна, в тревоге писала ему: «Истребите, ради бога, дурацкий архив свой...»

М. Де-Пуле, публикуя это письмо, сообщает, что в «дурацком архиве» И. А. Второва, среди произведений, «которые не могли явиться в печати», был список «Путешествия» Радищева и что архив этот состоял из трех больших переплетенных книг[27].

Наконец, заслуживает внимания, что жена И. А. Второва, Мария Васильевна, приходилась близкой родственницей Плотниковым, а следовательно и Бегичевым; это обстоятельство еще теснее связывало А. П. Нордштейна с второвским кружком.

3

Итак, Нордштейн, живя в Воронеже 50-х годов XIX века, имел много возможностей приобрести или получить в дар список «Путешествия»: он мог получить эту рукопись и от И. С. Никитина и от дальней своей родственницы, игуменьи Воронежского девичьего монастыря Смарагды (Бегичевой), с которою был в переписке; мог и просто купить список в книжной лавке Кашкина.

Однако было важно установить: какого именно происхождения эта рукопись — аргамаковско-грибоедовского, тургеневско-второвского или еще какого-нибудь другого? Но для этого следовало более подробно изучить биографию А. П. Нордштейна и прежде всего вернуться к его дневниковым записям, чтобы просмотреть их год за годом, день за днем...

Для начала были просмотрены печатные «Сборники старинных бумаг», хранящиеся в Музее П. И. Щукина. Это было сделано в поисках сведений о деде А. П. Нордштейна и его отце.

Ход себя оправдал: в IV выпуске этого издания оказались напечатанными «Выписки из тетрадей неизвестного под заглавием «Всякая всячина» и «Выписки из памятной книжки» Николая Алексеевича Нордштейна (деда); ознакомление с нею привело к выводу, что Нордштейны — семья моряков.

«Неизвестный» составитель «Всякой всячины» упоминал о своем брате, учившемся вместе с ним в Морском корпусе, и сообщал, что отца его матросы называли вместо «Нордштейн» — «Форштевен»*, тетради «неизвестного» были собранием исторических анекдотов, следовавших один за другим.

Надо думать, что составителем этой «Всякой всячины» был дядя А. П. Нордштейна, также собиравший бытовые курьезы и редкие рукописи; с этим соображением следует сопоставить письмо последнего в редакцию журнала «Русская старина».

В 1871 году, в связи с появлением на страницах названного издания «шуто-трагедии» И. А. Крылова «Подщипа», Нордштейн писал:

«Я имею рукописный экземпляр этого сочинения, доставшийся мне от родного дяди и писанный, может быть, около 1810-го года или не позже 1815-го, в котором году я, будучи ребенком, слышал чтение по этому экземпляру. Упоминаю об этом в доказательство, что у меня не поздний список... Считаю себя обязанным сообщить разности** моего экземпляра с напечатанным в «Русской старине» [28].

Очевидно, собирательство исторических и бытовых курьезов, а также редких, не попавших в печать рукописей было семейной традицией Нордштейнов, и Александр Петрович, ее соблюдавший, и как можно судить по приведенному письму, ценивший разночтения, не мог пройти мимо особого списка «Путешествия из Петербурга в Москву».

В тетрадях его «Всякой всячины» встречались самые разнообразные записи, касающиеся уличной жизни столицы, нравов и быта ученых, писателей, и «царствовавших особ».

Со скрупулезной точностью сообщал он о демонстрации остова кита в Петербурге «на площади Александринского театра, в деревянном сарае, на углу переулка, что ведет на Фонтанку».

То записывал со слов каких-то архиереев, что первый русский синолог, переводчик с китайского о. Иакинф (Бичурин) «не раз закладывал свои рясы и прочее», чтобы вырученные деньги употребить на издание своих трудов.

Или рассказывал слышанный им эрмитажный анекдот о Екатерине II: будто существовал при ней так называемый «Шутовской легион», куда принимались только люди, «умевшие своим телом какие-нибудь штуки строить». Екатерина умела шевелить ушами. «Я знал,— добавляет Нордштейн,— старика, уже камергера — Плещеева, который был также в Легионе потому, что умел лицо свое делать то маленьким, то большим».

---

* Форштевень — носовая оконечность судна.

** Т. е. разночтения.

Все эти мелочи, курьезы и любопытные исторические характеристики перемежались дневниковыми записями А. П. Нордштейна о его встречах с разными лицами. Одна такая запись в 4-й части «Всякой всячины» представляла исключительный интерес.

Касаясь своего пребывания в 1847 году в Петербурге, Нордштейн вспоминает о вечере, проведенном в доме моряка Николая Яковлевича Розенберга и далее о нем говорит: «...Н. Я. Розенберг теперь начальник в Ситхе от Американской компании и уже капитан 2 ранга... Он оставил 4-х сыновей в Морском корпусе и поехал с женой и двумя маленькими детьми в Ситху. Жена его — премилая и прекрасная дама, она двоюродная сестра покойного поэта Грибоедова ...»[29] (разрядка моя.— *Г. Ш.*).

Справка, тотчас же запрошенная в Центральном государственном архиве Военно-морского флота, подтвердила, что «капитан I ранга Н. Я. Розенберг» был «женат на дочери титулярного советника Грибоедова Александре Александровне»*. Сведения эти были взяты из формулярного списка Н. Я. Розенберга за 1857 год[30].

На путях данного разыскания снова возникали «Розенберг и Грибоедова», так же соединенные брачными узами, как и полковник, директор Ассигнационного банка, и бабка автора «Горя от ума».

Моряк Николай Яковлевич Розенберг и его жена Александра Александровна, урожденная Грибоедова, принимали у себя А. П. Нордштейна, который позднее оказался обладателем замечательного списка «Путешествия», почти полностью совпадающего по объему и содержанию дополнений со списками Б и В.

Дополнения к изданию «Путешествия» 1790 года во всех трех списках были в основном одинаковы и, по-видимому, восходили к одному и тому же первоисточнику, связанному с именами А. И. Аргамаковой и М. И. Розенберг.

Могло ли все это быть случайным? Вряд ли. Скорее всего, мы имеем здесь дело с тесным кругом знакомств и родственных связей. А. И. Аргамакова (может быть, Е. И. Полуектова и Н. П. Хлебников) — М. И. Грибоедова-Розенберг — П. А. Ушакова — С. Н., Д. Н. и В. Н. Бегичевы — И. А. и Н. И. Второвы — А. П. Нордштейн — Н. Я. Розенберг и А. А. Грибоедова — так замыкался этот круг.

4

На матовом, слабо освещенном экране диаскопа снизу вверх, очень медленно, проползают строки микрофильма, снятого со списка Г.

Рядом, в полутьме зала, светится другой такой же аппарат с микро-

---

* Речь идет о дочери брата Сергея Ивановича Грибоедова, отца писателя.

фильмом цензурной рукописи книги Радищева; эта почти каллиграфически исполненная, уникальная рукопись хранится в одном из сейфов Центрального государственного архива древних актов; на снятой с нее ленте отчетливо видны густо зачеркнутые автором отдельные слова и части предложений, а также приписки и поправки, сделанные его рукой.

Строка за строкой, лист за листом идет сличение двух рукописей — списка Г с цензурным экземпляром уничтоженного сочинения. И вот что это дает.

Как известно, в рукописи, представлявшейся Радищевым в цензуру, сохранился начальный текст «Путешествия», то есть его ранняя редакция, ибо автор, получив рукопись из цензуры, почти всюду зачеркнул эту редакцию, заменив ее новой, но зачеркнул прежнее такими тонкими линиями, что зачеркнутое можно легко прочесть.

Оказалось, что список Г, обнаруженный в Отделе письменных источников Государственного исторического музея, в основе своей является ранней редакцией «Путешествия». При сличении списка Г с цензурной рукописью это становится ясным с первых же строк.

Так, на листе 1-м цензурной рукописи читаем: «Звон почтового колокольчика... призвал наконец благодетельного Морфея». И далее — на обороте листа — зачеркнуто: «я заснул». Но в списке Г последние два слова оставлены.

То же самое видим на том же 1-м листе, в следующей фразе: «Что жизнь твою делало тебе сносною?» Слово «сносною» зачеркнуто рукой Радищева, и его же рукой сверху написано: «приятною». В списке же Г «сносною» сохранено.

Там же вместо слов «едино воображение» рукою автора исправлено: «сон и мечта», а вместо «случившаяся на дороге рытвина» — «рытвина, случившаяся на дороге» и т. д. Все зачеркнутые и в большинстве случаев исправленные в цензурной рукописи места остались не зачеркнутыми и не исправленными в списке Г.

Кроме того, вставки Радищева, сделанные им в тексте цензурной рукописи, отсутствуют в списке Исторического музея. Один из первых тому примеров — на обороте 9-го листа. Путешественник, говорится там, восхищенный картиной волнующегося моря, «восклицал изредка, ах, как хорошо!». В цензурной рукописи Радищев после слова «изредка» сверху вставил: «Как Вернет». Но в списке Г эта вставка отсутствует.

Клод-Жозеф Верне, французский художник-маринист (1714—1789), по словам современников, однажды велел привязать себя к корабельной мачте, чтобы лучше видеть бушующий океан. Вставка о нем была существенной, так как имела смысл конкретно-исторического сравнения. Она попала в печатный текст и во все списки «Путешествия», кроме списка Г.

Это также указывает на раннее происхождение известной части данного списка, на ее изготовление до того, как Радищев исправил цензурный экземпляр.

Однако список Г, как уже говорилось, не однороден по своему составу: в нем, помимо основного слоя, то есть текста ранней редакции, имеется и другой, гораздо более поздний, слой.

Этим более поздним слоем, или позднейшей редакцией, «Путешествия» являются дополнения к изданию 1790 года — те же, что и в списках «лонгиновском» и «цебриковском», дополнения, которые (как это будет показано далее) не могли быть сделаны автором ни до представления им книги в цензуру, ни вскоре после этого, ни в ближайшие после выхода книги несколько лет.

Эти первые общие наблюдения над новонайденной рукописью обязывали предпринять более широкое, чем обычно, изучение текста «Путешествия», а именно — сличение трех списков особого состава с цензурной рукописью и печатным текстом, изданным в 1790 году...

И вот снова вспыхивают матовым светом экраны двух диаскопов. На этот раз они заряжены пленками микрофильмов, снятых со списков Б и В.

Тут же, с краю стола, под рукою,— тетрадь с записью результатов сличения списка Г с цензурной рукописью и тут же — фотолитографическое издание «Путешествия», в сущности — фотокопия первого издания «Путешествия из Петербурга в Москву».

Сличение продолжается. Но на этот раз сличается одновременно текст четырех рукописей и одной книги. Процесс сложнейший и, надо сказать, мучительно трудный; но ряд внезапных открытий и наблюдений вознаграждает за этот кропотливый труд.

Постепенно выясняется, что большинство глав в списках Б и В имеет много вариантов из списка Исторического музея, но текст списка Г используется в них не всегда одинаково; некоторые же главы, например, «Городня», в обоих случаях следуют ему целиком.

Оказывается также, что в списках «лонгиновском» и «цебриковском» встречаются такие места, где в одной фразе совмещены элементы двух редакций — ранней и более поздней. Текст главы «Любани» дает такой пример.

В списке Г и в цензурной рукописи читается почти одинаково:

«На прикащика злова хоть можно пожаловаться, а на етова (етого) кому?»

В печатном тексте 1790 года:

«На дурного приказчика хотя можно пожаловаться, а на наемника кому?»

В списке Б:
«На дурного приказчика хоть можно пожаловаться, а на этого кому?»
Список В следует печатному тексту.
Так становится очевидным, что переписчики или сводчики, работая над этими списками, имели под рукой варианты разных редакций книги Радищева, ибо черновики ее не были уничтожены, а если и были, то, видимо, далеко не все.
И переписчики, трудясь над этими списками, проявляли каждый свой вкус и произвол по части отбора и совмещения текста разных редакций. Возможно, что именно этим произволом объясняется «чресполосица» элементов в списках Б и В...
Сличение продолжается. С разными целями лента одного и того же микрофильма просматривается с начала до конца по нескольку раз.
Обнаруживается, что в списке Г имеются и оригинальные варианты, впоследствии никуда не вошедшие. Вот некоторые из них.
В главе «Спасская Полесть» (л. 23-об.)*. Странница, олицетворяющая Истину, обращается к Властителю: «Если из среды народныя возникнет муж, порицающий дела твои, ведай, что той есть твой друг истинный»; в печатном тексте и в списках Б и В — «твой друг искренний», что менее правильно.
В главе «Новгород» (л. 26), там, где Путешественник рассуждает о расправе Ивана Грозного с Новгородом, после слов: «Новгородцы... были бунтовщики. Но какое оному доказательство?» — дан вариант: «То ли, что первые великие князья жили в Новегороде? Нет, они были россияне. А царь Иван Васильевич писался царем всея России или Русии». Это резкое противопоставление «новгородцев» «россиянам» Радищев позднее отверг.
Встречаются в списке Г некоторые оригинальные варианты и «на подступах» к оде «Вольность», причем с одним из них связан курьезный эпизод.
В списках Б и В «новомодной» Стихотворец, беседуя с Путешественником, рассуждает: «Желать смятения царю есть то же, что желать ему зла». Далее следует бессмысленное в данном контексте слово «Чудо» с сопровождающим его многоточием. В. П. Семенников, цитируя это место, сделал поправку: «Желать смятения царю есть то же, что желать ему зла, худа[31]. Но слово, неверно прочитанное и так курьезно понятое,— не «чудо» и не «худо», а латинское «Ergo» (следовательно), совершенно четко выписанное в списке Г.
Стихотворец, рассказав Путешественнику о злоключениях своей

* Во многих изданиях «Путешествия» слово «Полесть» напечатано со строчной буквы, однако его следует писать с прописной, так как это — название реки.

оды «Вольность» в цензуре, произносит фразу, носящую в этом списке (как увидим далее) след позднейшей редакции. В цензурной рукописи и в первопечатном тексте читаем: «Но я не хочу вам наскучить всеми примечаниями, на стихи мои сделанными. Многие, признаюсь, из них были справедливы». В списке же Исторического музея редакция иная: «...многие, признаюсь, из них справедливы». Точно так же — и в списках Б и В.

Этот вариант до сих пор не был учтен исследователями.

Текст «Вольности» в списке Г также имеет ряд неизвестных еще вариантов. Самым интересным из них является предпоследняя строка 37-й строфы.

Говоря о духе человеческом, для которого нет ничего невозможного, предрекая ему, что он «миров до края вознесется», Радищев выбрасывает предпоследнюю строку строфы: «По всей вселенной пронесется» — и заменяет ее другою: «И вечности самой коснется»[32] — то есть дает более поэтический и более глубокомысленный вариант...

Работа по сличению особых списков «Путешествия» с первым его изданием и рукописью, побывавшей в цензуре, дала важные результаты.

Она позволила значительно уяснить творческий процесс создания полного текста книги Радищевым, и в этом уяснении не последнюю роль сыграл список Г.

Он помог понять, как использовались элементы ранней редакции в списках «лонгиновском» и «цебриковском».

Теперь нужно было заняться вопросом: не ошиблись ли исследователи, отнеся эти списки к несоответственно ранней поре?



1

Когда же появились в «Путешествии» строки, которых нет в издании 1790 года? Куски «крамольной», остро политической прозы, целый ряд строф оды «Вольность» и незаконченная поэма «Творение мира»— что это: «ранняя редакция», как утверждают литературоведы, или же *дополнения* к изданной книге, сделанные спустя годы после того, как автор был арестован и сослан в Сибирь?

Важность этого вопроса не подлежит сомнению. Ведь образ и характер Радищева должны в нашем представлении существенно измениться, если окажется, что списки Б, В и — частично — Г дают нам не только раннюю редакцию, но *в целом ее окончательный вариант*.

Поэтому крайне важно установить: остался ли Радищев после ареста и ссылки верен своим идеалам и сохранил ли он силу духа, во-

лю и мужество, чтобы в конце жизни вернуться к работе над «Путешествием», или же, морально раздавленный, изменил своим убеждениям и стал уповать на царей?

Если бы оказалось, что верно последнее, это было бы весьма на руку сторонникам традиции, в частности, современным буржуазным, — американским и английским — литературоведам, и без того утверждающим, что Радищев был не революционер, а либерал[1].

В этом важнейшем вопросе предстоит разобраться. Однако, прежде чем это сделать, следует выяснить: насколько органичной была для Радищева идея продолжения «Путешествия», или после издания этого произведения, суда и ссылки она стала ему чужда?

Во всяком случае, в 1790 году, при подготовке последних страниц «Путешествия» к печати, такая идея автору была присуща. Нельзя оставить без внимания его обращение к читателю в самом конце книги: «...Если я тебе не наскучил, то подожди меня у околицы, мы повидаемся на возвратном пути».

Знаменательно, что эта концовка вставлена Радищевым после получения рукописи из цензуры и что в цензурной рукописи этой концовки нет.

Печатный текст «Путешествия» заканчивался обещанием вторичной встречи с читателем. Но первоначально такой концовки в замысле автора не было, и он представил в цензуру (на что не обратили внимания исследователи) два других варианта конца.

В цензурной рукописи имеется, во-первых, вариант окончания, где Путешественник при въезде в Москву встречается с самоубийцей. Человек, видимо раздавленный феодально-крепостнической действительностью и потому лишающий себя жизни, — таков итоговый образ, поставленный было Радищевым в конце книги, но затем им отвергнутый, так как, по его объяснению, данному на допросе, эпизод этот показался ему «дурным».

Второй вариант помещен в самом конце цензурной рукописи. Исследователи сочли его «случайно» к ней присоединенным. «Трудно сказать, — говорится по этому поводу в томе I академического издания Полного собрания сочинений Радищева (М. — Л., 1938, стр. 496), — мог ли иметь данный отрывок какое-нибудь отношение к тексту «Путешествия». Между тем отрывок этот имеет к нему прямое отношение и настолько интересен, что его стоит привести целиком:

«...а теперь увы! Плачевные перемены! С Нероном ты сравнился, и что всего страннее, те ж самые учинил ты пороки, которыми Нерон всему Риму сделался ненавистным, тебя так же, как Нерона, чудовищем, жаждущим человеческой крови, нарицают. Отсель по справедливости все твое трепещет царство, и добродетельные и порочные от твоей ярости цепенеют. Всяк знает, что неутолимая жажда крови начавшего ее

пить никогда удовольствована быть не может. Знаем, что ласковые и по природе тихие звери, как скоро напьются крови, делаются свирепейшими; так о тебе, коего кротость прежде сего весь свет превозносил хвалами, заключаем, что от пролития христианской крови ты рассвирепел и впредь свое бесчеловечие обуздывать едва ли будешь. Лучше бы тебе мщение отложить до утра. Ежели нетерпеливость нудила тебя употребить таковую строгость, то б хорошее и кроткое природы твоея расположение или совесть тебя удержали, нежели от внезапного огорчения неразсудному твоего сердца следовать воспалению и, отступив от здравого разсудка и презрев человечество, чрезвычайным пылать гневом.

Вижу, что тщетно мое изобличение, недействительны слова и духовное мое врачество тебя не исцеляет. Итак, удались отсюда, зараза святыя церкви, чтоб от долгого твоего здесь пребывания воздух священный, храм сей окружающий, ядовитым твоим не заразился дыханием, или самый храм, не терпя гнусного твоего здесь присутствия, разорвав крепкие связи, не пременил места. Удались отсюда и поди в свои чертоги, орошай слезами одр твой, ударяй руками в перси, посыпь пеплом главу твою, или скажу тебе кратко: последовал ты Давиду в безззаконии, следуй ему <и> в покаянии.

Конец»[2]

Эти строки «неизвестного сочинения» Радищева — не что иное, как его политическая «анафема» Екатерине II, учинившей кровавую расправу с Пугачевым и его сообщниками. Стилизованные под обличительную церковную проповедь и — маскировки ради — обращенные к коронованной особе мужского пола, они являются вариантом конца в «Путешествии из Петербурга в Москву» *.

Отрывок этот упоминает о «плачевных переменах», происшедших с тираном, «коего кротость прежде сего весь свет превозносил хвалами»,— прозрачный намек на Екатерину, истребительницу пугачевцев, ранее заигрывавшую с энциклопедистами и державшую у себя в кабинете бюст Вольтера, а позднее сославшую этот бюст в подвал.

Тема крестьянской войны в России, поднятой Пугачевым, пронизывает «Путешествие» Радищева во многих местах. Но где находился он сам во время московских казней в январе 1775 года, до сих пор было неизвестно, хотя выяснить это следовало уже давно.

---

* Замечательно, что в тексте главы «Спасская Полесть», переведенной в 1793 году вместе с другими пятью главами «Путешествия» на немецкий язык в Германии, переводчик заменил слово «государь» словом «императрица» (Kaiserin), «показывая тем самым, что речь идет об империи Екатерины II» (Е. Г. Плимак, «Новые материалы о Радищеве и Герцене». «История СССР», 1964, № 1, стр. 197).

Екатерина решила после казни Пугачева отправиться в Москву на длительное время и прибыть туда в середине февраля. Но двор и государственные учреждения в связи с этим стали переезжать гораздо раньше. Переехал в Москву и штаб петербургского генерал-губернатора и командующего Финляндской дивизией Я. А. Брюса, при котором Радищев служил тогда обер-аудитором. Следовало проверить: не был ли он отправлен в Москву вместе со штабом Брюса? Это можно было сделать, просмотрев хозяйственные дворцовые документы. И расчет оказался верным: среди них удалось отыскать запись о выдаче Радищеву билета на поставку ему лошадей от Петербурга до Москвы.

«Штата его сиятельства,— гласит эта запись,— господина генерал-адъютанта лейб-гвардии Семеновского полку подполковника и кавалера Якова Александровича Брюса обер-аудитору Александру Радищеву с будущими при нем — 3 подводы»[3]. Билет этот выдан 6 января.

Пугачева и его сообщников казнили в Москве 10 января 1775 года.

Лица придворного и военного ведомств, обеспеченные хорошими лошадьми, ездили быстро и преодолевали расстояние от Петербурга до Москвы на четвертые или пятые сутки. Таким образом, Радищев, скорее всего, прибыл в Москву 10 января, в день казни Пугачева, а быть может, видел и самую казнь.

Во всяком случае, он появился в Москве, еще взволнованной пролитой на Болоте кровью. Рассказы очевидцев о страшных событиях, надо думать, произвели на него неизгладимое впечатление. И оно должно было еще усилиться, когда Радищев, выйдя вскоре в отставку, отправился в саратовское имение своих родителей — Верхнее Аблязово — и по дороге туда увидел тысячи казненных и замученных пугачевцев. Вполне естественно, что впоследствии он пришел к мысли закончить свою книгу проклятием тирану-императрице, и то, что это — заключительный отрывок, подтверждает четко выведенное под ним слово «К о н е ц».

Цензурное разрешение на основной текст «Путешествия» последовало 22 июля 1789 года.

Спустя два месяца, 25 сентября, было дано разрешение на дополнительно представленное «Слово о Ломоносове».

Отрывок же о тиране, уподобившемся Нерону, был отдан в цензуру значительно позже и получил разрешение 10 марта 1790 года, когда бо̀льшая часть книги была уже отпечатана и оставалось допечатать не более чем треть.

Таким образом, мысль закончить «Путешествие» обличением Екатерины появилась у Радищева, видимо, незадолго до завершения процесса печатания. Но он отверг этот вариант конца, как и вариант с самоубийцей, предпочтя закончить книгу обещанием вторичной встречи

с читателем, что было важнее для книги и, очевидно, в идейном отношении наиболее существенно для него самого.

Екатерина II, читая «Путешествие» и делая к тексту его замечания, обратила внимание на эту концовку, записав о ней как особо важный пункт: «На стр. 453 обещает сочинитель продолжение той книги на возвратном пути. Где это сочинение, начато ли оно и где находится?»

Шешковский, допрашивая «сочинителя», повторил этот вопрос буквально в тех же словах, в каких изложила его императрица.

Радищев ответил: «Оное сочинение начато не было». Тем самым он косвенно подтвердил, что мысль о таком сочинении у него была.

И мысль эта не покинула Радищева после ареста и ссылки. Об этом свидетельствуют его «Записки путешествия в Сибирь» с ноября 1790 года по декабрь 1791 года и «Дневник» возвращения из Сибири, который он вел в 1797 году.

В первом выпуске «Пермского краеведческого сборника» (Пермь, 1924) П. С. Богословский напечатал (недостаточно впоследствии оцененную) интересную статью.

Сравнивая текст «Путешествия» с текстом сибирских путевых записок Радищева, он решал два важных вопроса: об устойчивости убеждений их автора и об идейной и литературной связи между «Путешествием из Петербурга в Москву» и сибирскими «Записками» и «Дневником».

Взятые из статьи П. С. Богословского несколько сопоставлений не оставляют сомнения в постоянстве радищевских идей, общественных интересов и симпатий, известных по его «Путешествию». В этой выборке сопоставлений дана лишь более строгая их хронологическая последовательность и уточнен текст.

«Записки»	«Путешествие»
«Вотяки поют едучи, как русские ямщики. Нравы их склонны более к веселию, нежели к печали».	«...извощик мой затянул песню по обыкновению заунывную. Кто знает голоса русских народных песен, тот признается, что есть в них нечто, скорбь народную означающее».
«Записки»	
«...посельщики много бедны. За недоимки отдают их в работу на винный завод, где работают и каторжные».	«Ныне еще поверье* заводится отдавать деревни, как то называется, в аренду. А мы называем ето отдавать головой».

* Поверье — здесь — обычай.

«Дневник»

«Ехав к Ташере, повестречали 3-х человек посельщиков, которые исправляют дорогу, но для виду только. Сие делают и в других местах».

«Все то, на что несвободно подвизаемся, все то, что не для своей совершаем пользы, делаем оплошно, лениво, косо и криво. Таковых находим мы земледелателей в государстве нашем. Нива у них чуждая, плод оныя им не принадлежит».

«Дневник»

«...видно огорчение против дворян и начальства...»

«...Повесть о разбойнике Иване Фадееве, как он мучивал дворян, которые своих не щадили крестьян...»

«Не ведаете ли, любезные наши сограждане, коликая нам предстоит гибель, в коликой мы обращаемся опасности... И чем медлительнее и упорнее мы были в разрешении их уз, тем стремительнее они будут во мщении своем».

Эти и другие, подобные им, примеры убеждают, что Радищев во время своего подневольного путешествия в Сибирь и обратно продолжал «болеть народным горем, его страданиями и нуждами». Автор статьи приходит к выводу, что сибирские путевые записки Радищева были «заготовками» его нового, грандиозного сочинения о России и даже считает, что если бы это сочинение было написано, оно — по разнообразию и обилию наблюдений — оказалось бы более значительным, чем «Путешествие из Петербурга в Москву»[4].

И хотя Радищев не написал такой книги, это постоянство его интересов и склонность к продолжению однажды избранной темы следует признать свойством его характера, отразившимся в его же стихе периода сибирской ссылки:

Я тот же, что и был и буду весь мой век...

Закованный в кандалы, он был увезен из Петербурга 8 сентября 1790 года. При проезде через Новгород, благодаря заступничеству А. Р. Воронцова, кандалы с Радищева были сняты. А 11 ноября, всего через каких-нибудь два месяца, несмотря на все пережитое, он уже начал свои «Записки путешествия в Сибирь».

2

«Революция во Франции совершилась, и королевская власть уничтожена»,— сообщил 19 июля 1789 года президенту Коллегии иностранных дел И. А. Остерману русский посланник в Париже И. М. Симолин.

Его донесение о взятии Бастилии достигло Петербурга спустя неделю. По словам современника, иностранца Сегюра, весть эта с восторгом была встречена в столице купцами, мещанами и «некоторыми молодыми людьми из более высоких слоев общества», хотя, казалось бы, им не было никакого дела до этой парижской тюрьмы.

С этого дня почти на протяжении года, предшествовавшего аресту Радищева, события во Франции не переставали волновать русское общество, заполняя страницы столичных газет.

Осенью 1789 года «Санкт-Петербургские ведомости» (в № 70) опубликовали историческое решение Национального собрания Франции о «совершенном уничтожении всякого рабства, всякого действительного личного холопства и помещичьих прав».

Спустя несколько дней в «Московских ведомостях» (в № 74) появился перевод «Декларации прав человека и гражданина».

А в петербургских книжных лавках началась открытая продажа французских революционных изданий — памфлетов и листков.

С января 1790 года в Москве стал выходить ежемесячный «Политический журнал». «Произошло в Европе начало новой эпохи человеческого рода»,— говорилось в вводной статье этого журнала, причем наступившая эра называлась «эпохой поправления так называемых низких состояний».

Московский «Политический журнал», издаваемый П. А. Сохацким, был передовым.

Это резко отличало его от московских и петербургских «ведомостей», со злобной иронией высмеивавших революционные будни парижан.

Так, в «Санкт-Петербургских ведомостях», в 1-м февральском номере, сообщалось: «Здешнее парижское мещанство положило дать от себя медали пятерым торговкам или рыбачкам, которые октября 5-го, при известном шествии в Версалию, усердием к отечеству наиболее отличились. Случай сей возбудил между подлыми бабами превеликую зависть, и 15 из тех, кои доказать могут свое действие, просят также медалей».

С читаемой между строк насмешкой газета публиковала другой факт:

«Бывшая Французская, а ныне Народная гвардия, явясь в Городскую думу со старыми своими знаменами, просила оные принять и дать им новые знамена Вольности».

В таком же духе поступали донесения и от русского чрезвычайного посланника в Саксонии А. М. Белосельского, служившие сводками о нарастании революции в ряде европейских стран.

«Политические обстоятельства,— писал он в депеше от 25 мая 1790 года,— в настоящее время весьма опасны и дух возмущения, кажется,

простирается от Лиежа до многих мест Германии. Все саксонские крестьяне читают газеты, и предпочтительно те, кои с подробностью пишут о смешанных делах французских, нидерландских и лиежских; чтение сие приводит их в изумление* и портит головы...»[5]

«...Произошли беспорядки во Флоренции,— продолжал он в депеше от 24 июня,— а особливо в графстве Авиньон и герцогстве Савуа **, так что король Сардинский послал в последнее место восемнадцать тысяч войск...»[6]

Далеко не спокойно было и в России. Радищев недаром советовал в своем только что законченном «Путешествии» «не ослепляться внешним спокойствием государства»: под официальным покровом «блаженствующей» в мире и тишине империи не было ни мира, ни тишины.

Оставался по-прежнему нерешенным главный вопрос в государстве — о путях развития помещичьего хозяйства, иначе говоря, о судьбе нескольких миллионов крепостных крестьян.

По-прежнему продолжали свои «отягощения» и «мучительства» душевладельцы, и по-прежнему бежали от них крепостные, унося с собой такую же неутолимую жажду мщения, как и во времена Пугачева. Но угроза крепостническому государству созревала не только среди крепостных, принадлежащих помещикам, но и среди других зависимых крестьян — казенных (государственных) и заводских.

«...Горестная наша жизнь,— писали приписанные к заводам крестьяне в своем обращении к императрице,— стремит доказать нашу крайность; мы верно примечаем, что на заводчиков суда нет на земли, то к кому прибегнем с прошением, кроме вашего величества...»

В конце прошения говорилось: «Всемилостивейшая государыня, спаси и помилуй нас, бедных, страждущих напрасно». А вместо подписи стояло: «Вернейшие подданные всего общества жители заводские».

Эта неопубликованная, безымянная крестьянская просьба была препровождена «для справки» в Тайную экспедицию, Шешковскому, 30 июня 1790 года— в день ареста Радищева[7].

Ко всему этому время было военное — шла война с Турцией и Швецией, а на Полтавщине бушевало восстание: крепостные огромного села Турбаи «учинили себя вольными», уничтожив своих панов. Войска были заняты на фронтах, правительство не имело сил удушить восстание, и Екатерина, опасаясь, чтобы оно не вспыхнуло в других местах империи, предписала в апреле 1790 года губернаторам строжайше следить за проявлениями якобинства и книги революционного содержания запрещать.

Таким образом, события международной жизни и внутренняя об-

---

* Изумление — в языке XVIII века — состояние невменяемости.
** Савуа — Савойя.

становка в России в период подготовки «Путешествия» к изданию не оставляли у автора этой книги сомнений относительно последствий, которые может повести за собой ее выход в свет.

Он не мог знать в точности, как обернется дело и как он будет за свою книгу наказан, но, зная ей цену и отдавая себе ясный отчет, в какое время она выходит, готовился к худшему и принял ряд предохранительных мер.

В литературе отмечались некоторые места «Путешествия» Радищева, носящие автобиографический характер. Разумеется, к ним же следует отнести и то место на стр. 310-й отпечатанной им книги (в «Кратком повествовании о происхождении цензуры»), где идет речь о древнеримском историке Кремуции Корде, тираноборческое сочинение которого было сожжено.

«Римский Сенат,— читаем мы на этой странице,— ползая перед Тиверием, велел, во угождение ему, Кремуциеву книгу сжечь. Но многие с оной осталися списки» (разрядка моя.— *Г. Ш.*). Фраза эта, как покажет дальнейшее, была введена автором не случайно: она — прозрачный намек на списки с его собственного сочинения, уже изготовленные к этому времени. Радищев, «рабства враг», не только «цензуры избежал», но даже позволил себе самым дерзким образом заявить об этом в своей книге.

Снятие копий с текста «Путешествия» в основном было, видимо, закончено еще в конце 1789 года, что, кстати сказать, совпадает с моментом, когда Андрей Николаевич Радищев, родственник писателя и сослуживец его по таможне, выехал из Петербурга в Москву...

Страшась своих доморощенных якобинцев, Екатерина 10 апреля 1790 года предписала «главнокомандующему в Москве» А. А. Прозоровскому — «не дозволять и не терпеть никаких тайных собраний или сходбищ»[8]. А менее чем через месяц, 15 мая, объявила ему в новом рескрипте: «Цензура книг должна зависеть от Управы благочиния, от которой и ценсора назначить»[9]. Это было подтверждением ее указа о «вольных» типографиях, гласившего: «Отдаваемые в печать книги свидетельствовать и, ежели что в них противное Нашему предписанию явится, запрещать»[10].

И вот с этим-то запретительным курсом вступил в борьбу Радищев, в самый разгар цензурных гонений обрушив на цензуру целый трактат.

Как известно, он включил этот раздел в свою книгу после того, как получил на нее разрешение. Над главой «Торжок», в состав которой вошло «Краткое повествование о происхождении цензуры», он работал почти до самого выхода книги в свет.

Во всяком случае, в конце апреля 1790 года он еще вносил в текст этой главы дополнения. Так, в примечании, сделанном им на странице 340-й книги, говорится о восстановлении в Австрии строгих законов о

цензуре в связи со смертью императора Иосифа II. Известие же об этом появилось в «Московских ведомостях» 20 апреля 1790 года, в № 32[11].

Радищев начинает главу «Торжок» с резкой постановки вопроса.

«Теперь свободно иметь всякому орудия печатания,— говорит он,— но то, что печ<ат>ать можно, состоит под опекою. Цензура сделана нянькою рассудка, остроумия, воображения, всего великого и изящного»[12].

И, подкрепляя свою мысль ссылкой на немецкого философа-публициста И. Г. Гердера, приводит его слова:

«Наилучшей способ поощрять доброе есть непрепятствие, дозволение, свобода в помышлениях. Розыск вреден в царстве науки: он сгущает воздух и запирает дыхание. Книга, проходящая десять цензур, прежде, нежели достигнет света, не есть книга, но поделка святой инквизиции; ...В областях истины, в царстве мысли и духа не может никакая земная власть давать решений и не должна; не может того правительство, менее еще его цензор, в клобуке ли он, или с темляком... Чем государство основательнее в своих правилах, чем стройнее, светлее и тверже оно само в себе, тем менее может оно позыбнуться и стрястися от дуновения каждого мнения, от каждой насмешки разъяренного писателя...[13]».

Повторяя Гердера, а видимо, и Мильтона (его знаменитую речь «О свободе печати»), Радищев, ненавидевший самодержавие и всяческое ущемление личной свободы, выступал как поборник гуманистических идей.

3

Из записной книжки автора

«...Глубокоуважаемый Георгий Петрович!..— любезно отвечала мне на мой запрос Э. С. Паина, старший научный сотрудник Центрального государственного исторического архива в Ленинграде.— Действительно, квартира В. В. Бедина* — часть квартиры Радищева. Адрес: ул. Марата, д. 14, кв. 4. В двух комнатах В. В., которые, по-видимому, переделаны из кабинета или столовой,— резные потолки. С двух сторон — резные головы львов в медальонах, пронзенные стрелами. В наружной стене, с обеих сторон камина, находились тайники. В. В. считает, что они были известны до 1917 года, так как один из тайников был заложен кирпичом весьма давно. В. В. обнаружил его существование потому, что там оказалась железная обивка этого тайника. При закладке бреши ее не выбросили.

* В<асилий> В<асильевич> Бедин — начальник Центрального государственного исторического архива в Ленинграде.

Второй тайник давно переделан в шкаф. Величина их: в высоту примерно 1 м. 30—40 см., в ширину см. 70—80 и в глубину см. 50...»

Тайники эти, несомненно относящиеся ко времени работы Радищева над «Путешествием», указывают на конспиративный характер этого творческого процесса, на то, что автору «дерзновенной книги» было что таить.

И Радищев, признавая свою «вину» на допросах в Петропавловской крепости, заявляя о своем «искреннем раскаянии» (ибо другого выхода у него не было), утаил от следователей самое главное — то, что было ему всего дороже. Но это потребовало от него величайшего самообладания и напряжения всех душевных сил...

В страшные для Радищева июльские дни 1790 года народ Франции отмечал годовщину своей победы. Там, где еще недавно высились стены Бастилии, теперь лежали оставшиеся от них руины и была воздвигнута пирамида; на одной ее стороне начертали резцом: «Свобода», а на другой: «Здесь можно плясать».

Но русская Бастилия на Неве стояла еще твердо. Современник Радищева, автор мемуаров Г. С. Винский, угодивший в Петропавловскую крепость несколькими годами раньше, краткими, но выразительными штрихами рисует ее режим. Все, что Винскому привелось слышать за время своего пребывания там от тюремной администрации и стражи, сводилось к трем фразам: «Здесь — Петра и Павла, говори правду!»; «Здесь келья — гроб, дверью хлоп»; «Баять здесь не велят!»

Радищев испытал на себе всю суровость этого режима. Есть основания полагать, что его пытали; во всяком случае, определенно известно, что иногда ему не давали спать: его «повинная», датированная 15 июля 1790 года, была написана им «ночью при офицере»; шеф Тайной экспедиции Шешковский получил ее «в шестом часу утра»[14].

Свидетельство самого Радищева по этому поводу слишком недвусмысленно, чтобы его можно было понять иначе. В своем «Письме о Китайском торге», адресованном А. Р. Воронцову, он (в 1792 году) писал: «Хотя мнения мои относительно многих вещей стали более известными, нежели тщеславие быть сочинителем иногда требует, но я признаюсь в превратности моих мыслей охотно, если меня убедят доводами, лучше тех, которые в сем случае употреблены были...»[15] (разрядка моя — *Г. Ш.)*

Должно быть, «доводы» были достаточно сильными, если с их помощью у Радищева удалось вырвать признание, что он «от всего сердца сожалеет» о своем поступке, сознавая, что книга его «наполнена гнусными, дерзкими и развратными выражениями» и написана «по единому заблуждению его ума».

Однако не все ответы на вопросные пункты были даны обвиняемым в таком смиренно-покаянном духе. На главный вопрос,— намеревался

ли он сделать крестьян вольными? — Радищев ответил, что «по его мыслям надобно когда-нибудь исполниться, но не в нынешнее время»[16]. А спрошенный, почему он хотел уничтожить цензуру, с горькой и утонченно-ехидной иронией объяснил: «Думал, что без нее [цензуры] можно обойтиться, но теперь видит из опыта на себе самом, что она полезна», потому что может многих «заблужденно мыслящих» спасти от такой беды, в какую он попал[17].

Протокол допросов отразил далеко не все, что происходило во время следствия, и мы не знаем всех подробностей, какие интересовали Шешковского, когда он допрашивал своего узника, возможно держа при этом цензурную рукопись в руках...

Радищева в наемной карете, которая оплачивалась «из екстраординарной суммы», возили из крепости на допросы в Палату Уголовного суда.

Его брали туда трижды: 17, 23 и 24 июля. 24-го его допрашивали в последний раз; потом совещались и вынесли приговор; осужденный, видимо, присутствовал при его оглашении. Людьми, осудившими на смерть первого русского писателя-революционера, были: председатель — Михайло Пушкин, советники — Иван Лефебер (очевидно, брат пристава уголовных дел, производившего обыск на дому у Радищева) и Дмитрий Старков; асессоры — Афанасий Иванов и капитан Илья Котельников; секретарь — Петр Попов[18].

Неизвестно, случилось ли это там же, в присутствии суда, или несколько позже, днем или вечером,— но, по словам внука писателя, Н. П. Боголюбова, дед его в день объявления ему приговора поседел[19].

Ничего не известно также о том, как держал себя Радищев на судебных заседаниях и как встретил он приговор. Но, быть может, некоторый свет на это проливает то же «Письмо о Китайском торге», написанное два года спустя.

Из «Письма» этого выясняется, что автор «Путешествия» во время следствия или суда над ним позволил себе великолепный жест мученика идеи; не указывая, когда именно это имело место, он вспоминает: «...сказал, помню, что Галилей, следуя глаголу инквизиции, воскликнул вопреки здравого рассудка: солнце коловращается!»[20] (то есть вращается вокруг земли)...»

* * *

Рукопись «Путешествия», представленная автором в цензуру, была написана на отдельных, перегнутых вдоль, листах бумаги, причем половина листа оставалась чистой. Но книга набиралась не с этого экземпляра: таможенный служащий Емельян Богомолов, набиравший «Путеше-

ствие» в доме автора, показал на следствии, что Радищев присылал ему «через своих людей тетради, писанные в поллиста»*.

Сам же Радищев показал, что у него была черновая рукопись «Путешествия» и что, получив экземпляр из цензуры, он исправлял в этом экземпляре «речения». Таким образом, до издания книги существовало по крайней мере три ее протографа: черновая рукопись, цензурная и наборный экземпляр.

В 1922 году В. П. Семенников опубликовал дополнения к печатному тексту «Путешествия» 1790 года, имеющиеся в «лонгиновском» списке («Новый текст «Путешествия из Петербурга в Москву» Радищева»), и сличил отдельные места этого текста с цензурной рукописью, причем на стр. 10-й своей публикации заявил: «...непосредственное сравнительное изучение нашей рукописи и рукописи цензурной... мы не можем ставить себе целью в данной работе». Тем не менее он сделал относительно этого списка вывод, назвав его промежуточной редакцией «Путешествия»—средней между цензурной рукописью и печатным текстом; мнение это удержалось в науке до сего дня.

Я. Л. Барсков в «Материалах к изучению «Путешествия», изданных в 1935 году изд-вом «Academia», предпринял более обстоятельное сличение списка Б с печатным текстом и цензурной рукописью, почти согласился в оценке этого текста с Семенниковым, однако время его создания отказался определить.

Позже в работах исследователей, в частности, в монографии Г. П. Макогоненко «Радищев и его время» (М., 1956, стр. 411), «лонгиновский» список стали называть ранней редакцией.

Семенников и Барсков допустили в своих работах ряд ошибок и проглядели важнейшее звено в творческой истории «Путешествия». Поэтому вопрос о том, когда к первопечатному тексту 1790 года были сделаны дополнения, следовало решать, предварительно проверив текстологические выводы предшественников, то есть заново сличив цензурную рукопись, списки Б и В и печатный текст.

Только придя к выводам на основе нового сравнительного изучения этих элементов, можно было перейти к литературоведческому анализу дополнений в надежде датировать их и этим разрешить вопрос.

4

Однотумбовый письменный стол с наклонной верхней доскою и в ней — светящийся квадрат диаскопа. Аппарат для чтения микрофильмов снова приходит на помощь исследованию. Но на этот раз сличение

* Здесь нельзя не вспомнить, что в списке Г на 41-м листе, где начинается текст главы «Хотилов», имеется в самом верху листа пометка переписчика: «Из 12-ой тетрати».

служит новой цели: устанавливается, отразились ли в списках Б и В и если — да, то как, поправки, сделанные Радищевым в цензурной рукописи (обозначаемой в научном обиходе литерой А).

Исправленные и затем зачеркнутые им места потребовали прочтения. Эту кропотливую (с применением специального фотографирования) работу выполнили сотрудники научно-технической лаборатории при Институте криминалистики. Впервые (в инфракрасных лучах) были прочитаны слова и части предложений, скрытые под слоем старинных орешковых чернил *.

Заключение криминалистов, выявлявших текст под зачеркнутыми местами, отмечает в разных местах зачеркивания «взъерошенную поверхность бумаги и отдельные отрывистые штрихи, которые пересекаются между собой»; это указывает «на уничтожение первоначально написанного с последующей записью на месте подчистки нового текста». Еще более важным для дальнейшего исследования оказался полученный криминалистами текстовой материал.

После этого из разных мест цензурной рукописи были выборочно взяты несколько расшифрованных поправок Радищева, почему-то зачеркнутых его рукою, и сопоставлены с соответствующими местами в издании 1790 года и в списках Б и В. В четырех случаях из шести эти поправки были обнаружены в обоих полных списках и в первопечатном издании. В приводимых ниже фразах разрядкой даны зачеркнутые слова:

«не меньше ста пятидесяти бочка» (л. 18);

«как мне до него дотронуться, он не мой» (л. 41);

«слабый подданник и раб совершенный» (л. 95-об.);

«Что ж вам, бояре, в том прибыли, что вы едите хлеб, а мы голодны» (л. 182).

Примеры эти доказывают, что данная правка появилась в тексте «Путешествия» после получения автором рукописи из цензуры и затем уже перешла в списки особого состава. Поэтому списки Б и В ранними считать нельзя.

То же самое нужно сказать и по поводу тех случаев, когда в цензурной рукописи — наряду со сплошными зачеркиваниями — встречают-

---

* Сами же по себе, независимо от цели, преследуемой этой расшифровкой, наиболее интересными из прочтений являются два: на листе 1-м расшифровано зачеркнутое, неизвестное до сего времени, первоначальное название книги Радищева: «Путешествие»; очевидно, чтобы не возбуждать сразу же сугубо внимания цензора, автор дал рукописи краткое название и, только получив разрешение, добавил: «... из Петербурга в Москву»; на листе же 187-об, в эпизоде с самоубийцей, встретившимся Путешественнику под Москвою, где речь идет о турецком султане, для изыскания средств казнившем подданных, после слов «удавлял богачей», прочтено зачеркнутое: «в спокойствии духа».

ся слабо зачеркнутые места старого текста и над ним — исправления, сделанные авторской рукой.

Я. Л. Барсков (на стр. 245 «Материалов к изучению «Путешествия») делает ценное признание: «При сличении печатного текста с рукописным (речь идет о цензурной рукописи.— *Г. Ш.*) остается впечатление, что во многих местах внесены поправки рукой Радищева не до печати, а после нее».

Но гораздо важнее этого вариант, указывающий во всех трех списках — Б, В и Г — на свое позднейшее происхождение. Это — фраза Стихотворца о замечаниях цензуры на его оду: «Многие, признаюсь, из них справедливы». Но в цензурной рукописи и в первопечатном тексте сказано: «...были справедливы». Какой же из двух вариантов позднейший? Это вполне можно определить.

Позднейшим следует считать первый из них; это доказывается произведенной нами расшифровкой загадочного цифрового ряда: 3. 4. 6. 7. 10. 11. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 22. 23. 24. 25. 30. 31. 32. 35. 38. 41. 42, помещенного во всех трех списках Б, В и Г после оды «Вольность» (см. конец данной главы).

Заслуживает также внимания стоящее в цензурной рукописи не на своем месте название главы «Подберезье»: оно разрывает текст главы «Спасская Полесть», находясь между фразой: «а я теперь еду, по пословице, куда глаза глядят» и фразой: «Повесть сопутника моего тронула мое воображение» (л. 22). То же самое и в списке Г. Но в издании 1790 года название этой главы — на своем месте. В списках же Б и В имеется любопытный корректив: в первом из них «заблудившееся» название главы перечеркнуто семью косыми штрихами (чернилами того времени), а во втором заменено пробелом. Очевидно, переписчики исправили ошибку по изданию 1790 года, сверившись с ним.

Имеется и разительный пример, к тому же проливающий свет на некоторые подробности, сопровождавшие процесс печатания «Путешествия»: оказывается, что Радищев, печатая книгу, включал в нее хронику событий международной жизни, взятую из свежих газет.

Ранее уже говорилось, что в главе «Торжок», в самом конце «Краткого повествования о происхождении ценсуры», на стр. 340-й «Путешествия», когда значительная часть книги была уже напечатана, появилось примечание об усилении цензуры в Австрии, отражающее известие из «Московских ведомостей» от 20 апреля 1790 года (№ 32).

Вот это примечание:

«(*) В новейших известиях читаем, что наследник Иосифа II намерен возобновить ценсурную комиссию, предместником его уничтоженную».

И вот источник этого примечания — несколько газетных строк:

«Из Вены, марта 27.

Говорят, что духовенству нашему присвоены будут вскоре новые преимущества, каковых оное лишено было в государствование Иосифа II, да и Комиссия о цензуре книг расположена будет на таком же основании, на каком оная была до покойного императора».

Примечание, имеющееся на стр. 340-й книги Радищева, разумеется отсутствовавшее в цензурной рукописи, так как разрешение на печатание «Путешествия» было дано за девять месяцев до этого,— в точности перешло из печатного текста в списки Б (л. 133-об.) и В (л. 158).

Следовательно допечатным протограф этих списков быть не может.

Не мог он быть создан и во время печати, то есть на последнем ее этапе, в период с 20 апреля по начало июня, когда в книжную лавку Зотова поступили первые экземпляры книги: в этот период автор был всецело поглощен правкой текста и корректурой допечатывавшихся ста с лишним страниц.

Что же касается трех недель, остававшихся с момента «выхода в свет» книги до ареста Радищева, когда он лихорадочно «приводил в порядок», то есть запутывал текст цензурной рукописи и, видимо, снимал с нее последние копии,— в эти дни он никак не мог дописать четыре строфы «Вольности» и поэму «Творение мира» с примыкающим к ней прозаическим текстом, иначе говоря, создать протограф особого состава.

Таким образом, сумма текстологических наблюдений накапливается не в пользу исследователей, считавших и считающих списки Б и В промежуточной и даже ранней редакцией. Нет, по всем данным — наоборот.

Все три списка «Путешествия» особого состава (Б, В и Г) состоят из нескольких разновременных слоев.

В этом-то и все дело. И если какая-то незначительная промежуточная редакция между цензурной рукописью и печатным текстом имела место, что допустить вполне возможно, она никоим образом не могла совпадать по своему объему с редакцией особых списков, ибо составляла всего лишь ее часть.

Она должна была сводиться лишь к мелким поправкам.

Важнейшие же дополнения — четыре строфы оды «Вольность», поэма «Творение мира» и ее прозаическое обрамление — появились гораздо позже, в составе протографа особых списков. Но об этом речь впереди...

А мог ли родственник автора, Андрей Николаевич Радищев, увезти

с собой в Дорогобуж снятые с цензурного экземпляра копии со всеми сделанными в этом экземпляре поправками, если он покинул Петербург в конце 1789 года? Разумеется, всех поправок в этих копиях не было. Но многие списки снимались с разных глав в разное время и, видимо, отсылались «верным людям» не один раз.

Остается неясным,— зачем Радищев зачеркивал в цензурной рукописи свои поправки, уже перенесенные в снятые с нее копии и даже попавшие в печатный текст? Надо думать, что у него были какие-то виды на продолжение работы над «Путешествием» и что он это делал не только с целью создать впечатление, будто исправлял главным образом стиль.

Теперь следует как можно точнее датировать дополнения позднейшего времени, общие для всех трех списков (Б, В и Г).

Списки «лонгиновский» и «цебриковский» гораздо сложнее своего «собрата». Каковы же элементы, вошедшие в их состав? Это — ранняя редакция «Путешествия»; текст цензурной рукописи со всеми «приписками и поправками», включая и то, что было написано на «утраченных» (вырванных) листах цензурной рукописи и не вошло в первое издание; списки отдельных глав и оды «Вольность», содержащие различные варианты; дополнения к каноническому тексту, сделанные автором в последние годы его жизни (что доказывается в настоящей работе), и, наконец, печатный текст.

Последнее было предположено еще В. П. Семенниковым. Заметив, что несколько глав «Путешествия» полностью совпадают с печатным текстом книги, он выдвинул «теоретически допустимое» предположение, что главы эти списаны с издания 1790 года, но тотчас же счел это «практически невозможным» и сам свою догадку отверг[21].

Между тем в использовании переписчиком изданной книги или типографских гранок нет ничего невозможного: друзья Радищева, сохранившие рукописные копии «Путешествия», разумеется, могли сохранить и печатную книгу и отдельные ее листы.

Такое происхождение некоторых глав в списках Б и В подтверждается и фразой, стоящей в самом конце «лонгиновского» списка и повторяющей такую же фразу внизу последней страницы «Путешествия», изданного в 1790 году. Фраза эта: «С дозволения Управы Благочиния», конечно, механически перенесена переписчиком со страницы печатного текста. Заслуживает также внимания, что на обороте последнего листа «цебриковского» списка имеется след, видимо, той же фразы о цензурном «дозволении», выскобленной ножом.

Соображение Семенникова о том, что фраза «С дозволения Управы Благочиния» не относится ко всему «Путешествию» в целом, а только к «Слову о Ломоносове», на заглавном листе которого такая же по-

мета сделана Радищевым («Новый текст», стр. 11), не является убедительным; поэтому в качестве возражения его принять нельзя.

Нет сомнения, что последние страницы «Путешествия» были в обоих списках (Б и В) скопированы с печатного текста, но переписчик «цебриковского» списка оказался более сообразительным и, написав «по инерции» эту фразу, затем ее снял.

Не подлежит также сомнению, что этот печатный текст был одною из составных частей общего для обоих списков оригинала, состоявшего из разных элементов; эти элементы, являясь вариантами, требовали отбора и поэтому были по-разному использованы в списках Б и В.

Но тут, в этом важном месте исследования, возникает вопрос: Анна Ивановна Аргамакова, очевидно устроившая в 1800 году переписку «Путешествия» в Саровской пустыни с имеющихся у нее материалов, располагала ли она его протографом в обычном смысле этого слова, то есть первичным подлинником, написанным авторской рукой?

Нет — надо ответить на этот вопрос,— таким подлинником она, повидимому, не располагала. В ее распоряжении были лишь списки разных редакций и дополнения, однако вряд ли писанные рукой Радищева; скорее — наоборот: осторожность, присущая ему еще до издания книги и, конечно, возросшая в величайшей степени после его ареста, должна была удержать автора в столь рискованном деле от пользования собственным почерком,— чтобы никто не смог его уличить.

Скорее — это был скопированный разнообразный материал, почти без каких бы то ни было автографов Радищева, но авторизованный им и сохраненный его друзьями для восстановления «Путешествия».

Анна Ивановна умерла в Москве, в доме П. А. Ушаковой по 2-му Ушаковскому переулку на Остоженке, в 1806 году.

Сто с лишним лет спустя список «Путешествия» Радищева, за исключением мелких разночтений, совершенно идентичный изготовленному в Саровской пустыни, оказался среди книг и бумаг В. М. Цебрикова, проживавшего в 1-м Ильинском переулке на той же Остоженке, в нескольких минутах ходьбы от дома, где умерла Анна Ивановна, и в еще большей близости от Зачатьевского монастыря.

Не исключена возможность, что в этом монастыре, прихожанкой которого была А. И. Аргамакова, она заказала другой список «Путешествия» с «оригинала», который могла увезти из Саровской пустыни в Москву.

После смерти ее этот новый список, возможно, «осел» в одном из остоженских переулков, переходя из рук в руки, но не исчезая из пределов района; по прошествии долгого времени он попал к В. М. Цебрикову, от него — к его родственникам, тоже Цебриковым, а от них — в Литературный архив.

Но, разумеется, это — лишь одна из догадок.

Можно строить догадки и о «протографе» этого списка, о его судьбе в дальнейшем: он мог остаться и в доме П. А. Ушаковой и в Зачатьевском монастыре. Но искать рукопись в доме, где она находилась сто шестьдесят лет назад, почти безнадежно и не так-то просто; что же касается бумаг Зачатьевского монастыря, то в «делах» этого монастырского фонда (в Архиве Московской области), кроме хозяйственных документов, не значится ничего.

Тем не менее продолжать поиски этого «протографа» или «оригинала» следует, так как научное значение его огромно. Разобраться в тексте этих разных редакций и составить из них единое целое переписчикам было нелегко. Сам Радищев не был причастен к этой «ювелирной» работе: он никогда не выбрал бы из ряда вариантов ранние, заведомо худшие и уже им отвергнутые; это сделали, конечно, оставшиеся неизвестными переписчики. Но он дал им главное: списки разных редакций, мелкие, но существенные поправки и пополнения, а также дополнения важнейшие, то есть, все необходимое для воссоздания уничтоженного «Путешествия» в его новом качестве — во всей его зрелой силе и полноте.

Из записной книжки автора

«...Толстый, добрый литературовед спросил меня: «Пишете о Радищеве? А о чем именно?» — «О тайной творческой истории «Путешествия»,— ответил я. «Не понимаю,— сказал он с оттенком легкого раздражения, снял очки и стал протирать носовым платком стекла.— Что значит «тайная творческая история»?! Ведь все уже известно!..»

Нет, известно еще далеко не все.

Не получило еще известности, что дополнения к тексту «Путешествия» 1790 года никогда не были исключениями из первоначального варианта книги, что списки особого состава, если говорить не об отдельных, несущественных их элементах, а брать их в целом, не являются промежуточным звеном между цензурной рукописью и печатным текстом, а окончательной редакцией и что промежуточным звеном между цензурной рукописью и этими списками служит печатный текст.

А разве известно, что Радищев сохранил черновики (или списки) своих вариантов? И разве кем-нибудь было доказано, что он воссоздал свою истребленную книгу и даже ее дописал?

Между тем подозрение такого рода возрастает с находкой каждого нового списка особого состава текста. До последнего времени было известно два таких списка, теперь к ним прибавился третий — список Г.

Там же, в Отделе письменных источников, где я нашел эту рукопись, были обнаружены мною (в фонде Барятинских, ед. хр. 71) два полных списка оды «Вольность», каждый — в объеме 54 строф.

Обе рукописи имеют вид тетрадей голубоватой бумаги «в четвертку», с водяным знаком «1804», вырванные (судя по пагинации) из каких-то двух гораздо более толстых рукописей, скорее всего — из «Путешествия из Петербурга в Москву».

Списки эти по своим вариантам очень близки списку «Вольности» Ленинской библиотеки (шифр: М. 10320), описанному в 1956 году Л. И. Кулаковой[22]. Некоторые же разночтения в них в высшей степени интересны; таков, например, во втором из этих списков вариант, исправляющий испорченную переписчиком седьмую строку 52-й строфы.

В строфе этой идет речь о падении самодержавной власти, которая (так в большинстве списков) «вкатяся где (?) потщится (поспешит) пасть». В списке Ленинской библиотеки это место читается иначе: «вкатясь горé» (взобравшись на высоту) и т. д. В новонайденном списке «Вольности», вместо лишенного смысла, обычного «вкатяся где» и улучшенного «вкатясь горé», дан вариант «вскогтясь горè»,— то есть взобравшись с помощью когтей на вершину, что вполне отвечает образу самодержавия как чудовища, характерному для стиля Радищева.

Таким образом, мы располагаем сейчас двумя полными списками «Путешествия» и одним неполным, но имеющим почти все дополнения к печатному тексту 1790 года, какие содержатся в списках Б и В. Кроме того, помимо названных выше трех полных списков оды «Вольность» в самое последнее время, в Ленинграде, был обнаружен четвертый список*. Очень важно отметить, что все эти рукописи относятся либо к самому концу XVIII столетия, либо к самому началу XIX; ни одного более раннего списка с полным текстом «Путешествия» нет...

И я задумываюсь над непоследовательностью некоторых историков литературы, тех из них, кому приходится иметь дело с Радищевым,— составлять собрания его сочинений, снабжать их примечаниями, писать о нем статьи. Все они как один «признают», то есть публикуют и цитируют, пространный текст «Вольности», дополняющий сокращенный текст первого издания почти на целых 270 строк. Но это признание они почему-то не вполне распространяют на прозаические отрывки, дополняющие то же издание «Путешествия»; отрывки эти обычно помещаются ими среди «разночтений» в разделе академических примечаний, как будто знать об этих дополнениях должен самый узкий читательский круг.

---

* ГПБ. Архив Майковых, № 610. См.: Г. И. Сенников. Поэзия А. Н. Радищева. Автореферат кандидатской диссертации. Л., 1964, стр. 6.

Между тем куски этого остающегося «в тени» текста по своей острой обличительной силе великолепны. Они у меня под рукой, иногда — с частью предшествующего текста, чтобы было понятнее, выписанные по главам, на отдельных листках:

К главе «Тосна»*

«Поехавши из Петербурга, воображал я себе, что дорога была наилучшая. Таковою ее почитали все те, которые ездили по ней вслед государя. Таковою она была действительно, но на малое время. Земля, насыпанная по дороге, сделав ее гладкою в сухое время, дождями разжиженная, произвела великую грязь среди лета и сделала ее непроходимою. Если бы г. наместники не лицом только <товар>** продавать хотели и для каждого гражданина, по большой дороге проезжающего, поступали бы с исправниками земскими по-капральски, как то они сами поступают, то дороги наши в рассуждении короткого времени, в которое они портятся, были бы наилучшие в свете. Но в самодержавном правлении государь подобен солнцу: в естестве, где оно греет, там есть и жизнь; где его нет — там все умирает. Самодержавный государь один в государстве своем имеет право следовать рассудку, все другие обязаны следовать повелению, всегда следовать тому, как другой мыслит, а не так, как самому хочется. Скучно, — и оттого дорога, по которой я ехал, была дурна. Но клячи почтовые, с помощью всесильного кнута, до почтового стана меня дотащили»***.

К главе «Чудово»

(Приятель Путешественника, едва не утонувший в Финском заливе из-за бездушного отношения берегового начальства, вспомнив такой же случай, имевший место в Индии, с горечью говорит)

«Чем же мы можем преимуществовать пред непросвещенными асийскими**** правлениями?»

---

* Дополнительный текст приводится по списку Б.

** «Товар» восстанавливается по рукописи Г.

*** Разрядкой отмечен текст, не вошедший в издание «Путешествия» 1790 года и имеющийся только в списках Б, В и Г.

**** Асийские (азийские) — азиатские.

К главе «Новгород»

(О расправе Ивана Грозного с новгородцами)

«...Были и есть люди, которые его гнев почитали и почитают справедливым. Новгородцы в их мнении были бунтовщики; но какое оному доказательство?.. ...Сей государь столько успел в своем предприятии, что в новгородцах не осталося ни малейшей искры духа свободы, за которую они с толиким сражалися жаром. С вечевым колоколом рушилось в них даже и зыбление, так сказать, вольности, нередко по усмирении бури остающееся. И, действительно, не видно, чтобы после того новгородцы делали какое покушение на возвращение своей свободы».

К главе «Крестьцы»

(Обращение Путешественника к крестицкому дворянину)

«...Не возрыдаешь ли ты, что сынок твой любезной с приятною улыбкою отнимать будет имение, честь, отравлять и резать людей не своими всегда барскими руками, но посредством лап своих раболепцов и, отходя от века сего, даст в наследие внукам твоим село, зовомое село Крови?..»*

К главе «Хотилов»

(Либеральный автор «Проекта в будущем», имея в виду восстание Пугачева, предупреждает своих собратьев по классу)

«Приведите себе на память плачевные повествования прошедшего столетия» (в печатном тексте 1790 года: «...прежние повествования»).

И далее:

«Блюдитеся, да опять посечены не будете» (в печатном) тексте 1790 года: только «Блюдитеся»).

Там же:

«Да не скончаем жизни нашея, возымев только мысль благую и не возмогши ее исполнить (то есть не успев осуществить намерение освободить крестьян. — *Г. Ш.*). Да не воспользуется тем потомство наше, да не пожнет венца нашего и с презрением о нас да не скажет: они были...

Дано в... 18...... года».

(Еще одно доказательство, что приведенные дополнения восходят к одному источнику! Эта фраза во всех трех списках особого состава —

---

* Текст этот в списке Г отсутствует, так как глава «Крестьцы» опущена в нем целиком.

Б, В и Г — написана с соблюдением одинаковых особенностей правописания: после предлога «в» поставлены три точки, а после цифры «18» — шесть).

К главе «Торжок»

(Пример изощренно лукавого политического острословия, направленного против Екатерины II)

«...истинно великие государи столь редки.

Мудрый правитель (боюсь назвать великим: ибо прилагая таковые наименования государю живу, почтен буду или рабом, или льстецом, или ханжею, или корыстолюбцем; хвалитель будет скаредный подлец, а хвалимый в опасности будет замараться в хвале мерзавца и пред светом всегда потеряет)...»

Очевидно, все эти дополнения находились уже в цензурной рукописи и потом были удалены из нее, когда Радищев, перед арестом, вырывал и подменял листы. Во всяком случае, в тексте цензурного экземпляра сохранились следы почти всех прозаических дополнений. Но с одой «Вольность» дело обстоит сложнее, в связи с нею возникает трудный вопрос.

Трудность его решения упирается в намеренно запутанный автором текст цензурной рукописи, откуда он вырвал десятки страниц. Обманувший цензуру Радищев, внесший в свою книгу много такого, чего в цензурном экземпляре не было, надеялся путем «перебрасывания» листов затемнить картину и, по возможности, смягчить криминальность своего поступка, если придется держать ответ.

Сколько строф оды было в цензурной рукописи — 54, 50 или еще меньше,— это никем никогда проверено не было. А что, если попытаться это проверить, то есть выяснить, что было написано на нескольких — ныне отсутствующих — побывавших в цензуре листах «Путешествия»? Ведь если бы такая попытка удалась, это было бы почти волшебством!..»

5

Радищев на следствии показал, что, насколько он помнит, прибавления в его книге «без ценсуры» были сделаны им в главах «Спасская Полесть», «Подберезье» и «Торжок».

О том, каким изменениям подверглась при напечатании ода «Вольность», он не сказал ни слова. Исследователи же, отмечая сокращения, сделанные автором для печати, считают, что в цензурную рукопись текст этой оды входил целиком.

«...хотя в тексте «Путешествия»,— говорит по этому поводу В. П. Се-

менников,—есть вставки, сделанные после цензуры, но ода «Вольность» не принадлежит к их числу, она находилась вся (разрядка моя.— *Г. Ш.*) в той рукописи, которая была представлена для получения цензурной санкции»[23].

«Вся»— надо понимать: в составе 54 строф.

Но при попытке это проверить оказывается, что дело совсем не так просто, потому что на уцелевших четырех листах цензурной рукописи (186, 186-bis, 187 и 188) помещено всего 16 строф оды «Вольность», хотя текст ее обрывается на 24-й строфе. Другими словами — в этой части оды пропущено несколько строф (2-я, 5-я, 8-я, 9-я, 12-я, 21-я и 23-я). Следовательно, либо вся ода (включая и ту ее часть, которая находилась на «утраченных» листах) была представлена в цензуру не полностью, либо уцелевшие листы после возвращения рукописи из цензуры подменены.

Последнее обстоятельство не было отмечено исследователями; между тем подмена этих листов более чем вероятна, но убедиться в ней можно только одним, очень простым, способом — сделав макет и выяснив, какое общее количество строф умещалось на уцелевших и на вырванных листах.

Если их было 54 или 50 (как обозначено в первом издании), значит, подмена листов имела место; но для расчета, который помог бы это выяснить, необходимо было точно знать, на каком именно месте рукописи кончалась ода «Вольность», ибо после восьми вырванных листов (189—196) идет фраза: «...Кто напоит меня и накормит?»— являющаяся продолжением следующей главы «Городня».

На помощь приходит макет из сложенной тетрадкой бумаги; листы тетрадки пока что ничем не заполнены и только пронумерованы — с 186-го по 197-й.

В изданном Радищевым «Путешествии» количество печатных знаков в строке равно 32. Отсчитав строки, «пятясь назад» от фразы «Кто напоит меня и накормит?» до начала главы «Городня», получим 26 строк, или 832 печатных знака. Зная, что в строке цензурной рукописи содержится в среднем 26 знаков, высчитаем, сколько рукописных строк занимает в цензурном экземпляре начало главы «Городня».

Оказывается — 30 строк. Это означает, что начало названной главы занимало всю оборотную сторону вырванного 196-го листа и нижнюю часть (шесть строк) лицевой; на той же лицевой стороне должны были находиться 9 строк прозаического послесловия к оде «Вольность» и ее последняя строфа.

Таким образом, для размещения этой оды в цензурной рукописи имелось довольно большое пространство: начиная с 186-го листа, на обороте которого находились 24 строки прозаического текста, и кончая листом 196-м.

На этих десяти с лишним листах макета попробуем разместить оду «Вольность», исходя из того, что почти все листы цензурной рукописи, смежные с одой (с каждой стороны листа — лицевой и оборотной), вмещают по 24 строки, как и в большей части рукописи, где имеется прозаический текст.

При таком распределении текста оды получится, что Радищев представил ее в цензуру в объеме 50 строф.

Но, если исходить из 26 строк на одной стороне листа или странице (а на уцелевших листах 26 строк встречаются довольно часто), число строф в цензурной рукописи окажется равным 54-м.

Что же касается поэмы «Творение мира», то ее вовсе не могло быть в цензурном экземпляре: для нее там попросту не нашлось бы места, так как она одна состоит из 129 строк...

При любом из наших решений становится ясно, что ода «Вольность» была представлена в цензуру в гораздо более полной редакции, чем известная по изданию 1790 года; но автор, получив разрешение, подменил листы 186 — 189 и часть строф исключил.

Зачем же он это сделал? Почему он нашел нужным сократить свою оду, не имея на то предписаний цензуры, следов вмешательства которой в цензурной рукописи нет вообще?

На этот вопрос придется ответить несколько позже. А пока — попытаемся определить первоначальное количество строф «Вольности» иным (окольным) путем.

Обратимся для этого к печатному тексту «Путешествия» и внимательно сличим его еще раз с текстом цензурной рукописи и одного из полных списков,— скажем, Б.

В этом списке — 54 строфы. В печатном тексте 1790 года — 50 строф, причем из них всего 14 строф даны полностью, 12 — в стихотворных отрывках и пересказе прозою, а остальные 24 — только в прозаическом пересказе, иногда суммарном, обобщающем сразу большую группу строф.

Так как в печатном тексте 1790 года строфа 50-я по своему содержанию соответствует в списке Б строфе 54-й, целесообразно проследить с самого начала оды «Вольность» соотношение строф в печатном тексте и в списке Б.

Оказывается, что 9-я строфа изданной Радищевым книги соответствует 10-й строфе «лонгиновского» списка, 23-я — 25-й, а 34-я — уже 38-й. Это означает, что автор, печатая «Путешествие», по разным причинам не включил в оду 9-ю и 24-ю строфы, а затем — между 26-й и 38-й — еще какие-то две строфы. Какие именно это были строфы, сказать трудно. Во всяком случае, в этом месте оды несоответствие между количеством строф в печатном тексте и в тексте списка Б доходит до четырех.

Это обстоятельство, казалось бы, указывает на то, что общее число строф до печати было 54. Однако сделать такой вывод не позволяет пересказ содержания строф, следующих за строфой 40-й.

В этом пересказе говорится: «Следующие 8 строф содержат прорицания о будущем жребии отечества, которое разделится на части, и тем скорее, чем будет пространнее. Но время еще не пришло. Когда же оно наступит, тогда встрещат заклепы тяжкой ночи. Упругая власть при издыхании приставит стражу к слову и соберет все свои силы, дабы последним махом раздавить возникающую вольность...»

Зная, что 41-я строфа печатного текста должна соответствовать 45-й строфе полного (в данном случае — «лонгиновского») списка, определим, какие это восемь строф, начиная с 45-й и кончая 52-й.

Выясняется, что первые три строфы из этих восьми (45-я, 46-я, 47-я), а также 51-я не имеют никакого отношения к тематике данного пересказа и совершенно им не предусмотрены.

Строфы 45-я, 46-я и 47-я образуют в оде «Вольность» единый — и притом вставной — сюжет, явно автобиографического характера, разработанный автором на самом склоне лет.

Огорченный затуханием революции во Франции, где реакция начинает поднимать голову, Радищев в строфах 42-й и 43-й говорит о «неизменимом» законе жизни: «Из мучительства рождается вольность, из вольности рабство».

О, вольность, вольность,—

тем не менее восклицает он, полный надежды и просветительской страсти,—

да скончаешь
Со вечностью ты свой полет!

И тут же с горечью добавляет:

Но корень благ твой истощится,
Свобода в наглость превратится
И власти под ярмом падет.

Затем колебаниям приходит конец. Наступает это не сразу, а, видимо, спустя годы, так как новое отношение Радищева к «закону» чередования свободы и рабства отражается в строфах 45-й —47-й, не предусмотренных в 1790 году.

Строки эти, несомненно, позднейшего происхождения: в них — уже иной, более спокойный и мудрый взгляд автора на революцию; теперь (в строфе 45-й) Радищев считает, что народы, завоевавшие свободу, могут быть счастливы и что «вольность» «соблюсти» можно, если помнить об опасностях, которые ей грозят:

45

О! вы, счастливые народы,
Где случай вольность даровал!
Блюдите дар благой природы
В сердцах, что Вечный начертал.
Се хлябь разверстая, цветами
Усыпанная, под ногами
У вас, готова вас сглотить.
Не забывай ни на минуту,
Что крепость сил в немощность люту,
Что свет во тьму льзя * претворить.

Обращаясь к молодой Американской республике, он продолжает:

46

К тебе душа моя вспаленна,
К тебе, словутая страна,
Стремится, гнетом где согбенна,
Лежала вольность попрана.
Ликуешь ты, а мы здесь страждем!..
Того ж, того ж и мы все жаждем;
Пример твой мету обнажил;
Твоей я славе не причастен,
Позволь, коль дух мой не подвластен,
Чтоб брег твой пепл хотя мой скрыл.

47

Но нет! Где рок судил родиться,
Да будет там и дням предел.
Да хладный прах мой осенится
Величеством, что днесь я пел.
Да юноша, взалкавый славы,
Пришед на гроб мой обветшалый,
Дабы со чувствием вещал,
Под игом власти сей рожденный,
Нося оковы позлащенны,
Нам вольность первый прорицал.

Эти строки, разумеется, написаны человеком, много испытавшим, чувствующим себя состарившимся и уже думающим о близком «пределе» своей жизни, о собственном «хладном прахе», над которым будут произнесены заслуженно великолепные слова.

Принято считать, что ода «Вольность», включая строфы 45-ю и 46-ю, написана под свежим впечатлением от победы Американской революции, то есть в середине 80-х годов.

---

* Льзя — старорусское, народное — можно.

Но не кажется ли странным, что тридцатипятилетний Радищев — человек в расцвете духовных и физических сил — так проникновенно говорит о своей старости и о ее неизбежно печальном исходе? Не кажется ли, что здесь что-то не так?

Между тем то обстоятельство, что строфы эти оказались в издании 1790 года непредусмотренными, обязывает нас пересмотреть их датировку и приурочить ее к более позднему времени. Но мог ли Радищев спустя много лет после победы Американской революции ее приветствовать, когда в Америке уже давало себя знать социальное угнетение, которое сам же он осудил в своей книге? С другой стороны, в этой же книге он прославлял законы о печати некоторых штатов. И, оказывается, были причины, заставившие его даже по прошествии шестнадцати лет, славить Америку. И вот почему.

Автор «Путешествия» и оды «Вольность» дважды обращался к этой теме: первый раз — после 1783 года, и это нашло свое отражение в оде (строфы 30-я — 34-я) и вторично — в строфах 45-й — 46-й — в самом конце века, вернее всего в 1799 году.

В этом году в Американской республике, в отличие от Франции, где победила буржуазная реакция, одержали верх демократические силы с их лидером Томасом Джефферсоном во главе.

Около девяти лет шла в этой стране ожесточенная борьба между республиканцами и федералистами, мешавшими проведению в жизнь поправок к конституции — так называемого «Билля о правах». В нем отстаивались основные права человека: неприкосновенность личности, жилища, политическая свобода... В 1798 году Джефферсон изложил эти права в «Резолюциях», написанных им для штата Кентукки, что явилось резким вызовом федералистам и чрезвычайно обострило борьбу. К 1799 году федералисты лишились власти и влияния, и Джефферсон стал кандидатом в президенты. Но избрание его состоялось лишь в ноябре 1800 года [24], так как по американской традиции, соблюдающейся и в настоящее время, выборы президента происходят по четным годам.

Американская конституция явилась в конце XVIII столетия самой передовой для своего времени: она «утверждала республиканский строй, и одно это уже делало ее в глазах европейских революционеров... манифестом борьбы»[24].

Демократические элементы одержали в США крупную победу в самом конце XVIII века, когда в Западной Европе революция уже находилась в состоянии спада и когда восторженные восклицания Радищева, привыкшего к идеалам Просвещения, могла вызывать — при всех ее противоречиях — только заокеанская «словутая страна». Вот почему 45-я и 46-я строфы «Вольности», прославляющие Американскую республику, должны быть отнесены именно к концу XVIII столетия. Что же касается шестой строки 46-й строфы оды: «Того ж, того ж и мы все жаждем», —

то Радищев здесь явно имел в виду конституцию — буржуазно-демократические свободы, которые на данном этапе готов был принять.

В литературе отмечалось, что 46-я и 47-я строфы «Вольности» отражают соответствующее место из книги французского просветителя Рейналя — «Американская революция», изданной в Лондоне в 1781 году.

Рейналевский текст действительно послужил основой для Радищева как автора нескольких строк этой строфы. В обращении Рейналя к американскому народу читаем: «...героическая страна, мои преклонные годы не позволяют мне посетить тебя... Свободная и священная земля не скроет мой прах, но я хотел бы этого».

Радищев противопоставляет желанию Рейналя свое, совершенно иное: он твердо намерен умереть на своей еще «страждущей» «под игом власти», но милой его сердцу родине, о которой вполне мог бы сказать словами В. К. Тредиаковского из его «Стихов похвальных России»:

Россия мати, свет мой безмерный!..
Чем ты, Россия, неизобильна?
Где ты, Россия, не была сильна?..
Сто мне языков надобно б было —
Прославить все то, что в тебе мило...

Но факт использования Радищевым нескольких строк из книги Рейналя издания 1780 года вовсе не говорит за то, что 45—47 строфы «Вольности» были написаны в начале или даже в конце 80-х годов. Радищев, работая над этими строфами, мог обратиться к выпискам из прочитанной ранее книги или к ней самой гораздо позднее. А книги его (как и рукописи) сохранялись в безопасном месте. 8 марта 1791 года он писал из Тобольска А. Р. Воронцову: «...Я просил, чтобы вы соблаговолили обременить себя пересылкой Физико-экономической библиотеки*, находящейся среди моих книг, но узнал, что они увезены в Москву...» (разрядка моя.— *Г. Ш.*)[25].

Ощущение Радищевым своей преждевременной физической дряхлости отразилось в его просьбе к Павлу I (в декабре 1797 года) разрешить ему поездку в Саратовскую губернию для свидания с престарелыми матерью и отцом: «...я сам,— писал он,— хотя еще на пятидесятом году от рождения, не могу надеяться долголетнего продолжения дней моих, ибо горести и печали умалили силы естественные. Взглянув на меня, всяк сказать может, колико старость предварила мои лета»[26].

Особенного же внимания заслуживает начало 47-й строфы:

Но нет! Где рок судил родиться,
Да будет там и дням предел...

---

* «Физико-экономическая библиотека» — издание, содержащее практические советы по сельскому хозяйству и домоводству; выходило в Париже в 80-х гг.

Строки эти имеют, видимо, и локальное значение, то есть относятся не только к отечеству автора, России, но и к местности под Малым Ярославцем (сельцу Немцову), где Радищеву было разрешено поселиться по возвращении из Сибири в 1797 году.

Место его рождения до сих пор не установлено, так как метрические книги за первую половину XVIII века не сохранились; уцелели — и то лишь случайно — книги отдельных церквей*.

По одним сведениям, Радищев родился в селе Верхнем Аблязове, Кузнецкого уезда, Саратовского наместничества (ныне — Пензенская область); по другим — в Москве.

Что касается первой версии, то ее никак нельзя считать убедительной, ибо единственным ее источником является надпись на иконе аблязовской церкви, сделанная спустя сто семнадцать лет после рождения Радищева.

Два его сына, Павел и Николай, показывают, что отец их родился в Москве.

Сам он так определенно нигде не говорит об этом. Но московскую версию отчасти подтверждает его ответ на вопрос анкеты Лейпцигского университета 1767 года; в графе «Отечество, откуда родом» рукой университетского канцеляриста против фамилии «Радищев» отмечено: «equ Moscov»[27]. Однако слову «Москва» такое сокращение соответствовать не может. Скорее оно означало: «equ[es] Moscov[iensis]», то есть «дворянин, уроженец московский», но в широком региональном смысле: уроженец Московской губернии, а не обязательно города Москвы**.

До 1776 года Калуга и Малый Ярославец с находящимся в его уезде сельцом Немцовом входили в состав Московской губернии. Радищевы с очень давних пор владели в Малоярославецком уезде землями, и даже волость, где находилось сельцо Немцово, в XVIII веке называлась Радищевской[28]. Автор знаменитой книги, по-видимому, провел детство в этом сельце.

С начала XVIII столетия малолетние дворяне — так называемые недоросли — обязаны были по достижении семилетнего возраста являться по месту своего жительства на смотр. Ответ на вопрос, где «являлся»

* Распоряжение об обязательном хранении метрических книг вошло в силу только в 1777 году.

** Вспомним, что и друг Радищева Ф. В. Ушаков, также отвечавший на вопросы этой анкеты, оказался уроженцем вовсе не Новгорода (как сказано в анкете), а одного из сел Нижегородского уезда. То же самое произошло и с другим университетским товарищем Радищева — П. И. Челищевым: в его анкете сказано: «Smolenscens[is]», но это не относится к городу Смоленску, так как о Челищеве известно, что он родился в «пределах Смоленской губернии». («Сборник материалов для истории рода Челищевых». СПБ, 1893, стр. 242.)

семилетний недоросль Александр Радищев, удалось найти в Центральном государственном архиве древних актов: в одной из книг Герольдмейстерской конторы о сыне отставного подпоручика Николая Афанасьевича Радищева Александре сказано, что он «на первый смотр являлся в Малоярославецкой воеводской канцелярии»; там же был «явлен» и его младший брат Моисей [29].

В статье «Описание моего владения» Радищев, рисуя свое прибытие из Сибири в Немцово, с грустью отмечает: «Прямо против двора, при въезде, стоят три березы, современницы моего детства...» [30]

И, наконец, два его последних письма из ссылки А. Р. Воронцову прямо указывают на место его рождения под Москвой.

Первое из этих писем было послано им своему покровителю из Илимска в начале января 1797 года. Из этого послания видно, что Радищев несколько раньше уже просил Воронцова исхлопотать ему у Павла I разрешение покинуть Сибирь и поселиться у себя на родине; в ожидании ответа на эту просьбу он писал:

«...Ах, как сладко снова увидеть места, где протекало наше детство... Ах, если бы рука, подающая мне жизнь, могла, по крайней мере, уготовить мне могилу в местах, где я родился» [31] (разрядка моя.— *Г. Ш.*).

Ему разрешили возвратиться и жить «в своих деревнях»; практически это означало — в Немцове. И он с радостью уведомил А. Р. Воронцова о том, что желание его исполнилось, послав своему заступнику письмо уже с дороги (26 января) [32].

Выраженное в первом из этих писем желание Радищева «уготовить» себе могилу там, где он родился, почти дословно повторено в начале 47-й строфы:

Но нет! Где рок судил родиться,
Да будет там и дням предел...

Радищев мог написать эти строки либо перед самым возвращением из Сибири, либо — что гораздо вернее — уже очутившись в своем Немцове, то есть не ранее, чем в 1797 году.

Вот почему эти лучшие в оде строфы — 47-я и составляющие с нею единое целое 45-я и 46-я — не были предусмотрены автором в конспективном пересказе, данном в издании 1790 года при строфе 40-й.

Непредусмотренной оказывается и строфа 51-я — о возникновении «из недр» обреченной на распад империи, из хаоса гражданской войны, «кровавых рек», голода и болезней федерации «малых светил», украшенных «дружества венцом».

Итак, четыре строфы из восьми не получили отражения в пересказе текста «Вольности», помещенном в первом издании «Путешествия» после (тоже пересказанной) строфы 40-й.

Это произошло потому, что строфы 45-я, 46-я, 47-я, а также 51-я еще не были в 1790 году написаны, и — более того — их еще не предусматривал в будущем авторский план.

Думать, что вторые четыре строфы пересказа (из восьми) опущены по цензурным соображениям, не приходится, ибо первые четыре гораздо более одиозны, как предсказывающие грядущий распад отечества и последние усилия самодержавия при своем «издыхании» удержать власть.

Исследователи Радищева — Г. П. Макогоненко[33] и согласный с ним (в данном случае) С. Ф. Елеонский[34] — правильно подметили, что из допечатного текста «Вольности» в первом издании «Путешествия» были исключены четыре строфы.

Но они упустили из виду, что одновременно с этим другие четыре строфы не были еще ни созданы, ни задуманы автором и что поэтому количество строф оды в допечатной редакции равнялось пятидесяти, а не пятидесяти четырем*.

«Лонгиновский» список подтверждает это. Прозаический пересказ отдельных строф, данный автором в первом издании «Путешествия», повторяется в списке Б в виде подстрочных примечаний, сопровождающих текст этих строф, приведенных полностью. Примечания воспроизводят печатный текст пересказа с абсолютной точностью, включая пунктуацию, хотя не все они стоят на своих местах.

Пересказ же восьми строф, помещенный в первом издании за строфой 40-й, оказался в списке Б опущенным; очевидно, переписчик или сводчик в данном случае заметил явное расхождение пересказа с последующим содержанием оды, обнаружил в нем новые строфы — и по этой причине пересказ снял.

6

Целый ряд загадок — одну сложнее другой — оставил нам Радищев; немало их и в цензурной рукописи «Путешествия», где, «перебрасывая» старые листы, вставляя новые и все время меняя пагинацию, он основательно запутал текст.

---

* Г. П. Макогоненко в своей работе «Радищев и его время» (стр. 400—401) настаивает на 54-х строфах в первоначальном варианте оды, ибо ошибочно думает, что списки «Путешествия» полного состава — ранняя редакция, а печатный текст 1790 года — окончательный вариант.

Л. И. Кулакова держится иного мнения, считая списки Б и В, в связи с упоминанием в них о разгроме квартиры и типографии Марата, «не очень ранней», но все же допечатной редакцией («Известия АН СССР». Отделение литературы и языка, 1956, т. XV, в. 2, стр. 152).

Прежде всего загадочна в этой рукописи нумерация строф оды «Вольность». Количество их равно семнадцати, но даны они не подряд, а выборочно с 1-й по 24-ю, от которой (в связи с тем, что правый нижний угол листа оторван) осталось по одному последнему слову от каждой из первых двух строк.

Последовательная нумерация этих строф (с 1-й по 17-ю) зачеркнута и заменена прерывистой, показывающей, какие строфы были исключены.

Вид это имело такой:

1			
~~2~~	3	~~10~~	15
~~3~~	4	~~11~~	16
~~4~~	6	~~12~~	17
~~5~~	7	~~13~~	18
~~6~~	10	~~14~~	19
~~7~~	11	~~15~~	20
~~8~~	13	~~16~~	22
~~9~~	14	~~17~~	24

Ни последовательная, ни прерывистая нумерация не соответствует той, которая дана в первом издании. Спрашивается: зачем понадобилось Радищеву давать в *подмененных* листах *такой* сокращенный вариант? Не имеем ли мы здесь дело с вариантом оды «Вольность» неизвестного назначения, вставленным в цензурную рукопись наспех, когда автору уже было ясно, что ареста ему не миновать?

Каково же могло быть назначение данного варианта? На этот вопрос отвечают все три списка «Путешествия» особого состава — Б, В и Г.

В этих списках глава «Тверь» содержит, помимо 54-х строф полной оды «Вольность», существенные дополнения и варианты к окружающему ее прозаическому тексту. Таким заслуживающим особого внимания и разъясняющим данный вопрос местом является беседа Путешественника с «новомодным» Стихотворцем, выступающим здесь в роли автора оды «Вольность» и рассказывающим о ее судьбе.

Начало этой беседы в каноническом тексте 1790 года и во всех списках особого состава изложено в одних и тех же словах. Стихотворец, сочиняющий стихи ямбами и пишущий ими оды, держа в руках рукопись, с горечью говорит: «Вот остаток одной из них, все прочие сгорели в огне, да и оставшуюся та же ожидает участь, как и сосестр * ее постигшая... Я еду теперь из Москвы в Петербург — просить о издании ее в свет...»

В книге Радищева много автобиографических элементов, но автор распределил их по-разному: в одних случаях они приданы Путешественнику, в других — лицам, которых он встречает в пути.

Так, слова некоего г. Крестьянкина о крепостных, убивших своего тирана-помещика, явно напоминают самого автора, оставившего военную службу в период правительственных расправ с пугачевцами: «...я не хотел быть ни сообщником в их казни, нижé оной свидетелем; подал прошение об отставке и, получив ее, еду теперь оплакивать плачевную судьбу крестьянского состояния». А восклицание автора, относящееся к едровской «девке»: «Анюта, Анюта, ты мне голову скружила! Для чего я тебя не узнал лет 15 тому назад!» — не что иное, как упоминание о женитьбе Радищева на Анне Васильевне Рубановской, последовавшей почти за пятнадцать лет до того.

Рассказ Стихотворца о его злоключениях в Москве с написанной им одой, очевидно, отражает неудачу самого Радищева при попытке напечатать там «Путешествие» либо отдельно оду «Вольность», ибо есть основания думать, что у него такая попытка была.

Хорошо известны два свидетельства — сына московского типографа Селивановского и Павла Александровича Радищева: первый из них говорит, что отец его отказался печатать «Путешествие», «пробежав оригинал и поняв всю важность его содержания»; второй, утверждая, что московская цензура «вымарала более половины книги», даже называет цензора — Андрея Брянцева, профессора логики и метафизики при Московском университете, состоявшего одно время при университетской типографии для цензурования книг. Все это могло иметь место до покупки Радищевым печатного станка у Шнора и до разрешения петербургской Управы благочиния печатать «Путешествие»**. Очевидно, именно эта неудача с московской цензурой и заставила Радищева переработать оду «Вольность» и дать ее сокращенный вариант...

«Новомодной» Стихотворец, в сущности, объясняет Путешественнику причины, заставившие его, Стихотворца, сделать то же са-

---

* Сестер.

** Я. Л. Барсков, напротив, считает, что Радищев обратился к Селивановскому «с одобренной уже к печати рукописью». Но тогда Селивановский вряд ли бы ему отказал.

развернулъ и челъ слѣдую-
щее. Читалъ я въ слухъ
Вольность — Ода — За одно
названіе оттдавали мнѣ из-
даніе сихъ стиховъ. Но я
очень помню, что въ Наказѣ
о сочиненіи новаго Уложенія
говоря о вольности, сказано:
вольность называть должно
то, что всѣ одинаковымъ по-
винуются законамъ. Слѣд-
ственно о вольности у насъ говорить
вмѣстно. ——

„I“

О! даръ небесъ благословенный
Источникъ всѣхъ великихъ дѣлъ
О! вольность, вольность даръ безцѣнный
Позволь, чтобъ рабъ тебя воспѣлъ.
Исполни сердце твоимъ жаромъ
Въ немъ сильныхъ мышцъ твоихъ ударомъ
Во свѣтъ рабства тьму претвори
Да Брутъ и Телль еще проснутся
Сѣдяй во власти да смятутся
Отъ гласа твоего Цари.

Текст на 156-м листе цензурной рукописи путешествия» и дополнения к этому тексту в списках Б, В и Г.

Читалъ я вслухъ вольность — Ода — За одно названіе отказали мнѣ изданіе сихъ стиховъ но я очень помню, что въ наказе, О сочиненіи новаго уложенья говорится о вольности, и сказано; вольностію называть должно то, что всѣ одинаковымъ повинуются законамъ — слѣдовательно о вольности у насъ говорить вмѣстно — Сію строфу обвиняли для двухъ причинъ, за стихъ во свѣтъ рабства тьму претвори — онъ очень тугъ и труденъ на изреченіе ради частаго повторенія буквы, т. и ради соитія частаго согласныхъ буквъ; бства тьму претв. на десять согласныхъ, а на россійскомъ языкѣ, толико же можно писать сладостно, какъ и на Латинскомъ — Согласенъ. . хотя иные почитали стихъ сей удачнымъ, находя въ негладкости стиха изобразительное выраженіе трудности самаго дѣйствія — Но вотъ другой ? да смятутся отъ гласа твоего цари. желать смятенія царю, есть тоже, что желать ему зла. чудо — но продолжайте безпрепятственно, я нехочу васъ наскучить всеми примѣчаніями на стихи мои сдѣланными, многія признаюсь изъ нихъ справедливы — Строфы 3. 4 6. 7. 10. 11 13 14. 15. 16 17. 18 19. 20. 2 23. 24. 25. 30 31 32. 35 38. 39. 40. 41. 42. прочитавъ я ему

Читалъ я вслухъ. Вольность ода. —
За одно названіе отказали мнѣ изданіе
сихъ стиховъ. Но я очень помню, что
въ наказѣ о сочиненіи новаго уложенія,
говорится о вольности, и сказано:
вольностью называть должно то, что
всѣ одинакимъ повинуются законамъ. —
— — Слѣдовательно о вольности у насъ
говорить вмѣстно. — — — Сію строфу
обвиняли для двухъ причинъ: за стихъ,
Во свѣтъ рабства тьму претвори: —
онъ очень тупъ и труденъ на изреченіе
ради частаго повторенія буквы т.
и ради сошествія частаго согласныхъ буквъ
бства, тьму прета на десять
согласныхъ три гласныхъ, а на Россійскомъ
языкѣ, толико же можно писать сладостно,
какъ и на латинскомъ. — — — Согласенъ.
— — — хотя иные почитали стихъ сей
удачнымъ, находя въ негладкости стиха
изобразительное выраженіе трудности
самаго дѣйствія — — — но вотъ другой.
Да смятутся отъ гласа твоего цари.
желать смятенія царю, есть тоже, что
желать ему зла. Чудо — — — но продолжаю

Читалъ я въ слухъ вольность — Ода —
Сходно названію отказали мнѣ въ изданіи сихъ
Стиховъ. Но я очень помню, что въ Наказѣ
о сочиненіи новаго уложенія говорится о вольности,
и сказано: вольность называть должно то, что всѣ
одинаковымъ повинуются законамъ — слѣдователь=
но о вольности говорить у насъ умѣстно. — Сію
Строфу обвинили для двухъ причинъ, за стихъ,
во свѣтъ рабства тьму претвори — онъ очень
тугъ и затрудненъ въ изреченіи ради частаго пов=
торенія буквы Т и ради стеченія частаго согла=
сныхъ буквъ, бства тьму претв на десять согласныхъ
три гласныхъ, а на россійскомъ языкѣ толикожъ
можно писать сладостно какъ и на италіянскомъ
— Согласенъ:..... Хотя иные почитали стихъ
сей удачнымъ находя въ негладкости стиха, из=
образительное выраженіе трудности самаго дѣйст=
вія. — но вотъ другой, да смятутся отъ гласа
твоего Царя — въ гласѣ сіянія Царь есть тоже
что дѣлать ему зла его — Но продолжайте без=
пристрастно, а не хочу вамъ наскучить всѣми
примѣчаніями на стихи мои сдѣланными. многія
признаюсь изъ нихъ справедливы. — Строфы. 3.
4. 6. 7. 10 и 13. 14. 15. 16. 17 18. 19. 20. 22. 23. 24. 25.
30. 31. 32 35. 38. 39. 40. 41 42. прочитавъ я ему ска=
залъ, если вы государь мой ни слыхали другихъ
Ѣдете въ Петербургѣ, какъ дали изтребовать доз=
воленія на напечатаніе вашихъ стиховъ, то
возвратитеся въ покоѣ домой, и подщитесь и=
справить ихъ отъ двухъ погрѣшностей; отъ неяс=
ности выраженій и значитъ вамъ можно отъ-

мое, что сделал Радищев, то есть сократить свою оду. После этого он передает собеседнику рукопись и просит: если «не в тягость будет, прочесть некоторые строфы». Путешественник, согласившись, приступает к чтению: «Я ее развернул и читал следующее: Вольность... Ода...» Но Стихотворец перебивает: «За одно название отказали мне издание сих стихов». Затем он сам читает вслух первую строфу оды, сопровождая свое чтение рассказом о том, какой критике подверглась эта строфа в цензуре, и внезапно обрывает себя: «Но я не хочу вам наскучить всеми примечаниями, на стихи мои сделанными. Многие, признаюсь, из них были справедливы. Позвольте, чтобы я вашим был чтецом».

Далее следуют 49 строф «Вольности»: 14 — полностью и 36 — в пересказе. Так — в первом издании «Путешествия» 1790 года.

И совершенно иную редакцию этого места находим мы в списках Б, В и Г.

Там после слов Стихотворца, вручающего рукопись Путешественнику с просьбой прочесть некоторые строфы оды, даны слова последнего: «Я ее развернул и читал следующее». Но Стихотворец больше его не перебивает. И далее идет полный, ничем не прерываемый текст «Вольности» с 1-й по 54-ю строфу.

Непосредственно за последней строфой оды, прочитанной Путешественником, следует знакомый нам и лишь слегка измененный текст: «Читал я вслух*: Вольность... Ода...» На этот раз Стихотворец снова перебивает собеседника: «За одно название отказали мне издание сих стихов...» и т. д. Что же мы видим? Путешественник, только что закончивший чтение полного текста оды, почему-то собирается читать ее снова, а Стихотворец, предваривший собственное чтение жалобами и рассуждениями, теперь, когда ода уже прочитана другим, считает нужным их повторить.

Не порочный ли это круг, из которого нельзя вырваться? И каково его назначение?.. Нет, впечатление это кажущееся; в действительности автор через «подставное лицо» — Стихотворца — попросту предлагает читателю другой вариант «Вольности» вслед за прочитанным. И у него есть на то свои основания и свой расчет.

За словами Стихотворца, известными по первому изданию и лишь несколько варьированными и дополненными: «Но продолжайте беспрепятственно**, я не хочу вам наскучить всеми примечаниями, на стихи мои сделанными; многие, признаюсь, из них справедливы», — следуют слова Путешественника, его рассказ:

---

* Эти три слова имеются в цензурной рукописи, но они зачеркнуты автором.

** Разрядкой выделен новый текст «Путешествия», дополняющий печатный 1790 года. Дополнения прозаические, сопровождающие в списках особого состава оду «Вольность» и поэму «Творение мира», будут даны в соответствующих местах.

«Строфы 3. 4. 6. 7. 10. 11. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 22. 23. 24. 25. 30. 31. 32. 35. 38. 39. 40. 41. 42 прочитав, я ему сказал: — Если вы, государь мой, ни за чем другим едете в Петербург, как дабы истребовать дозволение на напечатание ваших стихов, то возвратитесь в покое домой и потщитесь исправить их от двух погрешностей: от нелепости выражений и, сказать вам могут, от нелепости мыслей.— Он, поглядев на меня с презрением: — Прочтите сию бумагу и скажите мне, не посадят ли и за нее... Читайте: сие долженствовало быть для великого поста, некоторым случаем недокончано. Да будет оно пример, как можно писать не одними ямбами... Развернув, прочел следующее:

Творение мира».

Начало этой поэмы прерывается несколькими строками прозы, а конец имеет послесловие также из нескольких прозаических строк.

Но эти куски нового текста (поэма «Творение мира» и ее прозаическое окружение) настолько значительны по скрытому в них смыслу, что подробный разбор их содержания придется дать позже, в особой главе. Пока же займемся только отдельными их элементами — и прежде всего загадочным рядом чисел, напоминающим цифровой шифр.

Первое, что бросается в глаза,— это почти полное совпадение данного цифрового ряда с нумерацией строф оды «Вольность» в цензурной рукописи *, исключение составляют лишь строфа 1-я, как от-

* Г. П. Макогоненко в своей работе «Радищев и его время» (стр. 400—401) обратил внимание на это совпадение, но не смог сделать из него правильный вывод, продолжая ошибочно думать, что списки «Путешествия» полного состава — ранняя редакция, а печатный текст 1790 года — окончательный вариант.

Утверждая там же (стр. 411), что списки Б и В не имеют научной ценности, Г. П. Макогоненко называет единственно авторитетным текст оды «Вольность» по списку Павла Радищева, якобы не имеющему отношения к «лонгиновскому», хотя доказать это невозможно; напротив, имеется слишком много данных за то, что П. А. Радищев, получив от Лонгинова список, этот текст списал.

По мнению Г. П. Макогоненко, из-за отсутствия двух стихов в списке Б «немыслимо воспроизведение «Вольности» (там же, страница та же); но при этом утверждении умалчивается, что наряду с отсутствием в этом списке двух строк оды в нем дано 268 ее новых строк.

Окончательным и наиболее совершенным Г. П. Макогоненко объявляет искаженный купюрами печатный текст «Путешествия» 1790 года, забывая, что «Вольность» представлена в нем всего лишь 14 полными строфами (остальные 36 даны в пересказе), а также умалчивая о том, что в списках особого состава, помимо полного текста оды, имеются еще поэма «Творение мира» и дополнительный прозаический текст.

Другими словами: если бы не списки Б, В и Г, мы бы вообще ничего не узнали ни о полной оде «Вольность», ни о поэме «Творение мира», ни о важнейших прозаических дополнениях к печатному тексту 1790 года, ни о тайной творческой истории «Путешествия из Петербурга в Москву».

деленная от последующих прозаическим текстом, и 23-я, относительно которой автор, видимо, колебался и то выбрасывал ее, то вставлял *.

В загадочном цифровом ряду последней строфой является 42-я. Это, скорее всего, означает, что ряд строф, обрывающихся в цензурной рукописи на строфе 24-й, продолжался на следующих подмененных и затем также вырванных листах, заканчиваясь строфой 42-й. Должно быть, у Радищева сначала было намерение продолжить эту умеренно сокращенную редакцию до конца оды, но близость неминуемого ареста заставила его не только отложить это намерение, но даже уничтожить подмененные листы со строфами 25-й — 42-й.

Что же означает в списках особого состава наличие этого ряда чисел? Зачем понадобилось автору вводить цифровую схему сокращенной оды, когда перед этим он дал ее полный текст?

Да потому, что Стихотворец (в данном случае) предлагает Путешественнику прочесть оду «Вольность», побывавшую в цензуре. И это не случайно: ведь если бы оду читал вслух Стихотворец, Путешественнику остались бы неизвестны номера строф.

А их-то и нужно было перечислить Радищеву, ибо его изощренный ум придумал прием небывало смелый и тонкий: он ввел в текст «Путешествия» вариант беседы Стихотворца с Путешественником, играющий роль комментария к творческой истории оды «Вольность», и поместил его после того, как она была приведена целиком.

Этим условным приемом Радищев отразил основной этап многострадальной истории своей оды.

Он намеренно ввел в текст «Путешествия» явно ненужные повторения, наглядно показав, что данный вариант — позднейший, ибо в раннем, доцензурном варианте автор никак не смог бы точно определить все те строфы, которые лишь впоследствии ему пришлось исключить.

Прозаический текст, окружающий оду «Вольность» в списках особого состава, смонтирован настолько своеобразно по сравнению с текстом первого издания «Путешествия», что никто, кроме автора, этого сделать не мог.

Но редакция этих мест, видимо, производилась Радищевым в условиях крайней спешки, так как в сопровождающем оду прозаическом тексте полных списков кое-где заметны неувязки и монтажные «швы».

---

* Именно эта строфа, где автор с похвалой говорит о Кромвеле как о виновнике казни английского короля Карла, привлекла особое внимание Екатерины II.

Так, например, Стихотворец в начале беседы просит Путешественника прочесть некоторые, то есть уцелевшие от огня, строфы оды, а вручает ему для чтения полный ее текст. Надо думать, что фраза о «некоторых» строфах не на месте, ибо ей следует находиться гораздо дальше — там, где речь идет о сокращенном варианте оды и где дан цифровой ряд, обозначающий номера строф.

Кроме того, в списках Б, В и Г первая строфа не отделена от поэтического текста прозой, как в издании 1790 года, а дана вместе со всей одой; поэтому становится неясной фраза Стихотворца: «Сию строфу (какую? — *Г. Ш.*) обвинили для двух причин...»

Как уже говорилось, в списках особого состава есть вариант, оставшийся не отмеченным исследователями: в первом издании Стихотворец, имея в виду свою изрезанную цензурой оду и признавая ее опасность для крепостнического строя и самодержавного правления, говорит, что многие замечания, сделанные на его стихи, «были справедливы»; здесь употреблено слово «были», так как первоначальный текст оды для издания был сокращен. Но в списках Б, В и Г автор выражается иначе. «Многие, признаюсь, из них,— говорит он о замечаниях на свои стихи,— справедливы»; тут уже слово «были» опущено, потому что текст оды восстановлен во всей ее полноте.

Но самым важным в этой беседе для дальнейшего исследования является презрительная реплика Стихотворца, дающего Путешественнику после оды «Вольность» другую свою рукопись со словами: «Прочтите сию бумагу и скажите мне, не посадят ли и за нее...»*.

Во всех трех списках — Б, В и Г — Путешественник, ознакомившись с одой, обращается к Стихотворцу с практическим советом: «...если вы, государь мой,— наставительно говорит он,— ни за чем другим едете в Петербург, как дабы истребовать дозволение на напечатание ваших стихов, то возвратитесь в покое домой и потщитесь исправить их от двух погрешностей: от нелепости выражений и, сказать вам могут, от нелепости мыслей» [35].

Ни о каком лишении Стихотворца свободы за попытку напечатать оду «Вольность» речи здесь нет.

Между тем Стихотворец, поглядев на собеседника с презрением, вручает ему другую свою рукопись и произносит: «Прочтите сию бумагу и скажите мне, не посадят ли и за нее...» [36]

Чем же вызвана эта реплика? Ведь она не может служить ответом на мягкое и по форме и по содержанию наставление Путешественника, вовсе не предрекавшего Стихотворцу арест за его вольнолюбивые стихи.

---

* Заслуживает внимания, что после этих слов во всех трех списках особого состава стоит настораживающее многоточие: в списке Б — четыре точки, в списке В — три и в списке Г — семь.

Здесь Стихотворец явно выдает автора «Путешествия».

В этом месте тайна Радищева сама давалась в руки исследователям, но они отвернулись от нее, словно боясь заглянуть ей в лицо.

И все тот же Семенников, имеющий большие заслуги как первый публикатор дополнений «лонгиновского» списка и автор ценных статей о Радищеве, анализируя эту фразу, ограничился пояснением: автор-де «Путешествия» «в легкой, шуточной(!) форме» выразил здесь, что ему грозит арест [37].

Между тем тут сказано ясно: «не посадят ли и за нее...» — то есть и за новую поэму. Но ведь так мог сказать только автор, уже сидевший в крепости за оду «Вольность» и за все свое «Путешествие» в целом,— следовательно, мог сказать лишь спустя какое-то время после разразившейся над ним катастрофы.

Что же касается поэмы «Творение мира» и ее прозаических окрестностей, то они, как увидим дальше, вообще не могли быть написаны ранее, чем в 1799 году.

Здесь нельзя не вспомнить, что идею продолжения «Путешествия», высказанную в конце этой книги, необычным образом отметил Пушкин. В своей в высшей степени осторожной статье, известной под названием «Путешествие из Москвы в Петербург», поэт, начав книгу Радищева с конца и прочитав последние ее строки, вполне утвердительно говорит о нем: «...на возвратном пути он примется опять за свои горькие полуистины, за свои дерзкие мечтания...» [38]

Слишком многое убеждает в том, что печатный текст 1790 года был автором гораздо позже дополнен.

Заметим еще раз, что в ранних списках «Путешествия» никаких дополнений к тексту первого издания нет.



1

Он родился в 1732 году, в местечке Рорау, недалеко от Вены; мать его была стряпухой в замке владельца деревни, отец — каретником и одновременно приходским пономарем.

Сын каретника Иозеф Гайдн вырос в общении с природой, впитав в себя прямоту и наивность сельских нравов, и остался таким же в глубокой старости, уже будучи славнейшим композитором Европы, «властителем ее музыкальных дум».

Сочиненные им квартеты и симфонии принесли ему такую известность, что когда он в конце столетия появился в Лондоне, королева повелела отвести ему апартаменты в Виндзорском дворце. Жители английской столицы устраивали овации этому провинциально-невзрачной внешности человеку, длинноносому и худому, с рябым от оспы лицом, отвисшей нижней губою и париком, надвинутым почти на глаза.

Слава Гайдна распространилась по всему свету после первых же исполнений его «Сотворения мира», созданного им в 1798 году.

Этот музыкальный опус был ораторией, то есть произведением на сюжет из «священной истории», написанным для концертно-сольного и хорового пения, сопровождаемого оркестром. История его такова.

В свое время английский композитор Линлей написал ораторию «Сотворение мира», оттолкнувшись от космогонических мотивов в седьмой песне «Потерянного Рая» Мильтона и сделав из них стихотворный вариант. В конце XVIII века директор королевской библиотеки в Вене, друг Гайдна, Готфрид Ван-Свитен, перевел для него этот вариант оратории, прибавив к ней хоры, арии и дуэты и переработав весь текст.

Либретто Ван-Свитена излагало библейский рассказ о «шести днях творения», уложенный в три части: небо и земля; зарождение на земле жизни; человек.

Гайдн создал музыку.

Медленное оркестровое вступление изображало хаос, из которого должна родиться вселенная. Затем, подготовленный постепенным замиранием звуков, следовал «взрыв всего оркестра»— яркий луч света впервые прорезàл тьму.

Речитативы, арии и хоры начинали эпическую повесть о рождении из мирового океана Земли и о возникновении на ней природы: волновались моря, тяжело вздымались к небу горы, звонкие ручьи бежали по зеленому лону долин.

Оркестр наивно звукоподражал разнообразным формам только что сотворенной жизни: простодушный композитор сотворил идиллию мироздания — щебет птиц, рычание льва, воркование голубков.

В последней части оратории ясное утро мира встречало первых людей на земле. «Мужественный человек, царь природы» Адам, обращаясь к первой женщине во вселенной — Еве, начинал дуэт, в который неожиданно вплеталась интонация... «Марсельезы» [1]. Помимо желания автора его музыка отражала революционную эпоху, и «Сотворение мира», первая часть которого заканчивалась фразой: «И новый мир встает»,— оказалось неизмеримо больше своего творца.

Для многих и многих эта оратория о рождении нового мира, прозвучавшая в конце XVIII века, была залогом великих перемен в жизни, осуществления надежд человечества, возлагаемых на XIX век.

Сам Гайдн не был затронут идейными бурями своего времени. Равнодушный к социальной борьбе, ограниченный своим кротким религиозным мировоззрением, он лишь предощущал будущее. Явственно же

услышал его Бетховен, ученик Гайдна, воплотивший в своей «Девятой симфонии» пламенную мечту о всеобщем братстве людей.

Музыка «Сотворения мира», написанная на безнадежно устаревшую тему, несмотря на это, покоряла умы и сердца современников.

Маркс в своей знаменитой статье «Восемнадцатое брюмера Луи Бонапарта», объясняя подобные явления в истории, писал: «...Как раз тогда, когда люди как будто только тем и заняты, что переделывают себя и окружающее и создают нечто еще небывалое,— как раз в такие эпохи революционных кризисов они боязливо прибегают к заклинаниям, вызывая к себе на помощь духов прошлого, заимствуя у них имена, боевые лозунги, костюмы, чтобы в этом освященном древностью наряде, на этом заимствованном языке разыгрывать новую сцену всемирной истории. Так, Лютер переодевался апостолом Павлом, революция 1789—1814 гг. драпировалась поочередно то в костюм римской республики, то в костюм римской империи, а революция 1848 г. не нашла ничего лучшего, как пародировать то 1789 год, то революционные традиции 1793—1795 годов...»

И далее — уже непосредственно об эпохе Мильтона, с именем которого связано в своей основе «Сотворение мира»: «...Кромвель и английский народ воспользовались для своей буржуазной революции языком, страстями и иллюзиями, заимствованными из Ветхого завета» [2].

Повинуясь велению времени, по стопам Лютера, Кромвеля и Мильтона пошел в этой своей оратории и Гайдн...

Очевидно, в силу той же традиции с самого конца XVIII столетия и до начала второй половины XIX-го «Сотворение мира» — в разной степени, но достаточно властно — привлекало к себе передовых русских людей.

«О, вы, в исступление приводящие душу, Глюк, Паизелло*, Моцарт, Гайден!..»— писал Радищев.

П. А. Каратыгин говорит о Грибоедове, что «Моцарт, Бетховен, Гайдн и Вебер были его любимые композиторы».

В бумагах Пушкина остался поэтический набросок, напоминающий космогонические картины Библии и относящийся к середине 30-х годов. Можно думать, что интерес к этой теме был навеян Пушкину Гайдном: поэт часто посещал концерты, а «Сотворение мира» исполнялось в Москве и Петербурге с 1801-го по 1825 год шестнадцать раз.

М. В. Петрашевский в своем замечательном «Карманном словаре иностранных слов» (составленном якобы Н. С. Кирилловым) утверждает, что из композиторов «всех выше, как по творчеству, так и по глубине мысли, Гайдн».

---

* Паэзиэлло Джованни — итальянский композитор XVIII века.

Но восприятия и оценки были разными.

Так, Герцен, прослушав «Сотворение мира» в Бернском соборе, остался равнодушным. «Публика шла из собора,— рассказывал он потом,— как идут от обедни; не знаю, насколько было благочестия, но увлечения не было. Я то же испытал на самом себе»[3].

Огарев же, считавший либретто «Сотворения» «отвратительным», а музыку не во всем удачной, сам намеревался написать «новое мироздание», так как тема эта философски привлекала его[4].

19 марта 1798 года «Сотворение» Гайдна было впервые исполнено в Вене. Партитура оратории вышла из печати там же, в 1800 году.

Первые исполнения в России имели место: в декабре 1800 года — в Петербурге и в феврале 1801-го — в большом зале Петровского театра в Москве.

Пути проникновения этой оратории в Россию были так же многочисленны и разнообразны, как и связи ее автора с русскими людьми.

Вице-канцлер В. П. Кочубей, находясь в Вене, запросто пересылал через Гайдна письма русскому послу в Лондоне С. Р. Воронцову[5].

А. К. Разумовский, русский министр-резидент в Вене, большой любитель музыки, высоко ценил Гайдна и был хорошо с ним знаком.

В марте 1800 года Гайдн, по случаю дня рождения эрцгерцога венгерского Иосифа, дирижировал в его резиденции оркестром, исполнявшим «Сотворение мира». Супругой эрцгерцога была великая княгиня Александра Павловна, дочь Павла I, а состоявший при ней духовником протоиерей А. А. Самборский переписывался с Полторацкими, совладельцами села Авчурина под Калугой; коренным владельцем этого села являлся шурин С. Д. Полторацкого, Николай Петрович Хлебников,— тот самый, что купил у книгопродавца Зотова «Путешествие» Радищева в 1790 году.

В изданной Гайдном партитуре («Die Schoepfung», Vienna, 1800), был помещен список лиц, подписавшихся на это издание: среди них — двенадцать русских фамилий, в том числе Н. П. Хлебников и дед будущей жены Пушкина, Афанасий Николаевич Гончаров.

Находясь в Вене и, видимо, получив по подписке партитуру «Сотворения мира», А. Н. Гончаров (скорее всего, в том же году, летом) привез ее в свою калужскую усадьбу Полотняный Завод.

От Немцова до этой усадьбы было не более сорока верст проселком, и Радищев, состоявший, по его словам, в родстве с Гончаровыми[6], вполне мог услышать у них ораторию Гайдна, которую исполнял бы гончаровский ансамбль крепостных.

Так нити от творения Гайдна тянулись из-за границы в Россию, и, в частности, в Радищевскую волость, Боровского уезда, Калужской губернии, где коротал дни своей второй ссылки автор «Путешествия из Петербурга в Москву».

2

Радищев так и расценивал свое проживание в Немцове как вторую ссылку. Подарив одному из своих соседей, И. Г. Самарину, книгу «Феатр чрезвычайных происшествий», он сделал на ней надпись: «Истинному товарищу моего изгнания»[7]. Поездка всего за 150 верст, к другу юности Янову, была уже для Радищева невозможна: Янов жил «слишком далеко» для него.

Крестьянскими волнениями встретили родные места возвратившегося из Сибири писателя: вспыхнув в 1797 году в разных местах России, они охватили и Калужскую губернию — уезды Медынский, Лихвинский, Перемышльский и ряд других.

В сентябре 1797 года крестьяне деревни Кабицыной, Боровского уезда, не допустили помощника землемера и земского исправника производить межевание (то есть плутовским манером отреза́ть у них землю) и дубьем согнали их с межи[8]. Калужский вице-губернатор Митусов донес Павлу I, что вынужден был отправиться туда лично, вытребовав «от г-на шефа и кавалера квартирующего в губернии гусарского полка» Линденера команду солдат.

«Г-н шеф и кавалер» Линденер был тем кавалерийским генералом, которому годом позже предстояло стать следователем по делу смоленского подпольного кружка.

В самом начале 1797 года он участвовал в усмирении крестьян села Брасова (в Севском уезде, Орловской губернии), причем гусары его были обращены восставшими крестьянами в бегство, а ему самому «досталось поленом по спине».

Вскоре после этого гусарский полк Линденера был расквартирован в Калужской губернии, а в самой Калуге расположился его штаб.

Линденеровские эскадроны выполняли роль карательных отрядов; некоторые же гусарские офицеры вели наблюдение за особо подозрительными людьми.

«Однажды вечером,— писал Радищев в ноябре 1797 года А. Р. Воронцову,— когда мы с детьми сидели у чайного стола, вошли ко мне два человека военного вида. Сперва я подумал, что это гусары, ч а с т о о к а з ы в а в ш и е м н е ч е с т ь с в о и м п о с е щ е н и е м (разрядка моя.— *Г. Ш.*); однако, мне о них не доложили. Вообразите себе, каковы были мое удивление и моя радость! Я еще не успел опомниться, как уже был в их объятиях. Это были мои дети, приехавшие повидать меня после семилетнего отсутствия»[9].

Сыновья Радищева, Василий и Николай, направлявшиеся к месту своей службы, в Киев, заехали по дороге в Немцово и провели там пятнадцать дней.

Это была нечаянная радость, ненадолго скрасившая тягостные нем-

цовские будни, гнет одиночества, почти полное отсутствие поблизости «истинных товарищей» и друзей.

Его немцовская переписка не была обширной,— да она и не могла быть иною, так как он хорошо знал, что за ним следят.

Из лиц, близких к Радищеву, переписывались с ним только Александр Андреевич Ушаков, «единоутробный» брат жены писателя, Анны Васильевны Рубановской; но о его характере и общественных взглядах ничего определенного сказать нельзя. Известно лишь, что А. А. Ушаков (тверской вице-губернатор с 1801 года) и его жена, Варвара Петровна, по-родственному относились к Радищеву; но вряд ли у них были какие-либо общие интересы, тем более что супруга А. А. Ушакова, видимо, была женщиной вздорной, мелко тщеславной и грубой, судя по одному характеризующему ее письму.

Автор этого письма, чиновник из Петрозаводска, писал о Варваре Петровне, что она, находясь в этом городе в церкви, во время пасхальной заутрени, «прибила куличем и зажгла свечею штаб-лекаршу» за то, что та «стала несколько впереди ее»[10].

Эпизод — типичный для быта русского захолустья конца XVIII века, и Радищев, живя в своем Боровском уезде, был окружен по большей части такими же глубоко чуждыми ему людьми.

«Соседей хоть пруд пруди,— признавался он Воронцову по приезде в Немцово,— но я никого не видел... Г-н Нарышкин Алексей Васильевич с семьей: он болен, живет в восьми верстах; затем... не хочу загружать письмо ненужными именами. Гончаров, мой дальний родственник, знаменитый своей парусиной, живет в 40 верстах...»[11]

Зная «неверность» почты, то есть, что письма его читаются не только адресатом, он вкладывал в невозмутимо спокойные строки всю горечь и весь саркастический яд своего ума. «Что касается моих занятий, то я читаю мало, не пишу совсем ничего; эта мания уже давно прошла. Я видел, как убирали рожь и яровые; я видел сенокос. Я наблюдал, но я запретил себе размышления...»[12] (разрядка моя.— *Г. Ш.*).

Перлюстраторы не могли в чем-либо его заподозрить, но им было не постичь степень его осторожности, затаённую силу его духа — то, что в любую минуту он может воскликнуть: «А все-таки вертится!» — и что он все равно их проведет.

«Присмиревший во всех отношениях», он как будто не внушал опасений. Седой, изможденный, с проницающим взглядом темных печальных глаз под выгнутыми удивленно бровями, он бродил по окрестным полям и лесам или в ненастье сидел в своей крытой соломой лачуге,— «сердешный Радищев», как скажут о нем много лет спустя*.

* Так назвал автора «Путешествия из Петербурга в Москву» А. П. Щапов.

Барский каменный дом лежал в развалинах. В окно был виден сад, переставший плодоносить, убитый морозом. Дождевая вода сквозь худую крышу текла прямо на стол.

Письма получались изредка, и шли они долго, задерживаемые соглядатаями. Покоя не было: каждую минуту могли войти гусары. И Радищев, отводивший в те дни душу с Горацием, Виргилием и Овидием, мог бы как нельзя более кстати вспомнить «ссыльные» стихи последнего:

Сердце, не проси, чтобы было хорошо;
проси, чтобы было худо,
но более безопасно...

А опасность между тем надвигалась. В соседней Смоленской губернии к этому времени созрело подпольное вольнодумство среди отставных военных, местных чиновников и офицеров квартировавшего в Дорогобуже Петербургского драгунского полка.

Генерал Линденер, посланный на Смоленщину Павлом I, чтобы выкорчевать там «крамолу», начал следствие в Дорогобуже и затем продолжил свою работу в Смоленске, растянув ее на целый год.

Раздувая изо всех сил дело кружка Каховского — Ермолова и стремясь расширить круг обвиняемых, Линденер утверждал, что связи подпольщиков протянулись «между Москвою, Калугою и за оною». Очень возможно, что этой фразой он намекал и на Радищева, за которым офицеры Линденерова штаба вели надзор.

Линденеру, разумеется, очень хотелось предъявить автору «Путешествия» какое-нибудь обвинение. И еще не известно, не осуществил ли бы генерал-следователь свое намерение, если бы успел сделать у него обыск. Но он не успел.

Еще до первых арестов в Дорогобуже Радищев, получив разрешение Павла I, уехал в Саратовскую губернию для свидания с родителями и, проведя там, в селе Верхнем Аблязове, более года, возвратился в Немцово, когда дело подпольного кружка на Смоленщине было уже завершено.

Мог ли Радищев не знать о его разгроме? Вряд ли. Его близкое родство с Марьей Ивановной Грибоедовой-Розенберг, предоставившей свой дом под Дорогобужем для сборищ подпольщиков, а возможно — и для хранения черновиков радищевской книги, кроме того ряд посредствующих звеньев, связывавших автора «Путешествия» с нею, скорее говорят за то, что он о происшедшем разгроме знал.

Впрочем, он не проявил в этот период никакой заметной тревоги или же сделал вид, что его ничто не тревожит. Удивительная бодрость духа охватила Радищева как раз весной 1799 года, по возвращении его в Немцово; в письме к А. Р. Воронцову он писал: «... испытав всякого

рода усталость телесную и, если можно так выразиться, всякого рода усталость душевную, я чувствую себя легче, веселее, спокойнее и смотрю на вещи с наилучшей стороны. ...Неужто надобно подвергнуть пытке и плоть свою и дух, чтобы стать безмятежнее? Вот каким я был, вот каков я ныне. Веселее, чем больше у меня неприятностей, угрюмее, чем покойнее моя жизнь...»[13]

Как ни объяснять причину происшедшей с ним перемены, но это был перелом. Угнетенный годами ссылки, Радищев вновь распрямился и, бросив вызов действительности, ощутил прилив нравственных сил.

«Мания» сочинительства овладела им снова. Начиная с 1799 года по 1802-й — последний год его жизни, им были написаны: поэма «Бова», «Песни, петые на состязаниях...», «Песнь историческая», сатирическая статья «Памятник дактилохореическому витязю», стихотворение «Осмнадцатое столетие» и ряд других.

Это — то, что известно и что установлено. Однако кроме этих произведений им была еще написана в эти годы поэма «Творение мира», что устанавливается в данной главе.

Приведенные из письма к Воронцову строки говорят о душевном подъеме Радищева, о возвратившейся к нему весной 1799 года бодрости. Есть основание полагать, что в период с момента написания этого письма до конца года или, вернее, по начало следующего, он вернулся к работе над «Путешествием из Петербурга в Москву».

3

Из записной книжки автора

«...Поэма «Творение мира», примыкающая в списках Б, В и Г к оде «Вольность», то есть служащая ее продолжением, и текст «Сотворения мира» Гайдна настолько близки по форме и содержанию, что это обязывает их сличить.

Такое сличение никем еще произведено не было. Исследователи отмечали лишь, что «Творение мира» Радищева имеет подзаголовок «песнословие» и что слово это равнозначно понятию «оратория», в качестве же примера последней называли творения Генделя и Гайдна. Впрочем, некоторые из них мимоходом заметили, что поэма Радищева и «Сотворение» Гайдна т е м а т и ч е с к и б л и з к и...

Приступив к сличению текста этих произведений, я одновременно пытался найти точную дату выхода в свет оратории Гайдна и просматривал для этого комплекты русских и зарубежных журналов и газет.

В петербургских и московских «Ведомостях» мелькали сообщения о первых исполнениях «Сотворения». Об одном из этих московских концертов сохранилось также свидетельство И. А. Второва, отца орга-

низатора литературно-этнографического кружка в Воронеже, с чьим именем, возможно, как-то связан третий список «Путешествия» особого состава — список Г.

«...В большом круглом зале Петровского театра (ротонде),— сообщает И. А. Второв,— собрано было около трехсот лучших музыкантов и певцов, которыми дирижировали г.г. Денглер и Керцелли. Кантаты и речитативы переведены были с немецкого Н. М. Карамзиным...»*

Автор воспоминаний говорит, что видел при входе в театр и самого Карамзина, одетого в медвежью, крытую зеленым сукном шубу, и что слушателей в этот вечер было около трех тысяч человек [14].

Увлечение музыкой и пением (разумеется, в высших слоях русского общества) доходило тогда до курьезов. Рассказывали, что у графа Скавронского даже прислуга будто бы должна была разговаривать с господами речитативом. А бывший при Екатерине II посланником в Константинополе Я. И. Булгаков в письме к сыну писал: «Славные певчие Казакова, которые принадлежат нынче Бекетову, поют в церкви Димитрия Солунского в Москве. Съезд такой бывает, что весь Тверской бульвар заставлен каретами. Недавно молельщики до такого дошли бесстыдства, что в церкви кричали «фора» (т. е. браво, бис) [15].

Почти в каждом большом помещичьем доме был свой оркестр крепостных музыкантов. Таким ближайшим к Радищеву, и притом единственным, домом, куда он, не нарушая запрета, мог съездить из своего Немцова и, быть может, услышать там «Сотворение» Гайдна, был дом Гончаровых — их усадьба Полотняный Завод.

Описаний этой усадьбы имеется много, и я легко представил себе Радищева, въезжающего в своей кибитке через массивные каменные ворота, над которыми теплится, перед иконой, лампада, на покрытый зеленым дерном двор.

Барский дом — в два этажа; третий еще не достроен; для возведения его был установлен обычай: когда ткачи на парусной фабрике пошабашат, каждый обязан принести несколько кирпичей и уложить их на стенах; отсюда потом и пошла поговорка: «Палаты хороши, выстроены на бедных шабаши́».

Радищев идет по дому, созданному руками крепостных умельцев,— по комнатам с художественной лепкой потолков и карнизов, вдоль стен, обитых сафьяном и шелком, вступает в голубой зал с балконами на реку Суходрёв.

Соблазнительно было думать, что он впервые услышал здесь «Сотворение» Гайдна в исполнении крепостных музыкантов. Можно даже представить себе этот оркестр — у Гончаровых было вылепленное из воска групповое изображение этого ансамбля: музыканты в зеленых и

* Перевод этот вышел отдельным изданием в Москве в 1801 году.

коричневых кафтанах, искусно выполненных во всех деталях, включая бретельки у жилетов и белоснежные кружевца жабо.

Н. А. Гончаров возвратился из Вены в начале августа 1800 года. «В приезд господина Афанасия Николаевича в Калугу людям на харч и лошадям на корм — 3 руб<ля>»,— гласит августовская запись приказчика в приходо-расходной книге Полотняного Завода [16]. Таким образом, предположение, что Радищев у Гончаровых познакомился с «Сотворением мира» Гайдна, как будто приобретало известную убедительность. Но все могло произойти и не так.

Ведь если Н. А. Гончаров привез с собой партитуру «Сотворения» в начале августа, его крепостному оркестру нужно было не менее месяца, чтобы ее разучить. Радищев мог услышать эту ораторию в усадьбе Гончаровых не ранее начала сентября 1800 года; но если даже он просто прочел текст этого музыкального произведения в августе, все равно ему вряд ли удалось бы так быстро написать «Творение мира» и сопроводить его прозаическим текстом, если принять во внимание, что, по-видимому, в августе этого года «Путешествие» уже переписывали в Саровском монастыре.

Кроме того, оркестр в усадьбе Гончаровых был небольшой, вряд ли достаточный для исполнения оратории, а в описании усадьбы ничего не говорилось о наличии в ней хора и солистов-певцов.

Переслать же венское издание в Россию с оказией, до своего приезда, Гончарову было трудно: в то время за это не всякий бы взялся, так как 18 апреля 1800 года последовал указ, запрещающий ввозить из-за границы книги и ноты (был отменен уже при Александре, спустя год).

Ко всему этому я еще не знал, когда именно вышла в свет партитура «Сотворения мира»— до или после отъезда Гончарова из Вены. И, наконец, самое главное — у меня не было уверенности, что Гайдн не опубликовал где-нибудь отдельно либретто своей оратории, еще до того, как было закончено печатание партитуры. Эти два вопроса нужно было обязательно разрешить...

Как раз в это время на мой письменный стол попала библиографическая карточка с описанием редчайшего издания творений Гайдна, любезно предоставленная мне знатоком истории музыкального театра А. А. Ильиным.

Это была выписка из каталога № 6, напечатанного в 1938 году в Лондоне антикварным магазином Отто Гааза. Под № 497-м в каталоге значилось изданное в Париже Плейелем «Полное собрание квартетов» Гайдна, посвященное Первому Консулу Бонапарту. Это посвящение нельзя было не поставить в связь с корреспонденцией из Парижа, помещенной 18 января 1801 года в номере «Санкт-петербургских ведомостей». Корреспондент сообщал:

24 декабря* в 8 часов вечера Первый Консул, сопровождаемый конным отрядом гвардии, направлялся в карете к театру, где было назначено первое во Франции исполнение «Сотворения мира» Гайдна. В карете также находились: военный министр Бертье, генерал Лан и адъютант Лористон. На улице Сен-Никез дорога оказалась прегражденной телегой с бочкой, похожей на водовозную. Кучер на полном скаку объехал препятствие; но, едва карета миновала телегу, бочка взорвалась с такою силою, что стекла вылетели даже в Тюильрийском дворце. Первый Консул продолжал свой путь в театр и прослушал там всю ораторию, несмотря на то что весть о случившемся распространилась среди публики и наполнила тревогой зал.

В Париже — как сообщала газета — стало известно, что покушение — дело рук якобинцев. (Но это было делом рук роялистов; оно позволило Бонапарту расправиться с якобинцами. Взрыв был произведен с помощью часового механизма, и термин «адская машина» с этого дня вошел в обиход.)

Глубочайший политический и общественный смысл скрывался в описанном корреспондентом событии: новый век встретил Бонапарта «якобинскою» бомбой, а десять минут спустя своды парижского театра сотрясла инструментальная мощь «Сотворения мира», исполнявшегося для Первого Консула, но звучащего во имя светлого будущего свободных народов. Ибо творение было больше своего творца...»

* * *

«...Мои попытки найти ответ на два занимавших меня вопроса оставались безуспешными, пока я не приступил к просмотру издававшейся в Лейпциге «Всеобщей Музыкальной газеты» («Allgemeine Musikalische Zeitung») за 1800 год.

В ряде номеров этой газеты за первую половину года объявлялось о предстоящем выходе из печати «Сотворения» Гайдна, а в № 25, от 19 марта, на столбце 441, было сказано, что «полная партитура «Сотворения» ныне уже награвирована, но ввиду ее большого объема не может так быстро быть напечатана, как того хотят любители и знатоки музыки». Одновременно с этим удалось найти более определенное указание в журнале «Русский архив»: один из отечественных меломанов — М. П. Долгоруков — в письме своем из Парижа к сестре, Е. П. Толстой, написанном в самом конце 1800 года, прямо указывал на выход из печати «Сотворения» Гайдна в первой половине декабря [17].

Следовательно, А. Н. Гончаров не мог привезти с собою партитуру из Вены и, видимо, получил ее каким-то другим способом. Оставалось

---

* 1800 года.

еще проверить: не напечатал ли Гайдн ранее, до выхода партитуры, либретто своей оратории или хотя бы его часть?

Я взял ту же лейпцигскую «Музыкальную газету» за 1799 год, стал ее просматривать и обнаружил, что в приложении № VII к № 18 этой газеты (на стр. XXI—XXIV) дан полный текст либретто «Сотворения мира» (без нот).

Таким образом, выяснилось, что, начиная приблизительно с середины февраля 1799 года, у Радищева была возможность ознакомиться с печатным текстом этой оратории путем просмотра лейпцигской «Всеобщей музыкальной газеты».

Но ему могла встретиться и проникшая в Россию рукописная партитура «Сотворения», ходившая тогда по рукам [18]...»

4

В первопечатном тексте «Путешествия» 1790 года вслед за окончанием оды «Вольность» идет лаконичная реплика Стихотворца: «Вот и конец...»[19]

За нею следует замыкающее главу «Тверь» краткое ироническое послесловие «Путешественника»:

«Я очень тому порадовался и хотел было ему сказать, может быть, неприятное на стихи его возражение, но колокольчик возвестил мне, что в дороге складнее поспешать на почтовых клячах, нежели карабкаться на пегаса, когда он с норовом».

В списках особого состава вслед за ознакомлением Путешественника с одой Стихотворца идет другой текст. Для пользы дела приведем эти уже цитированные ранее строки вторично и добавим к ним несколько последующих строк:

«...Я ему сказал: если вы, государь мой, ни за чем другим едете в Петербург, как дабы истребовать дозволение на напечатание ваших стихов, то возвратитесь в покое домой и потщитесь исправить их от двух погрешностей: от нелепости выражений и, сказать вам могут, от нелепости мыслей. Он, поглядев на меня с презрением: «Прочтите сию бумагу и скажите мне, не посадят ли и за нее... Читайте: сие долженствовало быть для великого поста, некоторым случаем не докончано. Да будет оно пример, как можно писать не одними ямбами.

Развернув, прочел следующее:

ТВОРЕНИЕ МИРА

Песнословие

Хор

Тако предвечная мысль, осеняясь собою и проч...» [20]

В приведенном отрывке столько неясностей и намеков, что пройти мимо них невозможно.

Однако будет правильнее приступить к их расшифровке, предварительно уяснив идею этой поэмы, названной «песнословием», ее социальный и политический смысл.

Прежде всего нет сомнения, что она является прямым продолжением оды «Вольность», точнее — расширенным вариантом ее последней (54-й) строфы.

Нет сомнения также и в том, что эта последняя строфа полного текста оды дает аллегорическую картину сотворения вселенной, под которой следует разуметь новый социальный мир:

Мне слышится уж глас природы,
Начальный глас, глас божества.
Трясутся вечна мрака своды,
Се миг рожденья вещества.

А в соответствующей этой 54-й строфе — строфе 50-й первого издания (в прозаическом ее пересказе) читаем:

...Мрачная твердь* позыбнулась** и вольность воссияла.

Оказывается, социально-политический план последней (54-й) строфы оды «Вольность» легко подменяется у Радищева планом космогоническим и «вольность» зашифровывается «веществом».

Предполагать, что процесс этот протекал в обратном порядке и Радищев сначала предпочел «вещество», а затем подменил его «вольностью», было бы неосновательно, так как с «веществом» — основой мироздания — тесно связана поэма «Творение мира», которая (как увидим дальше) ранее 1799 года создана быть не могла.

Заключительные строки строфы 54-й почти все (кроме одной) развивают ту же библейскую тему «дней творения»:

Се медленно и в стройном чине
Грядет Зиждитель наедине.
Рекл... яркий свет пустил свой луч,
И ложный плена скиптр поправши,
Сгущенную мглу разогнавши,
Блестящий день родил из туч.

С богословской точки зрения все было благопристойно в этой последней строфе оды. Исключением являлась только строка восьмая: «И ложный плена скиптр поправши», сохраняющая присущий всей оде тираноборческий смысл.

И уже в чисто библейском, традиционно-легендарном, космогоническом плане следует далее «Творение мира». Как и в оратории Гайдна,

---

* Твердь — здесь — небесная твердь, небесный свод.
** Позыбнулась — потряслась, пошатнулась.

в этой поэме выступают: господь бог, зиждитель вселенной, и славословящий его хор.

...Яркий луч света прорезает тьму космической ночи, и в мрачной пучине хаоса возникает безмерный клуб бытия.

Приоткрывается грядущее. Перед заливающим хаос светом отступает тьма, препятствующая рождению вселенной.

Берут свое начало пространство, время, вещество и движение.

И появляется царь природы — Человек...

Таково, в сущности, содержание обоих произведений — гайдновского «Сотворения» и «Творения мира» Радищева. Но если первое из них не имело никакого подтекста и выражало надежду человечества на лучшее будущее независимо от воли и замысла композитора, то во втором главную роль играл именно подтекст.

Конечная победа Разума над рабством и тиранией — так следовало понимать этот подтекст — предопределена начальным актом творения. «Человек,— утверждал Радищев еще в одном из ранних своих сочинений, «Опыте о законодавстве»,— происходя на свет, есть равен во всем другому». Иначе говоря — свободен, ибо таков естественный закон.

Мысль о неминуемом торжестве вольности была зашифрована в этой поэме образами Библии.

В этом легко убедиться, сравнив «Творение мира» Радищева с его же стихотворением «Осмнадцатое столетие»: аполитичная библейская тема поэмы обретает в этом стихотворении новое качество — из ее условных, архаических образов рождается мир злободневных идей:

Нет, ты не будешь забвенно, столетье безумно и мудро,
Будешь проклято вовек, ввек удивлением всех...

Оценку протекшего века Радищев начинает с образа космогонического и тотчас же переходит к конкретной исторической действительности, современником которой был он сам:

Из Океана возникли новы народы и земли,—

возникли, рожденные заново революцией, просветительством и творческим духом свободы, «зиждительным, как сам есть бог».

Обращаясь к «столетью безумну и мудру», автор говорит с восхищением и печалью:

Ты исчисляешь светила, как пастырь играющих агнцов;
Нитью вождения вспять ты призываешь комет;
Луч рассечен тобой света; ты новые солнца воззвало;
Новы[е] луны из тьмы дальной воззвало пред нас;
Ты побудило упряму природу к рожденью чад новых;
Даже летучи пары ты заключило в ярём;
Молнью небесну сманило во узы железны на землю;
И на воздушных крылах смертных на небо взнесло.

Мужественно сокрушило железны ты двери призра́ков,
Идолов свергло к земле, что мир на земле почитал.
Узы прервало, что дух наш тягчили, да к истинам новым
Молньей крылатой парит, глубже и глубже стремясь.
Мощно, велико ты было, столетье! Дух веков прежних
Пал пред твоим алтарем ниц и безмолвен, дивясь,
Но твоих сил недостало к изгнанию всех духов ада,
Брыжжущих пламенный яд чрез многотысящной век,
Их недостало на бешенство, ярость, железной ногою
Что подавляют цветы счастья и мудрости в нас.
Кровью на жертвеннике еще хищности смертны багрятся,
И человек претворен в люта тигра еще...

Если «Творение мира» в иносказательной форме рисовало картину счастливого, но пока еще туманного будущего, то стихотворение «Осмнадцатое столетие» являлось итоговым, оценивающим протекший век.

При сличении же «Сотворения» Гайдна с «Творением мира» и «Осмнадцатым столетием» Радищева оказывается, что автор «Путешествия» в обоих этих произведениях чрезвычайно близок к «Сотворению» Гайдна, а в ряде случаев прямо заимствует из него текст.

Приведем параллельно выдержки для сравнения:

Гайдн — Ван-Свитен

«СОТВОРЕНИЕ МИРА»

И вот исчезают перед лучом священным
Черной тьмы призрачные тени:
Настал первый день.
Хаос отступает, рождается порядок.
Оцепенев, спасается бегством сонм духов ада
В глубины бездны,
В кромешную тьму.
Отчаяние, бешенство (ярость) и ужас
Сопровождают их падение
И новый мир встает
По слову божества*.

Радищев

«ТВОРЕНИЕ МИРА»

...Вот исчезает пред взором всезрящим
Века не суща еще темнота.

«ОСМНАДЦАТОЕ СТОЛЕТИЕ»

...Из Океана возникли новы народы и земли...
...Но сил твоих недостало к изгнанию всех духов ада...
Их недостало на бешенство, ярость, железной ногою
Что подавляют цветы счастья и мудрости в нас.

Создается впечатление, что текст гайдновского либретто использован Радищевым частично в «Творении мира» и частично — в «Осмнадцатом столетии», то есть в высшей степени экономно и осторожно.

* Перевод с немецкого В. И. Нейштадта. Эти текстуальные совпадения доказывают, что «Творение мира» Радищева отражает элементы оратории, написанной Ван-Свитеном, а отнюдь не соответствующее место из VII песни «Потерянного Рая» Мильтона, где космогоническая тема разработана совершенно иначе и где подобных строк нет.

Но, чтобы заимствовать что-либо из оратории Гайдна, Радищеву нужно было познакомиться с нею, а это, как мы уже видели, могло иметь место не ранее, чем в 1799 году.

Стихотворение «Осмнадцатое столетие» написано в первой половине 1801 года. Поэма «Творение мира» никогда с ним не сравнивалась; не сравнивалась она также и с другим произведением Радищева последней поры его жизни —«Песнями, петыми на состязаниях в честь древним славянским божествам».

Между тем вся первая часть «Песен» также посвящена теме «дней творения», только изображены они на славянский лад: творец вселенной, библейский господь бог заменен здесь языческим, славянским Перуном, которого окружают подвластные ему (большей частью вымышленные) славянские божества.

В «Песнях, петых на состязаниях» изображен тот же космогонический процесс, что и в «Творении мира»: среди мрака «нощи древния» рождается «всемирный океан»; так же, как и в «Творении мира», бунтуют, отступая «буйны чада истлевшего хаоса», и если в поэме, следующей в «Путешествии» за «Вольностью», читаем: «Приими начало, время, и движенье, вещество», то в «Песнях» видим почти то же самое: «Уже начало восприяли движенье, жизнь и бытие».

Творец вселенной и его сподвижники — архангелы здесь славянизированы: это Перун, Велес, Даждь-бог и ряд других древнерусских божеств. Причина такого предпринятого автором «переодевания» персонажей простая: в этой незаконченной поэме он говорит уже не о судьбах народов Земли в целом, а только о «будущем жребии отечества», и поэма недаром обрывается на знаменитом пророчестве Радищева, вылившемся в тринадцать вдохновенных строк:

О, народ, народ преславный!
Твои поздние потомки
Превзойдут тебя во славе
Своим мужеством изящным,
Мужеством богоподобным,
Удивленье всей вселенной;
Все преграды, все оплоты
Сокрушат рукою сильной,
Победят природу даже,
И пред их могущим взором,
Пред лицом их озаренным
Славою побед огромных
Ниц падут цари и царства...

И как в «Творении мира», так и в «Песнях, петых на состязаниях» отмечается близость к оратории Гайдна, граничащая иногда с текстуальной. Приведем параллельно еще две выдержки из «Сотворения» и «Пе-

сен, петых на состязаниях», где воспевается появившийся на Земле Человек:

Гайдн — Ван-Свитен	*Радищев*
«СОТВОРЕНИЕ МИРА»	«ПЕСНИ, ПЕТЫЕ НА СОСТЯЗАНИЯХ»
Наделенный достоинством и величием, красотой, силой и мужеством, выпрямленный по направлению к небу, встает Человек, муж и царь природы.	...О, человек, творение чудесно! Творенье бренное, о, царь земли! Ты слаб, ты червь, ты мал, Пылинка ты в сравнении всего, Но силен, но велик умом, Ты мыслию божествен, Зиждитель и творец!

Могут справедливо заметить, что количество совпадений в тексте некоторых поэтических произведений Радищева и «Сотворении» Гайдна незначительно и что их можно объяснить простой ограниченностью литературных средств в те времена. Но совокупность всех обстоятельств Радищева, определяющих для него 1799 и 1800 годы, не позволяет нам пренебречь этими совпадениями. Никак не может быть случайной смысловая и текстуальная близость его «Творения мира», «Осмнадцатого столетия» и «Песен, петых на состязаниях» с либретто «Сотворения» Гайдна, написанным как раз в конце XVIII века, и не может быть случайным, что во всех этих трех радищевских произведениях — одна система образов и один круг идей.

* * *

Сличение текста «Сотворения» Гайдна с текстом «Творения мира» и других последних произведений Радищева помогло раскрыть тайну особых списков «Путешествия». Но смысл этого раскрытия наверняка окажется неприемлемым для некоторой части зарубежных и отечественных литературоведов, до сих пор считающих, что Радищев под конец жизни изменил своим убеждениям и стал прославлять царей.

Основанием для такого их утверждения являются те места из поэмы Радищева «Песнь историческая», где он восхваляет римских императоров Траяна и Марка Аврелия, а также последние строки «Осмнадцатого столетия», где воспеваются Петр, Екатерина и Александр.

Но нельзя же серьезно думать, что автор «крамольного» сочинения, которое (разумеется, с его же ведома и согласия) тайно переписывалось в монастыре осенью 1800 года, по прошествии каких-нибудь нескольких месяцев стал певцом самодержавия, несмотря на то что он так его ненавидел и так от него пострадал.

Почему же автор «Осмнадцатого столетия», отдав должное великой эпохе, с восторгом перечислив ее достижения в области науки, техники, социальных преобразований и назвав силы сопротивления революции «духами ада», в конце стихотворения, говоря о России, вдруг восклицает: «Петр и ты, Екатерина! дух ваш живет еще с нами... Гений хранитель всегда Александр будь у нас...» Как это объяснить?..

За месяцы, протекшие со времени завершения Радищевым работы над «Путешествием» (1799—1800) до момента написания им «Осмнадцатого столетия» (1801), произошли события, коренным образом изменившие политическую обстановку в России и, в частности, положение его самого.

Со смертью Павла I кончился период мрачного деспотизма, и вся страна облегченно вздохнула. Почти все осужденные при Павле политические «преступники» в начале нового царствования были прощены. Радищев из поднадзорного ссыльного превратился в полноправного гражданина, члена государственной «Комиссии о составлении законов». На его глазах многое быстро изменялось к лучшему: Тайная экспедиция, причинившая ему столько зла, прекратила свое существование, а решенные в ней дела стали пересматривать; была отменена (хотя и ненадолго) цензура, и намечались реформы. Таким образом, Радищев имел основания возлагать на Александра надежды, связанные и с облегчением участи крестьян.

Но Петр и, в особенности, Екатерина упомянуты в приведенных стихотворных строках не очень кстати и вместе с Александром образуют превыспренний, чисто риторический ряд. Строки эти — не что иное, как дань одописной манере времени. Искренности же одописцев доверять не следует: пафос их питается либо угодничеством, либо (как в данном случае) необходимостью обеспечить свою безопасность. И это — по примерам не столь давним — понятно нам достаточно хорошо.

Несколько иной и, видимо, более глубокий смысл имеет восхваление Радищевым римских императоров Траяна и Марка Аврелия в «Песни исторической», написанной, как предполагают, в 1802 году. В литературе последних лет уже указывалось, что Радищев, изобразив историю Рима как историю тиранов, выделил на ее фоне, в виде исключения, «добродетельных» монархов, но «скорее разоблачает, чем проповедует» просвещенный абсолютизм [21].

И разве не являются выражением истинной его оценки «либеральных» начинаний Александра I строки из той же «Песни исторической»:

Вождь падет, лицо сменится,
Но ярём, ярём пребудет.
И как будто бы в насмешку
Роду смертных т и р а н н о в о й

Будет благ и будет кроток,
Но надолго ль? — на мгновенье
(разрядка моя.— *Г. Ш.*).

В этой же поэме Радищев осуждает Робеспьера, то есть революционный террор французского Конвента. Но, осуждая террор, он принимал революцию в целом и призывал к «человеколюбивому мщению»; поэтому об авторе «Путешествия» и «Осмнадцатого столетия» никак нельзя сказать, что он в конце концов стал противником власти народа и недооценил «безумный и мудрый» век.

Служивший в 1801—1802 годах вместе с Радищевым в Комиссии о составлении законов Н. С. Ильинский свидетельствует, что бывший государственный преступник и в этот период остался «мыслей вольных и на все взирал с критикою»[22]. Вряд ли такую характеристику мог заслужить либерал.

Либералом был в эти годы другой деятель, который в молодости своей увлекался Радищевым,— М. М. Сперанский. Но это — два разных течения в русской общественной мысли: законодательные проекты Радищева этой поры были радикальны, Сперанский же стремился к преобразованию крепостнической России путем постепенных реформ.

Радищев был много сложнее, чем до сих пор это казалось.

Совершив свой подвиг — восстановив и дописав «Путешествие» во время своей второй ссылки под Калугой,— он на очень короткое время поверил в добрые намерения Александра и заплатил за эту свою ошибку жизнью, не пожелав участвовать в политической игре царя.

Но заимствовал ли у Гайдна свои образы и идеи Радищев? Нет, он мыслил слишком самостоятельно, чтобы кому-либо подражать. Впитав все лучшее и наиболее передовое из опыта русского и западного просветительства, он позволял себе сплошь и рядом повторять своих современников, если их мысли отвечали его собственным. Так, в 46-й строфе «Вольности» он пересказал Рейналя, а в «Песни исторической» (1802) последовал Монтескье.

С неподражаемым чувством юмора заявлял он по этому поводу в «Путешествии»: «Признаюсь, я на руку нечист; где что немного похожее на рассудительное увижу, то тотчас стяну; смотри, ты не клади мыслей плохо»[23]. Так признавался он в своей излюбленной литературной манере, которую А. Р. Воронцов в письме к брату назвал причиной ареста и ссылки Радищева: «он сам,— утверждал Александр Романович,— навлек на себя несчастье, имея манию писать от третьего лица»[24].

Маркс говорит, что люди в эпохи революционных кризисов используют архаические образы, язык и эмоции для выражения новых идей.

Жизненный опыт Радищева научил его осторожности, и стремле-

ние во что бы то ни стало оставить за собой в борьбе с самодержавием последнее слово заставило его в «Творении мира» прибегнуть к ветхозаветным образам, то есть дерзать единственно возможным для него путем.

Вводя в полный текст «Путешествия» эту поэму, Радищев, помимо замысла социального предвидения, осуществлял еще одну свою идею: рисуя, согласно деистическим представлениям XVIII века, зависимость следствий от первопричины, как от первого «всемощного» толчка «Зиждителя», он применял свою философскую схему к разным областям жизни. Эта мысль занимала его в Сибири, когда он писал трактат «О человеке, его смертности и бессмертии», и этой же мыслью закончил он «Слово о Ломоносове» в своем «Путешествии из Петербурга в Москву».

«Первый мах в творении всесилен был,— говорит он применительно к Ломоносову и успехам русской словесности в последующую эпоху,— вся чудесность мира, вся его красота суть только следствия. Вот как понимаю я действие великия души над душами современников и потомков; вот как понимаю действие разума над разумом» (разрядка моя.— *Г. Ш.*).

Нет сомнения, что Радищев, мастер приемов эзоповской речи, имел здесь в виду собственное свое «Путешествие» как первый в России всесильный «мах», породивший огонь освободительных идей.

* * *

Теперь, когда идея «Творения мира», связь этой поэмы с двумя произведениями последних лет жизни Радищева и всех этих трех произведений с ораторией Гайдна достаточно прояснилась, следует вернуться назад.

Ведь загадки прозаического текста, предшествующего в «Путешествии» «Творению мира», остались неразрешенными, а их необходимо по мере возможности разрешить.

Разгадка первой из них уже была предложена ранее. Вспомним это «темное» место, суть которого такова: Стихотворец, вручающий Путешественнику рукопись своего произведения, с презрением произносит: «Прочтите сию бумагу и скажите мне, не посадят ли и за нее...» Как ранее уже отмечалось, задать такой вопрос мог только автор, уже сидевший и за оду «Вольность» и за все свое «Путешествие».

Фразой «не посадят ли и за нее...» Стихотворец выдает Радищева. Однако сторонники традиционного понимания этого контекста могут сказать: «Да ведь Стихотворец, изображающий здесь автора «Вольности», еще не сидел за свою оду и только собирается ее напечатать». Но Радищев наделяет своего двойника Стихотворца собственными био-

графическими чертами, намеренно нарушая последовательность пережитых им событий, рисуя на их основе художественный, обобщающий образ, а не свой автопортрет.

Считать же, что фраза эта — вставка, сделанная переписчиком, невозможно, так как для такой трактовки решительно нет оснований. Во-первых, чтобы вставить эту фразу, нужно было внести в текст целый эпизод: Путешественник, прочтя оду, возвращает ее Стихотворцу и произносит нравоучение; после этого Стихотворец вручает ему новую рукопись и, глядя на него с презрением, задает свой вопрос. У какого переписчика поднялась бы рука на такую отсебятину? И, кроме того, ведь никаких других вставок в списках «Путешествия» особого состава мы не знаем, почему же в данном случае усматривать произвол?..

К загадке второй относится фраза Стихотворца: «...Сие (то есть песнословие «Творение мира».— *Г. Ш.*) долженствовало быть для великого поста, некоторым случаем не докончано». Фраза эта вдвойне загадочна: в одинаковой мере требуют объяснения и «великий пост», в связи с которым почему-то была задумана эта поэма, и «некоторый случай», помешавший ее дописать.

Так как «Творение мира» по своему литературному жанру являлось «песнословием», или ораторией, следовало прежде всего проверить: не было ли принято в России XVIII века исполнять оратории великим постом?

Объяснение музыкального термина «оратория», данное Г. Р. Державиным, отвечало на этот вопрос утвердительно: в своем «Рассуждении о лирической поэзии», опубликованном лишь частично, он (в самом начале XIX века) писал, что оратории «исполняются у нас по великим постам на театрах и домах»[25].

В упоминавшихся ранее воспоминаниях И. А. Второва, описывающего Москву 1801 года, говорится: «В великий пост уже не бывает ни спектаклей, ни маскерадов»[26]. Слово «уже» в этом контексте указывает, что спектакли и маскарады были запрещены (на время великого поста) не так давно.

Факт такого запрещения косвенно подтверждается одним документом дворцового архива: 11 февраля 1799 года содержатель итальянской труппы Астарита* Дженаро просил Павла I о «дозволении ему великим постом дать представление: духовные оратории в театральных костюмах, которые в Италии дозволяются папой»[27].

Все эти свидетельства вызывали необходимость обратиться к истории русского законодательства о театре, связанного с церковными праздниками, а также с великим постом.

При просмотре «Полного собрания законов Российской империи»

---

* В документе — ошибочно — «Аставита».

выяснилось, что никаких запрещений давать представления во время великого поста до конца XVIII века не было; первое же такое запрещение, и притом с упоминанием об ораториях, последовало в 1796 году.

22 декабря этого года Павлом I был дан указ директору театров князю Юсупову: «Вольные (т. е. светские. — *Г. Ш.*) спектакли запретить давать во весь великий пост... Оратории же духовные в течение великого поста, кроме первой и последней недели, давать позволить...»[28]

Таким образом, Стихотворец, предназначивший «для великого поста» свою поэму «Творение мира», вторично и окончательно выдает Радищева, который мог написать такую фразу не ранее конца декабря 1796 года, то есть только после того, как состоялся данный указ.

С этим указом, видимо, связано общее «ораториальное» направление русской концертной жизни в самом конце XVIII столетия[29], чрезвычайно усилившееся в связи с проникновением в Россию «Сотворения» Гайдна, вызвавшего к себе в начале нового века огромный интерес.

В более ранние годы известны всего два случая исполнения великим постом духовных концертов и оратории: в Петербурге — в 1791 году и в Москве — в 1793-м[30]. Оба случая имели место в те годы, когда Радищев уже находился в Сибири, где ему не так легко было следить за объявлениями столичных газет.

Только после указа 1796 года, когда на время великого поста были запрещены светские спектакли, исполнение ораторий в великопостные дни стало распространенной модой, и радищевское «Творение мира», совпадающее с «Сотворением» Гайдна по теме, названию, содержанию, а в некоторых местах и текстуально, было, вне всякого сомнения, своевременным ответом писателя на музыкальную «злобу дня».

Теперь можно и датировать более или менее точно время окончания Радищевым последней редакции «Путешествия». Либретто «Сотворения» Гайдна было опубликовано в лейпцигской «Всеобщей музыкальной газете» 30 января 1799 года и, очевидно, вскоре попало к русским любителям музыки как в печатном виде, так и в рукописных копиях, с нотами. Автор «Путешествия» мог познакомиться с этим либретто в том же году, уже весной.

Время, начиная с весны и до конца 1799 года, было наиболее благоприятным для возвращения Радищева к его основной теме; скорее всего, именно в эти месяцы, отмеченные для него подъемом духа и бодростью, он занялся восстановлением и доработкой своей уничтоженной книги: внес в нее ряд дополнений, а именно: четыре строфы оды «Вольность», куски относящейся к ней прозы и поэму «Творение мира», вернувшись, таким образом, к литературному труду.

Работа над окончательной редакцией книги, надо полагать, была

завершена им либо в конце 1799-го, либо, вернее, в начале 1800 года — *до наступления великого поста*, начавшегося в этом году, по свидетельству «Месяцеслова», 26 февраля. Работа эта была прервана «некоторым случаем», не позволившим автору дописать «Творение мира». Что это был за случай, можно только гадать: это могла быть и какая-то опасность, возникшая поблизости в связи со слежкой, которую местные власти вели за Радищевым, либо представившаяся вдруг — через Анну Ивановну Аргамакову — возможность переписать новый вариант «Путешествия» в монастыре. Радищев оставил нам много загадок. Одною из них является место из печатного текста «Путешествия» 1790 года, повторяющееся в списках Б, В и Г. Стихотворец, ссылаясь на екатерининский «Наказ о сочинении нового уложения», заявляет, что «о вольности у нас говорить вместно». Возникает вопрос: как же автор не отредактировал это место для списков особого состава и «позволил» Стихотворцу в царствование Павла I ссылаться на «Наказ» Екатерины II?.. Но Радищев мог пойти на это по двум причинам: стремясь затемнить датировку последней — подпольной — редакции «Путешествия» и желая сохранить упоминание о «Наказе» как «историческое», то есть имевшее для своего времени, в издании 1790 года, особую политическую остроту...

Умелец литературно-политической маскировки, Радищев, вложив в свое «песнословие» идею о неизбежном торжестве «вольности» и рождении из нее нового социального мира, облек эту идею в ветхозаветно-религиозные образы, которым позавидовал бы любой богослов.

Мало того! У него была еще дерзкая мысль — добиться того, чтобы это произведение *пели*, исполняя в концертах. Почти одновременно Карамзин добился того же, сделав перевод «Сотворения». Но Радищев *не переводил* с немецкого, он написал самостоятельное произведение, имевшее свой, глубоко скрытый, смысл.

А. Р. Воронцов в письме к брату с полным основанием назвал Радищева «человеком, исполненным таланта, знаний и осторожности»[31].

Спустя четверть века А. С. Пушкин, делясь с П. А. Плетневым своими намерениями, писал: «Я Андрея Ш<енье> велю напечатать церковными буквами во имя от<ца> и сы<на> etc...»[32].

Выражаясь фигурально, Радищев написал свою поэму тоже «*церковными буквами*», изобразив в ней новый, рождаемый духом вольности, мир.

Отрадно отметить, что в недавно защищенной Г. И. Сенниковым диссертации «Поэзия А. Н. Радищева» поэма «Творение мира» тоже рассматривается как символическая, имеющая скрытый революционный смысл[33].

Эзоповский стиль как средство борьбы с существующим режимом применялся в России издавна — не только в литературе, но и в быту.

В ЦГАДА, в бумагах Тайной экспедиции сохранилось дело (№ 2008) о дьячке Григории Рурицком, «певшем заупокойным напевом о здравии императрицы Елисаветы». В остроумии этому дьячку никак нельзя отказать...

Стихотворец в списках особого состава по прочтении Путешественником первой строки «Творения мира» говорит: «Вы уже улыбаться начинаете, вам кажется уже, что читаете «Телемахиду». Но смейтесь, как хотите — чудище обло, огромно, тризевно и лаяй — не столь дурной стих» [34].

Косноязычный слог Тредиаковского ничуть не отталкивает Стихотворца: смейся, недогадливый современник, смейся, сколько тебе угодно,— Стихотворец обманул тебя и всех, кто «принадлежит к цензурному комитету». А с трудом читаемый стих Тредиаковского потому ведь не столь «дурен», что этим стихом можно выразить сущность самодержавно-крепостнического строя, а придраться к стиху нельзя.

Недаром же эта строка взята эпиграфом к «Путешествию» как пример иносказания. В иносказательной же манере написана и поэма «Творение мира», причем обрамляющие ее прозаические строки обнажают этот прием.

Так, Стихотворец с едким сарказмом предупреждает Путешественника относительно своего «песнословия»: «Да будет оно пример, как можно писать не одними ямбами» [35]. Это значит: не одними ямбами, которыми написана ода «Вольность», можно выразить революционную идею, но и любым другим размером. А по прочтении Путешественником зашифрованной поэмы Стихотворец так же саркастически спрашивает: «Что ж вы скажете о употреблении в одном сочинении разного рода стихов?..» [36]

«Вот и конец»,— объявляет он в тексте первого издания, окончив читать Путешественнику оду.

«Конца нет»,— стоит в списках особого состава после поэмы «Творение мира». И в этой диаметрально противоположной прежнему утверждению реплике скрыт сокрушительной силы смысл...

«Конца нет». Это касается не только оборванной «некоторым случаем» поэмы — смысл этих слов несравненно глубже: не было конца уничтоженному в 1790 году «Путешествию», и нет конца освободительной миссии автора, как и стремлению народов к свободе, как и «дару небес» — вольности, которая лишь с вечностью «скончает свой полет».

5

Калужский гражданский губернатор Лопухин 22 марта 1800 года отправил Павлу I «всеподданнейший» рапорт. Он сообщал императору, что гусарский полк Линденера (возвратившийся, очевидно, из оче-

редной карательной экспедиции) прибыл «в непременные свои квартиры» и расположился эскадронами в уездных городах [37].

Гусары снова появились в непосредственной близости от Немцова. Для Радищева это означало, что наблюдение за ним возобновилось. В любую минуту могли нагрянуть к нему непрошеные гости, произвести обыск и отобрать бумаги либо просто поинтересоваться тем, что он писал.

В вечном страхе, не забывая о своем положении поднадзорного, совершал он свой подвиг,— спеша и озираясь, заканчивал последнюю редакцию «Путешествия» *. Очень возможно, что гусары, появившиеся в соседнем городе Боровске, снова зачастили в Немцово и что это и заставило его прервать работу над «Творением мира» и поспешить с передачей всей рукописи Анне Ивановне Аргамаковой, увезшей ее затем в Саровский монастырь.

А. Р. Воронцов недаром писал об осторожности Радищева. Должно быть, именно ею следует объяснить и то обстоятельство, что стихотворение «Осмнадцатое столетие» не было опубликовано при жизни автора. Сначала он, видимо, предназначал его к печати, но потом передумал: стихотворение слишком ясно отражало взгляды писателя, который увидел «всемирно-исторический восход солнца» и низко поклонился ему...

Но могут сказать: «Если автор «Путешествия», несмотря на все перенесенное и невзирая на подстерегавшую его опасность, нашел в себе силу духа, чтобы продолжить работу над своею книгою, то почему семейные предания об этом молчат?»

Осторожность Радищева, надо полагать, обеспечила сохранение его тайны. Возможно даже, что, кроме Анны Ивановны и отца, Николая Афанасьевича, о тайне этой не знал никто из близких, а если кто и знал, то вовсе не стремился ее разглашать.

В этом отношении показательно письмо младшего брата Павла Радищева, Афанасия, его ответ на запрос Павла Александровича по поводу документов, касающихся биографии отца. Сообщая брату, что единственным таким документом, которым он, Афанасий, располагал, было письмо, полученное им из Тобольска, с подробностями о пребывании Александра Николаевича в Сибири, младший брат писал: «...И как оно не могло принести мне ни пользы, ни утешения, а напротив — напомнило мне горькую участь нашего отца, то я тогда же сжег это письмо» [38].

Из ближней родни писателя Павел Александрович был, видимо, един-

* Тревожными условиями, в которых протекала эта работа, очевидно, и объясняется ее некоторая небрежность — смысловые неувязки в тексте последней редакции и явные монтажные «швы».

ственным, кого могла бы живо интересовать эта отцовская тайна, но и он, как видно по всему, о ней не знал: в июне 1799 года он поступил в Морской кадетский корпус, а с 1800-го по 1805 год служил на флоте и находился вдали от отца, когда тот дописывал свою книгу. Старший брат, Николай, мог бы знать отцовскую тайну, но он вряд ли стал бы кому-либо ее поверять...

Томительно тянулись дни ссылки под Малым Ярославцем, в сельце Немцове. Ничто не возмущало провинциальную тишину.

И вдруг из ближнего Боровска в начале июня 1800 года пришло известие об убийстве в селе Клюксы, Козельского уезда, поручиковой жены лютой помещицы Марьи Ергольской. В отсутствие мужа, отлучившегося в Козельск, она была найдена «в доме ее зарезанною по горлу, обе руки изрезаны, лицо избито и левый бок прорезан». Помещица была убита своими дворовыми людьми [39].

Радищев не мог не знать об убийстве, слух о котором облетел всю губернию. И, размышляя об этом, он не мог не вспомнить то место из своего «Путешествия», где «прорицал» о «будущем жребии» душевладельцев: «Вот что нам предстоит, вот чего нам ожидать должно... О, горестная участь многих миллионов! Конец твой сокрыт от взоров и внучат моих...» [40]

Убийство Павла I, разумеется, на первых порах встревожило Радищева: ведь трое прямых участников заговора — поручики Марин и два брата Аргамаковы — были его родственниками; кроме того, он состоял в близком родстве с Марьей Ивановной Розенберг, двумя годами ранее замешанной в деле смоленского кружка.

Но все обошлось. Виновных в убийстве Павла никто не стал преследовать. В апреле 1801 года Радищев был освобожден из своей второй ссылки с возвращением чинов и дворянства и привлечен к участию в составлении законов,— казалось бы, он мог спокойно доживать свой век.

Подвиг был совершен: его уничтоженная книга, несмотря ни на что, была восстановлена и дополнена. Он получил доступ к государственной деятельности и трудился, надеясь, что работа Комиссии составления новых законов облегчит участь крестьян.

Но надежды развеялись. В законодательной комиссии Радищеву слишком часто приходилось оставаться при особом мнении: члены комиссии, как правило, были не согласны с ним.

Наболевший крестьянский вопрос не получал разрешения. Люди переменились; во всяком случае, те, от кого могло зависеть разрешение этого вопроса, и кто в 90-х годах разделял республиканские идеи, теперь, разочаровавшись в революции, взяли иной курс.

Сохранилось письмо вельможи Павла Александровича Строганова к общественному деятелю В. Н. Каразину — того самого «Пашки» Стро-

ганова, который в юные свои годы, находясь в Париже, был библиотекарем революционного клуба и возлюбленным одной из знаменитейших женщин французской революции — Теруан де Мерикур.

Это неопубликованное письмо наглядно показывает, как повисали в воздухе идеи Радищева в последний период его жизни. Граф П. А. Строганов писал:

«Милостивый государь мой
Василий Назарыч.

Я Вас благодарю сердечно за отрывок сочинения г-на Радищева, которое вы мне присылайте; я его прочту с вниманием. Что же касается до вчерашнего разговора, вы напрасно приняли это за насмешку, но действительно нельзя было согласиться с началами, г-ном Радищевым приведенными; нет сомнения, что он был наполнен рвением к добру, но судя по вчерашнему отрывку, мне кажется, он не взял в этом деле истинный путь...» [41]

Из письма этого, не совсем ясного, все же можно понять, что в начале февраля 1800 года, то есть еще до окончания своей немцовской ссылки, Радищев пытался ознакомить Строганова через Каразина с каким-то своим государственным проектом.

Известно, что Каразин получил от Радищева рукопись его «Проекта гражданского уложения» и обещал показать ее Александру I. В письме Строганова, очевидно, о данном сочинении и шла речь.

Этот же «Проект», по словам сына писателя Павла, вызвал недовольство П. В. Завадовского, сказавшего Радищеву, что «восторженный образ мыслей уже раз навлек ему несчастье» и что оно может повториться, причем даже произнес слово «Сибирь». (Кстати, будет не лишним вспомнить, что Завадовский, председатель «Комиссии о составлении законов», был одним из семи членов Государственного (Непременного) Совета, подписавших Радищеву смертный приговор в 1790 году.

По свидетельству служившего в той же комиссии Н. С. Ильинского, недоволен поведением Радищева был и его покровитель А. Р. Воронцов. Александр Романович будто бы сказал своему подопечному, что, если он вольнодумствовать не перестанет, с ним поступят еще хуже прежнего (!). Эти слова Воронцова вполне могли ускорить роковую развязку и напомнить Радищеву несколько собственных его строк:

«Если добродетели твоей убежища на земле не останется, если доведенну до крайности не будет тебе покрова от угнетения, тогда воспомни, что ты человек, воспомяни величество твое...— Умри» [42].

«Умри на добродетель»[43],— говорит Радищев в другом месте своей книги.

Идея самоубийства как крайнего средства сохранить человеческое достоинство в борьбе с существующим режимом пронизывает «Путешествие» во многих местах.

К этому средству Радищев прибегнул, разочарованный в своих надеждах на перемену в правовом положении крестьянства и угнетенный рядом обстоятельств, имевших отношение лично к нему.

Одним из таких эпизодов, омрачивших последние месяцы жизни Радищева, несомненно, было печальное происшествие с его троюродным братом Григорием, отраженное в особом архивном «деле» и представляющее, кроме того, историко-литературный интерес.

Уроженец Малоярославецкого уезда, отставной подпоручик Григорий Радищев еще в 1781 году был лишен дворянского звания и сослан на север, в город Колу, за «ложный» заклад в Государственном банке чужого имения и крестьян, которых он никогда не имел.

Спустя двадцать лет, живя на поселении в Коле, он провинился вторично, расписавшись на поддельной ассигнации в 25 рублей.

31 декабря 1801 года, в Архангельске, он был за это публично наказан: бит кнутом и «с вырезанием ноздрей и постановлением знаков* отослан для употребления на Нерчинских заводах вечно в каторжную работу»[44]. В мае следующего года при пересмотре прежних уголовных дел Александр I не нашел возможным его освободить.

В XVIII веке в среде разоряющегося дворянства, особенно среди военных, подобные случаи не были редкостью. В 1772 году двоюродные братья Н. О. Ганнибал** — Сергей и Михаил Пушкины — за подделку подписи на ассигнации были приговорены к смертной казни, замененной им затем ссылкой. Михаил умер в Тобольске, а Сергей по отбытии двадцатипятилетнего срока поселился в Калуге (одновременно с возвращением из Сибири Радищева в 1797 году).

Как известно, Пушкин подсказал сюжет «Мертвых душ» Гоголю. Очень похоже, что поэт, знавший о «деле» своих дядьев, как-то связал его с «делом» Григория Радищева, о котором он мог знать от своих калужских родственников — Гончаровых — и что эпизод этот с закладом несуществующих крестьян, интерпретированный Пушкиным, явился первоисточником сюжета «Мертвых душ»...

В ночь на 12 сентября 1802 года Александр Николаевич Радищев покончил с собой.

В сущности, это было второе его самоубийство, ибо задолго до этого он покончил с собой как с писателем совершенно другого жан-

---

* Щеки и лоб осужденного клеймились «знаками» — тремя литерами, образующими вместе слово «вор».

** Н. О. Ганнибал — мать А. С. Пушкина.

ра, принеся в жертву идее свой настоящий литературный стиль.

Есть основания утверждать, что Радищев с целью маскировки писал свои анонимные произведения (ни одно из них не подписано его именем) нарочито архаизированным языком.

Облекая свои мысли в литературную форму начала или середины XVIII века, Радищев занимался намеренной стилизацией, отказавшись от своего обычного стиля, приближавшегося к языку Пушкина по своей прозрачной точности и простоте.

В том, что это действительно так, легко убедиться, обратившись к его по-русски написанным письмам* и, главным образом, к его путевым запискам о Сибири; записки эти, не предназначенные для печати, необработанные, то есть еще не подвергшиеся архаизации, знакомят нас с подлинным литературным стилем Радищева, очень часто не имеющим ничего общего с языком «Путешествия из Петербурга в Москву».

Приведем цитаты, типичные для «Путешествия» Радищева, и затем несколько выдержек из его сибирского «Дневника».

«Путешествие»

Из главы «Чудово»:

«Внезапу острый свист возникающего вдали ветра разгнал мой сон, и отягченным взорам моим представлялися сгущенные облака, коих черная тяжесть, казалось, стремила их нам на главу и падением устрашала. Зерцаловидная поверхность вод начинала рябеть, и тишина уступала место начинающемуся плесканию валов».

Из главы «Спасская Полесть»:

«...Возмущенные соки мыслию стремилися мне, спящему, к голове, и, тревожа нежный состав моего мозга, возбудили в нем воображение. Несчетные картины представлялись мне во сне, но исчезали, как легкие в воздухе пары. Наконец, как то бывает, некоторое мозговое волокно, тронутое сильно восходящими из внутренних сосудов тела парами, задрожало долее других на несколько времени, и вот что я грезил»[45].

Сибирский Дневник

По дороге в ссылку (1790)

15 декабря

«Селения в Пермской губернии, также в Тобольской, опричь заводских, которые построены усадьбою, беспорядочны; причина, может быть, та, что селятся не вдруг. За Екатеринбургом все избы кажутся черны или очень стары, или лес скоро чернеет. Народ в Сибири при-

* Чаще всего он обращался к своим корреспондентам по-французски.

ветлив. Бледен. Язвы. Ходят в лохмотьях. До Тюмени 23. До города все места ровные. Тюмень стоит на высоком берегу» [46].

По дороге из Сибири (1797)

16 мая

«Берега Камы все лесисты, нагорный берег то идет по правую, то [по] левую сторону реки. Лес был голый. Зелени не было, только набрали по вспаханному полю много пестиков, род дикой спаржи, не очень вкусной, которую простой народ приготовляет в пирогах; малые ребята брали его по полям, может быть, ради крайней бедности» [47].

19 мая

«Поутру рано ездил на лодке в Сарапул... Много хлеба с Камы идет в Россию. На базаре или рынке пусто, было рано. Чем далее плыли, тем более видели зелени. Озими большие, и лес одевался.

Восставший ветер понудил ночевать близ села, ибо боялися проплывать устье реки Белой, в 4-х верстах от сего места, где Кама разлилась верст на 20, и бывают разбойники. Вечером слышен свист соловьев» [48].

Кажется, что текст первых двух и трех последних приведенных выдержек написан разными лицами.

Разумеется, тема о подлинном стиле Радищева требует более основательной разработки, но в этой книге о тайной творческой истории «Путешествия» ее нельзя было не коснуться хотя бы вскользь.

Посмертная слава Радищева, идя в ногу с русским общественным и революционным движением, отразилась в многочисленных списках «Путешествия из Петербурга в Москву».

Большинство этих списков воспроизводит текст издания 1790 года. Среди них имеется только три списка окончательной редакции «Путешествия», содержащих дополнения к первому изданию, и четыре отдельных списка оды «Вольность» в составе 54 строф.

Вполне возможно, что таких особых (полных) списков было гораздо больше и что некоторые из них еще будут найдены: ведь распространение «Путешествия» было очень широким — не только среди разночинной революционной интеллигенции, но и в гуще народной, среди рабочих, солдат и помещичьих крепостных.

Так, например, корреспондент Л. Н. Толстого, крестьянин-самоучка Тимофей Бондарев, автор книги «Трудолюбие и тунеядство или торжество земледельца», писал: «Об Александре Николаевиче Радищеве я слышал еще когда был у помещика рабом, а потом приходилось читать «Путешествие» его, будучи солдатом, а затем в Минусинске по-

пала мне полностью копия рукописи «Путешествия из Петербурга в Москву» [49].

Русские революционные рабочие читали в тюрьмах книгу Радищева [50].

С конца XVIII века «Путешествие» переписывалось в самых разных местах России, причем иногда коллективно, под диктовку, точно так же, как переписывалось в свое время декабристами «Горе от ума»[51].

Из записной книжки автора

«...О, великая страсть научного следопытства!.. В хаосе явлений, разрозненных и между собою никак не соотнесенных, она помогает установить порядок и связь.

Так в этом труде оказались переплетенными судьбы Радищевых, Аргамаковых, Грибоедовых, Цебриковых и судьбы книг и рукописей, не менее интересные, чем судьбы людей...

Полностью оправдала себя придуманная мной «таблица предвидений»: предположения по ряду частных вопросов, помещенные в разные клетки этой таблицы, были проверены, и то, что оказалось верным, позволило решить основной вопрос.

Теперь можно считать доказанным, что промежуточная редакция «Путешествия», известная по изданию 1790 года, была дополнена Радищевым и превращена им в завершающую после возвращения его из Сибири, скорее всего в 1800 году...»

* * *

«...И я думаю о том, что пора издать полный (окончательный) текст «Путешествия», использовав для этого все списки особого состава, и притом издать так, чтобы дополнения к первопечатному тексту были доступны широкому читателю, а не выносились бы — в виде разночтений — в «академическую», комментарную часть...

...список Б называется в этой работе также «лонгиновским» (в кавычках), что не случайно: ведь его с таким же успехом можно называть «голубковским»; правильнее же именовать его — по месту изготовления — списком Саровского монастыря...

После всего сказанного остается открытым вопрос о протографе, подлиннике или — что вернее всего — авторизованном Радищевым оригинале, с которого списывался полный текст. Не исключена возможность, что этот оригинал еще будет найден, и есть много путей для его поисков; но это уже особое разыскание, выходящее за пределы данной работы.

Тем не менее некоторые из этих поисковых линий следует наметить, и я прошу моих читателей иметь эти поисковые вехи в виду.

Подлинник или авторизованный оригинал «Путешествия» мог сохраниться у кого-либо из жителей Темниковского района, в местности, где находился Саровский монастырь.

Он мог остаться и в Москве, в доме № 2 по 2-му Ушаковскому, ныне Хилкову, переулку (в доме П. А. Ушаковой), где умерла Анна Ивановна Аргамакова и где — кто знает! — может быть, он и по сей день лежит в забытой старой корзине на чердаке.

Эта рукопись могла «осесть» в одном из переулков бывшей Пречистенки, в домишке какого-нибудь дьячка или священника Зачатьевского монастыря, прихожанкой которого была Анна Ивановна.

Этот подлинник мог переместиться и в район Лефортова, куда незадолго до 1812 года переехала П. А. Ушакова, приобретя там дом в приходе церкви Петра и Павла.

Его следует также искать в уцелевших фамильных бумагах Грибоедовых — в личных архивах их друзей.

Наконец, его вместе с некоторыми монастырскими рукописями могли увезти эмигрировавшие за границу монахи Саровской пустыни, и сейчас он, возможно, находится за рубежом, в частных руках.

Последняя версия приобретает особый интерес в связи с одним известием, которое мне довелось услышать. Несколько лет назад я делал сообщение об этой работе в Союзе писателей, в узком товарищеском кругу. Присутствовавший при моем докладе Лев Никулин, когда я кончил, неожиданно сообщил мне, что в один из приездов своих в Париж он читал выступление в печати какого-то иезуита, грозившего русским церковникам-эмигрантам опубликовать имеющуюся у него переписку Радищева с монахами Саровского монастыря.

В кратком сообщении о своей работе я не назвал пу́стыни, где А. И. Аргамакова, видимо, наладила переписку «Путешествия»; поэтому совершенно исключалось, что я название пустыни Л. В. Никулину подсказал.

С другой стороны, не было никакого сомнения, что переписка Радищева с саровскими монахами, которую грозился опубликовать владевший ею католик, имела отношение к изготовлению в их монастыре списка «Путешествия». К сожалению, фамилию этого иезуита мой собеседник вспомнить не мог.

Кто же мог им быть?

Лицом, наиболее подходящим для этой роли, мне кажется, мог быть И. Н. Кологривов, белоэмигрант, в прошлом лейб-гусар, принявший в эмиграции католичество и ставший историком: у него были свои

счеты с русским духовенством, обретавшимся за границей, так же как и у этого духовенства с ним.

Перу Кологривова принадлежит большая статья о жене декабриста Е. И. Трубецкой, помещенная в 1936 году в парижских «Современных записках», и ряд работ по истории проникновения католицизма в Россию. Его прямым предком был генерал А. С. Кологривов, начальник кавалерийского резерва в Отечественную войну 1812 года, шеф А. С. Грибоедова в пору его военной службы и двоюродный брат С. Н. Бегичева — лучшего друга автора «Горя от ума».

Таким образом, с фамилией Грибоедовых у Кологривовых были дружески традиционные связи; были они, очевидно, и с родом Радищевых: вспомним, что Кологривовым принадлежало в Клинском уезде село Веденское, ранее бывшее собственностью Николая Афанасьевича Радищева, а в 1845 году купленное московским богачом Голубковым, ставшим вскоре после этого обладателем особого списка «Путешествия из Петербурга в Москву».

Надо думать, что бывший лейб-гусар, а затем ученый иезуит-историк И. Н. Кологривов имел возможность, благодаря своим родственным и личным эмигрантским связям, раздобыть переписку Радищева с монахами Саровской пустыни; он мог разыскать эти письма и в бытность свою заведующим Русской библиотекой в Париже, каковым в течение ряда лет состоял.

Путями эмиграции некоторые фамильные архивы рода Радищевых ушли за границу. Так, «Бюллетень Колумбийского университета» называет среди своих новейших приобретений семейный архив какого-то Ф. И. Радищева, «отражающий русскую либеральную мысль и развитие земских учреждений в России», поступивший в Отдел рукописей Университета в 1960 году [52].

Известие о иезуите, располагавшем перепиской Радищева, и сообщение «Бюллетеня Колумбийского университета» говорят за то, что оригинал радищевского «Путешествия» полного состава текста или относящиеся к нему документы можно также искать за границей. Будем надеяться, что западноевропейские и американские ученые, если они найдут у себя в архивах после выхода из печати этой работы какие-либо материалы, проливающие дополнительный свет на тайную творческую историю «Путешествия», не замедлят их опубликовать...»

* * *

«...С мыслью о преемственности русских революционных традиций и с чувством гордости за их самоотверженных представителей заканчиваю я эту работу, относящуюся к истории русских освободительных идей.

Радищев — революционер и демократ — занимает в этой истории почетное и первое по времени место. В своем «Путешествии» он бесстрашно писал о «тяжести порабощения» крепостного крестьянства, которая неизбежно приведет к взрыву, о бесчеловечных господах помещиках, продающих вольных людей, как скот; порицая весь строй закоснелой жизни любимого им, но порабощенного отечества, он говорил о «мужественных писателях, восстающих на губительство и всесилие», о «суеверии политическом», о «пресмыкающемся искусстве», о льстецах, рукоплещущих мысли властителя еще до того, как он выскажет свою мысль.

И если бы меня спросили — за что я боролся в этой своей работе? — я бы ответил: за раскрытие тайны, запечатанной «семью печатями» — за подлинный несгибаемый характер Радищева, восстановившего и дописавшего в последние годы жизни свою истребленную книгу, смотревшего вперед «сквозь целое столетие» и ненавидевшего рабство, в какой бы форме оно ни выражалось, павшего в борьбе с самовластием за счастье своего народа, но уверенного, что потомство за него отомстит».

1955 — 1964

Автор обращается к читателям с просьбой сообщать ему через издательство «Советский писатель» обо всех находящихся в частных руках списках «Путешествия из Петербурга в Москву».

ПРИМЕЧАНИЯ

(ПО ГЛАВАМ)

ПРИНЯТЫЕ СОКРАЩЕНИЯ

АВПР — Архив внешней политики России.
АЛОИИ АН — Архив Ленинградского отделения Института истории Академии наук СССР.
ГАКО — Государственный архив Калужской области.
ГИАЛО — Государственный исторический архив Ленинградской области.
ГИАМО — Государственный исторический архив Московской области.
ГИНТА — Государственный исторический научно-технический архив.
ИРЛИ (ПД) — Институт русской литературы Академии наук СССР (Пушкинский Дом).
ОПИ ГИМ — Отдел письменных источников Государственного исторического музея.
ОР ГПБ — Отдел рукописей Государственной публичной библиотеки имени М. Е. Салтыкова-Щедрина в Ленинграде.
ОР ЛБ — Отдел рукописей Государственной библиотеки СССР имени В. И. Ленина.
ЦГАДА — Центральный государственный архив древних актов.
ЦГАЛИ — Центральный государственный архив литературы и искусства.
ЦГАВМФ — Центральный государственный архив Военно-Морского флота.
ЦГА МАССР — Центральный государственный архив Мордовской Автономной Советской Социалистической Республики.
ЦГАОР — Центральный государственный архив Октябрьской революции.
ЦГВИА — Центральный государственный военно-исторический архив.

МИМО ТАЙНЫ

[1] Валерий Брюсов. За моим окном. М., 1913, стр. 55.
[2] ЦГАЛИ, ф. 191, оп. 1, ед. хр. 65, лл. 8-об.—9, автограф.
[3] ЦГАДА, ф. 1261, оп. 3, ед. хр. 43, лл. 432—435. Письмо от 12 января 1791 г., автограф (на французском яз.).Текст этого письма любезно сообщен автору исследователем М. М. Штранге.
[4] «Путешествие из Петербурга в Москву» А. Н. Радищева, стр. 8. Текст «Путешествия» всюду цитируется по фотолитографическому воспроизведению первого издания, 1790 года. М.— Л., «Academia», 1935.
[5] «Воспоминания Н. П. Боголюбова». Автограф. ОР ЛБ, ф. 178, ед. хр. 3196, лл.3 и 156.
[6] Г. Гельбиг. Русские избранники. Перевод и примечания В. А. Бильбасова. Берлин, 1900, стр. 482.
[7] А. Н. Радищев. Полное собрание сочинений (ПСС), т. III. М. —Л., Изд-во АН СССР, 1952, стр. 505.
[8] Там же, стр. 527.
[9] ЦГАДА, Госархив, разр. VII, д. 2760, ч. I., л. 142.
[10] ЦГАЛИ, ф. 1719, оп. 1, ед. хр. 3.
[11] «Известия Академии наук СССР», Отделение литературы и языка, т. XV, вып. 2-й, 1956, стр. 150—158.
[12] ЦГАЛИ, ф. 612, ед. хр. 1985.
[13] Ф. Энгельс. Диалектика природы. М., 1964, стр. 207.
[14] «Ежегодник императорских театров» [СПБ]. Сезон 1907—1908 гг., вып. XVIII, стр. 179.

ИЗ ЖИЗНИ РУКОПИСИ

[1] «О повреждении нравов в России князя М. Щербатова и Путешествие А. Радищева с предисловием Искандера». Лондон, 1858, стр. VI.
[2] «Литературное наследство», т. 62, 1955, стр. 504.
[3] В. П. Семенников. Новый текст «Путешествия из Петербурга в Москву» Радищева. М., 1922, стр. 7 — 8.
[4] А. Н. Радищев. Путешествие из Петербурга в Москву, т. II. Материалы к изучению «Путешествия». М.— Л., «Academia», 1953, стр. 246.

[5] A. T. Laurianu şi J. C. Massimu. Dictionarìulu limbei rômane, v. II. Bucureşti, 1876, p. 335. О сокращениях, встречающихся в румынской письменности конца XVIII столетия, см.: Emil Virtosu. Din paleografia chirilică romîneasca. — «Documente privind istoria romîne», v. I [Bucureşti], 1956, p. 299. Подчеркивая произвольность сокращенных написаний в памятниках румыно-славянской письменности XVIII века, автор говорит: «Сокращения иногда сводятся к одной букве».

Автор настоящей работы располагает заключением, любезно предоставленным ему директором Института истории Румынской Академии наук (Бухарест), академиком А. Оцети. В этом заключении говорится, что запись, вне всякого сомнения, сделана русским и что слово «veac» (или «veacurilor») встречается только в церковных текстах; последнее особенно важно, ибо запись имеет прямое отношение к монастырю.

Академик А. Оцети, кроме того, предлагает свой вариант перевода первой строки записи, допуская, что «В.» и «ДР.» — сокращения, относящиеся к какому-то собственному имени, и что вместо слова «мона <сту>» следует читать «мина» (рука). Однако при таком толковании первая строка записи будет читаться: «Для руки моей... в..... др.», что не даст достаточного уяснения ее смысла; к тому же чтение «мина» вместо «мона» палеографически здесь вряд ли возможно, так как литера, обозначающая звук «О» и похожая на «И», встречается в записи шесть раз; литера же «И» пишется в ней совершенно иначе.

Автор данной работы чрезвычайно признателен академику А. Оцети за присланное им заключение.

При переводе румынского текста и расшифровке имеющихся в нем сокращений автор пользовался консультацией Д. Е. Михальчи, за что также приносит ему свою глубокую благодарность.

[6] Материалы к изучению «Путешествия». М. — Л., «Academia», 1935, стр. 334.
[7] ЦГАОР, ф. 109, Секретный архив III Отд., оп. I, д. 1845, лл. 2 а-2б.
[8] ЦГАОР, ф. 109. Секретный архив III Отд., оп. 3, д. 3213, л. 140.
[9] Д. Н. Анучин. География в Московском университете за первое столетие его существования. «Землеведение», 1917, кн. 3—4, стр. 30—46.
[10] ЦГАЛИ, ф. 52, оп. I, ед. хр. 16, л. 6-об.
[11] ГИАМО, ф. 4, оп. 10, ед. хр. 722, л. 3-об.
[12] ЦГАЛИ, ф. 191, оп. I, ед. хр. 65, л. 65, автограф.
[13] ЦГАЛИ, ф. 191, оп. 1, ед. хр. 449, л. 29, автограф.
[14] ЦГАОР, ф. 279, ед. хр. 1104, л. 17, автограф.
[15] АЛОИИ АН, ф. П. А. Ефремова, из коллекции Лихачева (165), ед. хр. II, лл. 63—64.
[16] ЦГАОР, ф. 279, ед. хр. 543, л. 4, автограф.
[17] Там же, лист тот же, автограф.
[18] ЦГАЛИ, ф. 191, оп. I, ед. хр. 228, л. 2-об., автограф.
[19] Там же, л. 4-об., автограф.
[20] ОР ЛБ, Пог (II. 16) 5, л. 183, автограф.
[21] ИРЛИ (ПД), 7173/XXI, б. 156, л. 4-об., автограф.
[22] «Литературное наследство», т. 62, 1955, стр. 504.
[23] Там же, стр. 404 -- 405. См. кроме того: ИРЛИ (ПД), 7121/XXXV, б. 105.
[24] «Литературное наследство», т. 62, стр. 404 — 405.
[25] ЦГАЛИ, ф. 191, оп. I, ед. хр. 35, л. 1.
[26] ОР ЛБ, ф. 203, ед. хр. 18, лл. 74, 100, 101—102.
[27] ЦГАЛИ, ф. 191, оп. I, ед. хр. 323, л. 4.
[28] Там же, л. 6 с об., автограф.
[29] ГИАЛО, ф. 643, св. I, ед. хр. 19, 1866 г., л. 166-об.
[30] Д. С. Бабкин. Биография А. Н. Радищева, написанная его сыновьями. М.— Л., Изд-во АН СССР, 1959, стр. 12.
[31] ЦГАЛИ, ф. 191, оп. 1, ед. хр. 36.
[32] В. И. Семевский. Рабочие на сибирских золотых промыслах, т. I. СПБ, 1898, стр. 140—141.

[33] «Москвитянин», 1844, № 2, февраль, стр. 626.
[34] ОР ЛБ, ф. Чижова, I/3, Дневники 1828—1829 гг., л. 40-об.
[35] Э. Варрен. Английская Индия в 1843 году, ч. I. М., 1845, стр. XI—XII. От издателя.
[36] М. К. Рожкова. Экономическая политика царского правительства на Среднем Востоке во второй четверти XIX века и русская буржуазия. М.— Л., 1949, стр. 374.
[37] ГИАМО, ф. 100, оп. 5, св. 182, ед. хр. 1124, лл. 1—5.
[38] ЦГАДА, «Экономические примечания Клинского уезда Московской губернии», ед. хр. 26, л. 13-об.

КНИГИ ИМЕЮТ СВОЮ СУДЬБУ

[1] Н. В. Шелгунов. Воспоминания. М. — Пг., 1923, стр. 23.
[2] А. И. Герцен. Полное собрание сочинений и писем, под ред. М. К. Лемке, т. XII. М., 1957, стр. 274.
[3] ЦГАОР, ф. 109, Секретный архив III Отд., оп. 3, д. 3213, л. 44-об.
[4] ЦГАОР, ф. 109, Секретный архив III Отд., оп. I, д. 196, л. I с об.
[5] ЦГАОР, ф. 279, ед. хр. 552.
[6] ЦГАОР, ф. 109, I Экспедиция III Отд., д. 67, ч. I, 1861 г., лл. 136, 141.
[7] ЦГАОР, ф. 109, Секретный архив III Отд., оп. I, д. 255, л. 10 с об.
[8] Н. Флеровский. Три политические системы. Лондон, 1897, стр. 263.
[9] В. Шульгин. К вопросу о проникновении марксизма в Россию. «Историк-марксист», 1939, №№ 5 — 6, стр. 172.
[10] О. Буланова-Трубникова. Странички воспоминаний. «Былое», 1924, № 24, стр. 60—61.
[11] Там же, страницы те же.
[12] ЦГАОР, ф. 279, ед. хр. 552, л. 52-об., автограф.
[13] ЦГАОР, ф. 109, Секретный архив III Отд., оп. I, д. 548, л. 6.
[14] ЦГАЛИ, ф. 191, оп. I, ед. хр. 36.
[15] В. Евгеньев-Максимов. Из истории марксистской журналистики. «Звезда», 1925, № 3 (9), стр. 250.
[16] «Библиограф», 1892, № 2, стр. 50.
[17] С. А. Шахматова. Переписка Тургенева с М. Н. Лонгиновым. «Сборник Пушкинского Дома на 1923 год». Пг., 1922, стр. 41. См. также Анатолий Егоров. (Конспаров). Странички из прожитого. Одесса, 1913, стр. 143—144.
[18] Русский биографический словарь. «Лабзина — Лященко». СПб, 1914, стр. 630—631.
[19] ЦГАЛИ, ф. 450, оп. I, ед. хр. 15, л. 134, автограф.
[20] Там же, л. 143, автограф.
[21] «Литературное наследство», т. 62, стр. 504.
[22] ИРЛИ (ПД), Архив М. Н. Лонгинова, 23263/CL XVI, б. I.
[23] ОР ГПБ, ф. 438, ед. хр. 4, 1866 г. Протокол заседания от 16 мая. Нумерации листов нет.
[24] «Пятидесятилетие с.-петербургской Ларинской гимназии. 1836—1886». СПБ, 1886, стр. 64.
[25] Там же, стр. 57.
[26] Там же, стр. 55.
[27] ЦГАДА, ф. 286, кн. 628-я, л. 159.
[28] АЛОИИ АН, ф. А. А. Корсуна, ед. хр. 19, л. 21.
[29] Газета «Неделя», 1870, № 25, стр. 5.
[30] «Санкт-Петербургские ведомости», 1871, № 89, 90, 94, 121.
[31] В. Шульгин. Названная статья. «Историк-марксист», 1939, №№ 5—6, стр. 173.
[32] «Руководство для сельских пастырей», 1871, т. 3, стр. 187.
[33] ЦГАЛИ, ф. 46, оп. I, ед. хр. 564, л. 13, автограф.
[34] ЦГАЛИ, ф. 191, оп. I, ед. хр. 36.

35 Там же, стр. 385.
36 «Письма... к библиографу С. Н. Пономареву». М., 1915, стр. 98.
37 ЦГАЛИ, ф. 191, оп. I, ед. хр. 321, л. 9, автограф.
38 ЦГАЛИ, ф. 46, оп. I, ед. хр. 564, л. 264-об., автограф.
39 ИРЛИ (ПД), ф. 265, оп. 2, ед. хр. 2162.
40 ЦГАЛИ, ф. 191, оп. 1, ед. хр. 451, л. 69, автограф.
41 «Всеподданнейший отчет с.-петербургского градоначальника за 1873 год». СПБ, 1874, стр. 115—116.
42 ЦГАОР, ф. 109, Секретный архив III Отд., оп. I, д. 1752, л. 2.
43 «Библиограф», 1892, № 2, стр. 55—56.
44 П. Берков. М. Н. Лонгинов в 60-х годах. «Литературное наследство», тт. 22—24. М., 1935, стр. 741.

ЗА МОНАСТЫРСКОЙ СТЕНОЙ

1 Материалы к изучению «Путешествия», стр. 247.
2 «Исторические записки», кн. 40-я, 1958, стр. 281.
3 «Istoria literaturii romîne». Bucureşti, 1954, pp. 95, 102—103.
4 «Русский вестник», 1858, т. XVIII, декабрь, книга первая, стр. 421.
5 «Известия Тамбовской ученой архивной комиссии», 1904, вып. 49-й, стр. 228.
6 Там же, стр. 243.
7 Там же, стр. 207.
8 ЦГАДА, ф. 248, кн. 6349-я, л. 316-об.
9 «Старые годы», 1908, кн. I—II, стр. 110.
10 Там же, стр. 225.
11 Маркеллин, игумен. Краткое историческое описание Саровской пустыни... М., 1819, стр. 57 — 58, то же — М., 1825, стр. 56 — 57.
12 «Петербургский некрополь», т. II, СПБ, 1912, стр. 870.
13 Дж. Тиндаль. Роль воображения в развитии естественных наук. Приложение к книге А. Секки «Единство физических сил». Вятка, 1873, стр. 464.
14 Там же, стр. 461.
15 «Каталог антикварной библиотеки Е. Я. Егорова, приобретенной после бывшего министра Д. П. Трощинского». Киев, 1874, стр. 198.
16 ЦГА МАССР, ф. I, оп. I, ед. хр. 289, л. 73.
17 «Путешествие», стр. 387.
18 ЦГАДА, ф. 1261, оп. 7, ч. I, ед. хр. 1125, л. 7 с об.
19 АВПР, ф. «Российское генеральное консульство в Яссах», д. 36, 1802 г., л. 287.
20 Там же, л. 301.
21 Там же, л. 311.
22 ЦГАДА, Госархив, разр. XVI, ед. хр. 534, чч. I и I-а.
23 ЦГАДА, ф. 388, кн. 106-я, л. 277.
24 ЦГАДА, ф. 286, кн. 628, лл. 158—159.
25 ОР ЛБ, ф. 178, ед. хр. 3196, л. 156.
26 Русский биографический словарь. «Притвиц — Рейс». СПБ, 1910, стр. 388.
27 Материалы к изучению «Путешествия», стр. 20.
28 «А. Н. Радищев». Материалы и исследования. Институт русской литературы. Пушкинский Дом. М.— Л., 1936, стр. 333.
29 И. И. Шимко. Московские департаменты Сената и подведомственные им архивы в 1812—1814 гг. «Описание документов и бумаг, хранящихся в Московском архиве Министерства юстиции», кн. 6-я. М., 1889, стр. 120—121.
30 «Известия Тамбовской ученой архивной комиссии», 1904, вып. 119-й, стр. 128.
31 А. Пенчко. Основание Московского университета. М., 1959, стр. 96.
32 Там же, стр. 97.

[33] ЦГАДА, Госархив, разр. II, ед. хр. 282, 1744 г. (продолжение), л. 42.
[34] ЦГАДА, Госархив, разр. II, ед. хр. 64, л. 32.
[35] ЦГАДА, ф. 1211. Арзамас. «Дела молодых лет», кн. 2-я, № 37, л. I.
[36] ЦГАДА, там же, кн. I-я, № 21.
[37] ЦГАДА, там же, кн. 7-я, № 11.
[38] ЦГАДА, ф. 286, кн. 328-я, лл. 267—270.
[39] ГИАМО, ф. 19, оп. 256, св. 1436, ед. хр. 2, л. I.
[40] ЦГАДА, «Экономические примечания Арзамасского уезда Нижегородской губ.», ед. хр. 14, лл. 25, 34-об., 37-об.
[41] «Москва. Актовые книги XVIII столетия», т. XII. М., 1893, стр. 68.
[42] ЦГАДА, ф. 292, ед. хр. 65, лл. 282—283 с об.
[43] ГИАМО, ф. 203, оп. 747, св. 445, ед. хр. 476.
[44] ГИАМО, ф. 16, оп. 2, св. 127, ед. хр. 208, л. 39-об.
[45] ЦГАДА, ф. 286, кн. 628-я, лл. 158—159.

САРАНСКИЙ КЛЮЧ ОТКРЫВАЕТ ДВЕРЬ

[1] ЦГА МАССР, ф. I, оп. 2, ед. хр. 43, л. 55.
[2] Там же, лист тот же.
[3] Н. А. Таманцев. Список запрещенных книг Ватикана. «Труды Ленинградского библиотечного института имени Н. К. Крупской», т. I. Л., 1956, стр. 226.
[4] ЦГА МАССР, ф. I, оп. 2, ед. хр. 43, лл. 3—50.
[5] ЦГА МАССР, ф. I, оп. I, ед. хр. 312, л. 4.
[6] ЦГА МАССР, ф. I, оп. I, ед. хр. 293, лл. 22-об.—23.
[7] «Русский вестник», 1858, т. XVIII, декабрь, кн. 1-я, стр. 421.
[8] ЦГА МАССР, ф. I, оп. I, ед. хр. 266, лл. 2-об., 5, 13, 35-об., 53-об.
[9] ЦГА МАССР, ф. I, оп. I, ед. хр. 243, л. 43-об.
[10] Там же, л. 88.
[11] Там же, лл. 117-об.—118.
[12] «Тамбовские епархиальные ведомости», 1911, № 29, стр. 1146.
[13] ГИАМО, ф. 80, оп. I, св. 114, ед. хр. 1766, лл. 41—42 с об.
[14] П. Г. Любомиров. Род Радищева. «А. Н. Радищев». Исследования и материалы. М.—Л., 1936, стр. 333.
[15] А. Н. Радищев. ПСС, т. III, стр. 462.
[16] «Известия Второго отделения императорской Академии наук», т. IX, вып. 3-й. СПБ, 1860, стлб. 159.
[17] ЦГАДА, ф. 286, кн. 732-я, л. 661.
[18] ЦГАДА, ф. 1211, Нижний-Новгород. «Дела старых лет», кн. 37-я, л. 238.
[19] ЦГАДА, ф. 286, кн. 503-я, л. 900.
[20] ЦГАДА, ф. 286, кн. 732-я, л. 661.
[21] ЦГВИА, ф. 130, оп. I/205, ед. хр. 26, л. 234-об.
[22] «Пугачевщина», Центрархив, т. III. М.— Л., 1931, стр. 82.
[23] «Русский вестник», 1858, т. XVIII, декабрь, книга первая, стр. 421.
[24] А. Н. Радищев. ПСС. АН СССР, т. III, стр. 339.
[25] «Воспоминания Н. П. Боголюбова». ОР ЛБ, ф. 178, ед. хр. 3196, л. 156.
[26] «Русский вестник», 1858, названная статья, стр. 426.
[27] «Литературное наследство», т. 61, 1953, стр. 666.
[28] Л. М. Чичагов. Летопись Серафимо-Дивеевского монастыря. М., 1896, стр. 35.
[29] «Русский вестник», 1858, названная статья, стр. 409.
[30] А. Н. Радищев. ПСС. М.— Л., АН СССР, т. I, 1938, стр. 438.
[31] М. И. Клевенский. М. А. Худяков, революционер и ученый. М., 1929, стр. 86.
[32] Н. П. Огарев. Избранные социально-политические и философские произведения, т. I, [М.] 1952, стр. 416.

[33] ЦГА МАССР, ф. I, оп. I, ед. хр. 313, л. 47.
[34] Русский биографический словарь· «Яблоновский — Фомин». СПБ, 1913, стр. 476.
[35] «Тамбовские епархиальные ведомости», 1911, № 29, стлб. 1150.
[36] ЦГА МАССР, ф. I, оп. 1, ед. хр. 289, л. 80.
[37] Там же, л. 84 с об.
[38] ЦГА МАССР, ф. I, оп. 1, ед. хр. 289, л. 273.
[39] «Тамбовские епархиальные ведомости», 1911, № 45, стр. 1142.
[40] Хитров. Историко-статистическое описание Тамбовской епархии. Тамбов, 1861, стр. 112.
[41] «Тамбовские епархиальные ведомости», 1911, № 45, стр. 136.
[42] ЦГА МАССР, ф. I, оп. 1, ед. хр. 36, 37 и 39.
[43] «Саровская общежительная пустынь. Подробное описание». М., 1908, стр. 103.
[44] «Петербургский некрополь», т. II. СПБ, 1912, стр. 370.
[45] ЦГА МАССР, ф. I, оп. 1, ед. хр. 243, л. 148-об.
[46] ГИАМО, ф. 203, оп. 745, св. 77, ед. хр. 152, л. 6-об.
[47] «А. С. Грибоедов в воспоминаниях современников». Редакция и предисловие Н. К. Пиксанова. М., 1929, стр. 320—321.
[48] ГИАМО, ф. 203, оп. 745, св. 749, ед. хр. 747, лл. 6—7.
[49] ГИАМО, ф. 105, оп. I, св. 19, ед. хр. 2429, л. 1..
[50] ГИАМО, ф. 203, оп. 747, св. 570, ед. хр. 607, л. 12-об.
[51] «Вопросы истории», 1952, № 9, стр. 112.

СМОЛЕНСКОЕ ГНЕЗДО

[1] ГИНТА, Пречистенская часть, д. 116.
[2] ЦГАДА, ф. 286, кн. 568-я, л. 162-об.
[3] ЦГАДА, «Экономические примечания Дорогобужского уезда, Смоленской губ.», ед. хр. 48, лл. 13-об., 23-об., 25-об.
[4] ЦГАДА, ф. «Генеральное межевание», д. 694, лл. 23-об., 42-об.
[5] S. Orgelbranda, Encyclopedia Powszechna, t. XII. Warszawa, 1902, s. 487.
[6] П. Мартынов. Селения Симбирского уезда. Симбирск, 1903, стр. 319.
[7] ЦГВИА, ф. ВУА, оп. 3, ед. хр. 19040, ч. II, лл. 173-об.— 175.
[8] ЦГАДА, Госархив, разр. VII, д. 2892, л. 2.
[9] ЦГАДА, Госархив, разр. VII, д. 3034, лл. 1—2.
[10] ЦГАДА, Госархив, разр. VII, д. 2047, ч. II, л. 276.
[11] Е. С. Каменский. История 2-го драгунского С.-Петербургского полка, т. I. М., 1899, стр. 662.
[12] «Русская беседа», 1860, кн. 1-я, стр. 66.
[13] Е. С. Каменский. Названная работа, стр. 669.
[14] Там же, стр. 673.
[15] Т. Г. Снытко. Новые материалы по истории общественного движения конца XVIII в. «Вопросы истории», 1952, № 9, стр. 112—113.
[16] Там же, стр. 117.
[17] Там же, стр. 118.
[18] ЦГАДА, Госархив, разр. VII, д. 3251, л. 13.
[19] Там же, л. 118.
[20] Там же, л. 118-об.
[21] Т. Г. Снытко. Названная статья, стр. 119.
[22] Там же, стр. 118.
[23] Там же.
[24] ЦГАДА, Госархив, разр. VII, д. 3251, л. 216.
[25] Там же, л. 298-об.
[26] Там же, стр. та же.

[27] Материалы к изучению «Путешествия», стр. 261.
[28] ЦГАДА, Госархив, разр. VII, д. 3251, л. 204.
[29] Там же, л. 214, автограф.
[30] «Ученые записки Московского городского педагогического института имени В. П. Потемкина», т. X. Кафедра русской литературы, вып. 4-й. М., 1954, стр. 112.
[31] «Литературный вестник», 1904, т. VII, кн. 9-я, стр. 44.
[32] ЦГАДА, Госархив, разр. X, д. 628, лл. 5—6.
[33] ЦГАДА, ф. 286, кн. 598-я, л. 162-об.
[34] ЦГАДА, ф. «Оружейная палата», кн. 1932-я, лл. 81 с об. и 107 с об.
[35] «Месяцеслов с росписью чиновных особ». СПБ, 1783, стр. 115.
[36] ЦГАДА, Дворцовый отдел, д. 64988, л. 74-об.
[37] М. А. Гершензон. Грибоедовская Москва. М., 1916, стр. 74.
[38] ЦГАДА, ф. 3165, д. 2, л. 233.
[39] Там же, л. 37.
[40] Там же, л. 313.
[41] ГИАМО, ф. 16, оп. 2, св. 127, д. 208, л. 223-об.
[42] ГИАМО, ф. 203, оп. 747, св. 1906, д. 1995. Приход церкви Николаевской на Песках, л. 3.
[43] ГИАМО, ф. 203, оп. 747, св. 570, д. 607. Приход церкви Георгия на Всполье, л. 12-об.
[44] ГИАМО, ф. 19, оп. 256, св. 1436, д. 2, лл. 1—2.
[45] Н. К. Пиксанов. Грибоедов и старое барство. [М.]. 1926, стр. 22—23.
[46] Там же, стр. 23.
[47] ЦГАЛИ, ф. 427, оп. 1, ед. хр. 2368, л. 4.
[48] Там же, лист тот же.
[49] ЦГАЛИ, ф. 1337, оп. 1, ед. хр. 142, л. 8.
[50] ЦГАЛИ, ф. 427, оп. 1, ед. хр. 2368, л. 4.
[51] ЦГАЛИ, ф. 427, оп. 1, ед. хр. 2370, л. 24.
[52] А. А. Сиверс. Материалы к родословию Мухановых. СПБ, 1910, стр. 81.
[53] ЦГАЛИ, ф. 195, оп. 1, ед. хр. 3668, тетрадь 1-я, л. 153, автограф.
[54] ЦГАЛИ, ф. 1632, ед. хр. 1. Письмо Е. Н. Ушаковой к брату Ивану от 15. XII 1829г., автограф, на русском и французском языках.
[55] ЦГАДА, Дворцовый отдел, д. 65085, л. 221-об.
[56] «Сенатский архив», т. I. Именные указы имп. Павла I. СПБ, 1888, стр. 288.
[57] ЦГАДА, Госархив, разр. X, д. 685, ч. I, л. 441.
[58] ЦГАОР, ф. 48, д. 303, л. 255-а.
[59] ОПИ ГИМ, ф. 117, ед. хр. 27, л. 18-об.
[60] ЦГАЛИ, ф. 195, оп. 1, ед. хр. 3267, л. 223, автограф.
[61] Язон. Новые данные о Грибоедове. Газета «Русская правда», 1904, № 19.
[62] ГИАМО, ф. 203, оп. 747, св. 643, д. 683. Исповедная книга Никитского сóрока. Приход церкви Георгия на Всполье, л. 8.
[63] ЦГАЛИ, ф. 427, ед. хр. 2370, лл. 39—40.
[64] «Бумаги В. А. Жуковского, поступившие в имп. Публичную библиотеку в 1884 году». Разобраны и описаны Иваном Бычковым. СПБ, 1887, стр. 159—160.
[65] «Арзамас» и «арзамасские» протоколы. Л., 1933, стр. 11.
[66] ЦГАОР, ф. 109, Секретный архив III Отд., оп. 4, д. 14, 1828 г., л. 1.
[67] Н. В. Шаломытов. Неизданный Смирнов. СПБ, 1909, стр. 50.
[68] А. С. Грибоедов. Полное собрание сочинений, под ред. Н. К. Пиксанова и И. А. Шляпкина, т. III. П., 1917, стр. 180.
[69] П. В. Долгоруков. Петербургские очерки. Памфлеты эмигранта. 1860—1861. Собрал и приготовил к печати П. Е. Щеголев. М., 1934, стр. 360.
[70] «Исторический сборник Вольной русской типографии в Лондоне». Книга вторая, с предисловием Искандера. 1861, стр. 244.

«УЗНИЦА БУТЫРСКОЙ ТЮРЬМЫ»

1 М. Цебрикова. Письмо императору Александру III. Genève. [1890], стр. 1, 32, 40.

2 С. Н. Глинка. Очерки жизни и избранные сочинения А. П. Сумарокова. т. III. СПБ, 1841, стр. 269.

3 «Русская старина», 1874, август, стр. 782—783.

4 ЦГАДА, ф. 181, ед. хр. 1155.

5 С. А. Клепиков. Филиграни и штемпели на бумаге русского и иностранного производства XVI—XX вв. М., 1959, стр. 73.

6 Н. К. Гудзий. Как работал Л. Толстой. М., 1936, стр. 183—184.

7 ЦГАОР, ф. 102, Департамент полиции. Делопроизводство 7-е, ч. 34-я, т. II, д. 2, лл. 61-об. — 62.

8 ЦГАОР, ф. 102. Особый отдел Департамента полиции, д. 2, ч. 46-А, лл. 15—18.

9 ЦГАОР, ф. 63. Розыскная часть, д. 834, л. 100.

10 ЦГАОР, ф. 102, Особый отдел Департамента полиции, д. 34, лл. 37-об.—38.

11 ОПИ ГИМ, ф. 313, ед. хр. 3, лл. 3-об.—4 с об.

12 Там же, лл. 8-об.—9 с об.

13 «Листовки петербургских большевиков 1902—1917 гг.», т.I. Госполитиздат, 1939, стр. 16—17.

14 «Список книг, вышедших в России в 1906 г.». СПБ, 1908.

15 ГИАМО, ф. 623, оп. 3, кор. 94, д. 570, л. 3. Разрешения тюремной инспекции на выдачу книг заключенным.

16 [Анж Гудар]. Мир Европы не может иначе восстановиться, как только по продолжительном перемирии, или Проект всеобщего замирения, сопряженного купно с отложением оружий на двадцать лет между всеми политическими державами [Перевод Р. М. Цебрикова]. В СПБ, 1789.

17 ОР ГПБ, Архив Р. М. Цебрикова, т. II, л. 18 с об.

18 Там же, л. 18.

19 Там же, л. 20.

20 Там же, л. 23.

21 М. Цебрикова. Русский человек. «Современник», 1911, кн. VII, стр. 154—155. См. также: АВПР, Административные дела, IV, оп. 12, д. 9, л. 1-об.

22 ОР ЛБ, ф. 133, ед. хр. 589, л. 23.

23 «Вестник всемирной литературы», 1901, № 12, стр. 11.

24 ИРЛИ (ПД), Архив Е. П. Оболенского, ед. хр. 606/29. Письмо Н. Р. Цебрикова от 19. X. 1852 г., л. 2, автограф.

25 ЦГАОР, ф. 279, оп. 1, ед. хр. 706, л. 1 с об.

26 ЦГАОР, ф. 109, III Отделение, I экспедиция, д. 61, ч. 124, л. 84.

27 «Голос минувшего», 1914, № 10, октябрь, стр. 214.

28 ЦГАОР, ф. 48, д. 349, л. 12-об.

29 М. Цебрикова. Русский человек. «Современник», 1911, № 7, стр. 179.

30 Там же, стр. 163.

31 Там же, стр. 155.

32 ОР ЛБ, ф. 178, ед. хр. 5337/31, письмо 11-е.

33 ОР ЛБ, ф. 178, ед. хр. 5765.

34 ЦГАОР, ф. 63, Розыскная часть, д. 467, л. 71 с об.

35 ГИАМО, ф. 418, оп. 69, св. 600, д. 273, л. 17.

36 ЦГАОР, ф. 102, Департамент полиции. Делопроизводство 3-е, д. 1307, л. 61.

37 ЦГАОР, ф. 102, Департамент полиции. Делопроизводство 7-е, д. 297, л. 3 с об.

38 ЦГАОР, ф. 63, Розыскная часть, д. 467, л. 155.

39 Там же, л. 180.

40 ЦГАОР, ф. 102, д. 42, ч. 5, л. 132.

41 ГИАМО, ф. 418, оп. 69, св. 600, д. 273, л. 30.

[42] Там же.
[43] ИРЛИ (ПД), ф. 661, ед. хр. 1188, л. 8.

СМОЛЕНСК — ВОРОНЕЖ

[1] ОПИ ГИМ, Щ-613. Рукописный сборник «Всякая всячина», ч. 2-я, л. 2.
[2] ОПИ ГИМ, Щ-616-а. Рукописный сборник «Всякая всячина», ч. 5-я, л. 1.
[3] С. А. Клепиков. Филиграни и штемпели. М., 1959, стр. 51 и 70.
[4] Там же, стр. 33.
[5] ЦГАДА, Госархив, разр. VII, д. 2760, ч. I, л. 77.
[6] Материалы к изучению «Путешествия», стр. 253.
[7] «Адрес-календарь. Общая роспись всех чиновных особ в государстве». СПБ, 1852, ч. I, стр. 263.
[8] В. А. Тонков. А. В. Кольцов. Жизнь и творчество. Воронеж, 1958, стр. 12—13.
[9] М. Де-Пуле. А. В. Кольцов в его житейских и литературных делах и в семейной обстановке. М., 1878, стр. 21.
[10] Ю. Г. Оксман. А. В. Кольцов и тайное «Общество независимых». «Ученые записки Саратовского гос. университета имени Н. Г. Чернышевского», т. XX, выпуск филологический. Саратов,1946, стр. 88.
[11] Там же, стр. 73—77.
[12] П. Е. Щеголев. А. С. Грибоедов и декабристы. СПБ, 1905, стр. 19—20.
[13] «Воронежские епархиальные ведомости», 1886, № 23, стр. 899—900.
[14] М. Веневитинов. Из воронежской старины. М., 1887, стр. 51.
[15] Н. К. Пиксанов. Радищев и Грибоедов. «Радищев». Сборник статей ЛГУ, под ред. М. П. Алексеева. Л., 1950, стр. 75—76.
[16] В Государственном историческом архиве Ленинградской области (ГИАЛО), в фонде Петербургского университета, (оп. 1, д. 4215, лл. 2 и 4), имеются сведения о поступлении в университет в 1836 году Александра Радищева. Никаких других сведений об этом сыне Павла Александровича в ГИАЛО нет.
[17] «Воронежская старина». Изд. Воронежского церковно-археологического общества, вып. 9-й. Воронеж, 1909, стр. 129.
[18] В. А. Тонков. Писатели-воронежцы XIX и начала XX вв. Воронеж, 1947, стр. 28, 48.
[19] ЦГАОР, ф. 279, оп. 1, ед хр. 1132, л. 4-об.
[20] ИРЛИ (ПД), 14866/XXXVIII, б. 10, лл. 64—65.
[21] «Отрывок из записок Н. И. Второва». Сочинения И. С. Никитина, изд. А. Р. Михайловым. Воронеж, 1869, стр. 38.
[22] ГИАМО, ф. 125, оп. 25, св. 1271, д. 166, л. 3.
[23] ЦГАЛИ, ф. 93, оп. 1, ед. хр. 159, л. 3-об.
[24] М. Де-Пуле. Отец и сын. «Русский вестник», 1875, № 8, стр. 597, 611.
[25] Там же, № 9, стр. 148.
[26] ЦГАЛИ, ф. 93, оп. 1, ед. хр. 22.
[27] «Русский вестник», 1875, № 8, стр. 579.
[28] «Русская старина», 1871, № 5, стр. 693.
[29] ОПИ ГИМ, Щ-615. Рукописный сборник «Всякая всячина», ч. 4-я, л. 80-об.
[30] ЦГАВМФ, ф. 406, оп. 3, д. 484, формулярный список № 54.
[31] В. П. Семенников. «Радищев». Очерки и исследования. М.—Пг., 1923, стр. 12.
[32] Список Г, л. 59.

РУКОЙ РАДИЩЕВА

[1] См. материалы дискуссии по этому предмету в «Вопросах философии»: 1955, № 4; 1956, №№ 3—5; 1957, № 6; 1958, № 5,— а также работы: Ю. Ф. Карякин и Е. Г. Плимак. О некоторых спорных проблемах мировоззрения Радищева. («Исторические записки», т. 66, 1960) и Е. Г. Плимак. Правда книги и ложь комментария. (К выходу в США «Путешествия из Петербурга в Москву» А. Н. Ра-

дищева). Сборник «Критика буржуазных концепций истории России периода феодализма». М., 1962.
[2] ЦГАДА, Госархив, разр. VII, д. 2760, ч. II, лл. 204-об.—205-а.
[3] ЦГАДА, Госархив, разр. XIV, д. 246, ч. I, лл. 354-об.—358.
[4] «Пермский краеведческий сборник», вып. 1. Пермь, 1924, стр. 19.
[5] АВПР, ф. «Сношения России с Саксонией», д. 265, л. 21.
[6] Там же, л. 37.
[7] ЦГАДА, разр. VII, д. 2764, лл. 1—3.
[8] «Русский архив», 1872, №№ 3—4, стлб. 538.
[9] Там же, стлб. 542—543.
[10] «Полное собрание законов Российской империи». Собрание 1-е, т. XXI. СПБ, № 15634.
[11] «Московские ведомости», 1790, № 32, стр. 454.
[12] «Путешествие», стр. 289—290.
[13] Там же, стр. 290—292.
[14] ЦГАДА, Госархив, разр. VII, д. 2760, ч. I, лл. 3—5.
[15] А. Н. Радищев. ПСС, т. II. М.— Л., АН СССР, 1941, стр. 5.
[16] ЦГАДА, Госархив, разр. VII, д. 2046, ч. IV, л. 60 с об.
[17] ЦГАДА, Госархив, разр. VII, д. 2760, ч. I, л. 34 с об.
[18] «Месяцеслов с росписью чиновных особ в государстве». СПБ, 1790, стр. 125.
[19] ОР ЛБ, ф. 178, ед. хр. 3196, л. 156.
[20] А. Н. Радищев. ПСС, т. II, стр. 5.
[21] В. П. Семенников. Новый текст «Путешествия из Петербурга в Москву» Радищева. М., 1922, стр. 11.
[22] «Известия Академии наук СССР». Отделение литературы и языка, 1956, т. XV, вып. 2, стр. 150—158.
[23] В. П. Семенников. Радищев. Статьи и исследования. М.— Пг., 1923, стр. 4.
[24] The New Century Cyclopedia of Names. Vol. two. New York. 1954, p. 2178; см. также: А. А. Фурсенко. Американская буржуазная революция XVIII века. М.— Л., 1960, стр. 156.
[25] А. Н. Радищев. ПСС, т. III, стр. 354.
[26] Там же, стр. 509.
[27] «Известия Академии наук по Отделению русского языка и словесности», т. 9, вып. 3-й. СПБ, 1860—1861, стлб. 159.
[28] ГАКО, ф. 15, оп. 5, д. 234.
[29] ЦГАДА, ф. 286, кн. 512-я, лл. 67 и 508-об:
[30] А. Н. Радищев. ПСС, т. II, стр. 172.
[31] А. Н. Радищев. ПСС, т. III, стр. 489—490.
[32] Там же, стр. 491.
[33] Г. П. Макогоненко. Радищев и его время. М., 1956, стр. 398—410.
[34] С. Ф. Елеонский. К истории создания оды А. Н. Радищева «Вольность». «Slavia». Praha, 1959, № 2, стр. 200.
[35] Список Б, л. 153.
[36] Там же.
[37] В. П. Семенников. Радищев. Статьи и исследования. М.— Пг., 1923, стр. 13.
[38] А. С. Пушкин. ПСС. Изд. АН СССР, т. XI (Л.), 1949, стр. 245.

«...И НОВЫЙ МИР ВСТАЕТ...»

[1] Т. Ливанова. Музыкальная классика XVIII века. М.— Л., 1939, стр. 513.
[2] К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения, т. 8, издание второе. М., 1957, стр. 119—120.
[3] А. И. Герцен. Полное собрание сочинений и писем, под ред. М. К. Лемке, т.XIII. Пг., 1919, стр. 430.
[4] М. Гершензон. Образы прошлого. М., 1912, стр. 440.
[5] Архив кн. Воронцова, кн. XVIII. М., 1880, стр. 68 и 70.

[6] А. Н. Радищев. ПСС, т. III, стр. 505.
[7] Н. П. Смирнов-Сокольский. Автограф Радищева. «Литературная газета», 9 сентября 1950 г.
[8] Е. П. Трифильев. Очерки из истории крепостного права в России. Харьков, 1904, стр. 49—50.
[9] А. Н. Радищев. ПСС, т. III, стр. 507.
[10] Г. Р. Державин. Сочинения. С объяснит. примечаниями Я. Грота, т. V. СПБ, 1869, стр. 487.
[11] А. Н. Радищев. ПСС, т. III, стр. 505.
[12] Там же, стр. та же.
[13] Там же, стр. 527.
[14] «Русская старина», 1891, апрель, стр. 6.
[15] А. В. Преображенский. Культовая музыка в России. Л., 1924, стр. 70—71.
[16] ЦГАДА, ф. 1265, оп. 3, ед. хр. 1602, л. 57.
[17] «Русский архив», 1865, стлб. 1019.
[18] Т. Ливанова. Русская музыкальная культура XVIII века, т. II. М., 1953, стр. 312—313.
[19] «Путешествие», стр. 369.
[20] Список Б, л. 153.
[21] С. А. Покровский. Государственно-правовые взгляды Радищева. М., 1956, стр. 154—155.
[22] «Русский архив», 1879, № 12, стр. 416.
[23] «Путешествие», стр. 91—92.
[24] ЦГАДА, ф. 1261, оп. 3, ед. хр. 43, л. 364.
[25] М. С. Друскин и Ю. В. Келдыш. Очерки по истории русской музыки. (1790—1825). Л., Музгиз, 1926, стр. 153.
[26] «Русская старина», 1891, апрель, стр. 5.
[27] ЦГАДА, Дворцовый отдел, д. 65760, л. I.
[28] «Полное собрание законов Российской империи». Собрание 1-е, т. XXIV, СПБ, 1830, №. 17674.
[29] Т. Ливанова. Русская музыкальная культура XVIII века, т. II, стр. 309.
[30] Там же, стр. 339—340.
[31] ЦГАДА, ф. 1261, оп. 3, ед. хр. 43, л. 364.
[32] А. С. Пушкин. ПСС, т. XIII. М. — Л., Изд.-во АН СССР, 1937, стр. 249.
[33] Г. И. Сенников. Поэзия А. Н. Радищева. Диссертация на соискание ученой степени кандидата филологических наук. Караганда, 1963. Государственная библиотека СССР имени В. И. Ленина, шифр: Дк 64—10/258, стр. 161.
К сожалению, автор, высказав предположение о возможном влиянии «Сотворения» Гайдна на Радищева, тем не менее не сделал из этого необходимых выводов и остался на позициях своих предшественников, отнеся поэму Радищева к 80-м годам XVIII столетия и упустив из виду, что Гайдн написал свое «Сотворение» в 1798 году (там же, стр. 166—168, 175).
[34] Список Б, л. 153.
[35] Там же, лист тот же.
[36] Там же, л. 155-об.
[37] ЦГАДА, Дворцовый отдел, д. 59729, л. 54.
[38] ИРЛИ (ПД), 7118, XXXV, б. 102, л. 16 с об., автограф.
[39] ЦГАДА, Дворцовый отдел, д. 59729, л. 14 с об.
[40] «Путешествие», стр. 418.
[41] ОР ГПБ, Собрание автографов, № 165.
[42] «Путешествие», стр. 191.
[43] Там же, стр. 192.
[44] ЦГАДА, Госархив, разр. VII, д. 3645, лл. 7—10.

[45] «Путешествие», стр. 23 и 60.
[46] А. Н. Радищев. ПСС, т. III, стр. 260.
[47] Там же, стр. 287.
[48] Там же, стр. 287—288.
[49] Е. Н. Владимиров. Тимофей Михайлович Бондарев и Лев Николаевич Толстой. Красноярск, 1938, стр. 20.
[50] С. П. Шестеркин. Пережитое. Из истории рабочего и революционного движения 1880—1900 гг. Ивановское обл. изд-во, 1940, стр 215, см. также А. А. Шмаков. Великий предшественник революции. «Челябинский рабочий», 20 октября 1957 г.
[51] С. М. Бабинцев. Новые ранние списки «Путешествия из Петербурга в Москву». «XVIII век», сборник 3-й. М.— Л., АН СССР, Институт русской литературы (Пушкинский Дом), 1958, стр. 542.
[52] «Columbia University Bulletin», series 60, № 39, 1960.

На фронтисписе — портрет А. Н. Радищева работы неизвестного художника XVIII века. Масло. (Саратовский музей Радищева).

ОГЛАВЛЕНИЕ

ШТОРМ

Георгий Петрович

ПОТАЁННЫЙ РАДИЩЕВ

М., «Советский писатель», 1965, стр. 296.
Тем. план вып. 1965 г. № 268

Редактор *Л. А. Шубин*
Художник *И. А. Литвишко*
Худож. редактор *В. В. Медведев*
Техн. редактор *Р. Я. Соколова*
Корректоры: *Л. А. Матасова и Л. Н. Морозова*

Сдано в набор 3/XII 1964 г.
Подписано к печати 27/IV 1965 г.
А 02758. Бумага 70×90¹/₁₆.
Печ. л. 18¹/₂+2 вкл. (22,57). Уч.-изд. л. 19,95.
Тираж 30 000 экз. Заказ № 179
Цена 85 коп.

Издательство «Советский писатель»,
Москва К-9, Б. Гнездниковский пер., 10

Тульская типография Главполиграфпрома
Государственного комитета
Совета Министров СССР по печати
г. Тула, проспект Ленина, д. 109

